КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 7

ИЮЛЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1928 ЛЕНИНГРАД

*

ОТПЕЧАТАНО
В 1-й ОБРАЗЦОВОЙ
ТИПОГР. ГОСИЗДАТА.
МОСКВА, Пятницкая, 71.
Главл. А-16475. П. 13. Гиз 27826.
Заказ 1761. Тираж 13.000.

Прах Аджи-Османа.

(Рассказ).

С. Сергеев-Ценский.

1.

На крымском винограднике ночью, при совершенно круглой луне, двое — сторож, русский малый, орловский, Матвей, и сын хозяина-татарина, Амет, парнишка лет семнадцати, — говорили о том, есть ли святые.

Кругом на этом большом винограднике, в версте от деревни Богаз-Кой и недалеко от шоссе, стоял запах сентябрьского дозревающего винограда. Особенно нежно и пряно пахло мускатом розовым и желтым и аликантом, черные кисти которого в этом году были хоть и некрупны, зато переполнены из ряда вон душистой и сладкой влагой.

Так как ночь была светлая, то горы сзади вырезались в небе совершенно отчетливой стеной, а спереди и внизу лег на гладкое море роскошный пушистый лунный столб, и звезд вверху роилось так много и таких огромных, таких ярких, что орловскому парню даже неприятно было на них смотреть: досадно и завидно.

Он уже спрашивал раньше у Афуза, отца Амета, нельзя ли здесь получить землю, на что Афуз, выпучив глаза, ответил, сопя и загибая пальцы:

— Тибе давай зимля, — раз!.. Дыругой скажет: — Давай мине зимля! — Давай!.. Два-а!.. Тыретий скажет: — Давай зимля! — Давай!.. Тыри-и!.. Сами тогда куда пойдем, скажи?.. Россия, оно-о — большой, — Богаз-Кой — маленький!

Оттого, что земли здесь получить оказалось нельзя, все здесь сразу разонравилось орловскому парню.

Когда он видел в деревне осликов, он говорил презрительно:

— Тоже скотиной считается! Ух, много на ней навозишь! Глупый народ, — страсть!

Когда он присматривался к бескрышим саклям, сидевшим одна над другой, он качал головой, усмехаясь и сплевывая:

— Пещоры!.. Вот уж пещоры-то!.. И науки не знают, как правильную избу взвесть!.. Тем-но-та-а!

Когда он попробовал вечером толкнуть любезно кулаком в спину молодую татарку, шедшую от воды с медным тазом наполосканного белья, та подняла совершенно ненужный крик, и, уходя от нее поспешно, он говорил Амету:

— Наши-то девки — они безотказные, а ваши что?.. И морды у них смоленые, как у чертей!

Сам он был длинноногий и сутулый, и как-то весь вытянулся и загнулся то здесь, то там: голова вытянулась спереди назад, яйцом, губы вытянулись вперед и привычно изогнулись презрительно, нос тоже оттянулся и загнулся к губам; желтые косицы высунулись из-под картуза и закрутились козелками; непомерно длинные руки почему-то загинали кисти, и пальцы врастопырку держались кзади.

Старики здешние ему тоже не нравились.

— В наших местах стариков вон как, брат, поприжали! — говорил он Амету. — Иной раз и пикнуть не дадут!.. А у вас они больно здоровую волю забрали... И откуда это их набралась такая гибель?

— Послу-шай, что я скажу, — объяснял Амет. — Голодный год был, знаешь?.. Много помирал тогда старики!.. Ох, много!

— Ну, вот, хорошо, значит, — голодный год помог, а то бы их тут у вас на вольном воздуху невпроворот было, чертей!

Говорил Матвей тягуче и гундосо, но до того снисходительным тоном, что Амет слушал его весьма прилежно, и вот теперь в эту очень светлую и тихую ночь, когда кусты виноградника, привязанные к кольям, не шевелили ни одним даже вянущим слабым листом, когда весь виноградник казался пестрым от резких пятен светотени, Амет и спросил простодушно и тихим голосом:

— Святые там у вас как? Есть?

— Позничтожили мы их давно, святых этих!

— А наш татарин, он... боится! — улыбнулся Амет.

Лицо у него было и днем девичье, очень тонкое, а теперь, при луне, совсем сквозило. Он болел летом и не успел загореть, а глаза казались не по лицу большими.

— Уди-ви-тельно мне было, что у вас, татар, тоже святой завелся!— протянул Матвей лениво, сквозь зубы.— И в роде часовни какой над ним...

— Это... один Мустафа строил...

— Старик?

— Тепер старик... раньше молодой был.

— От стариков от этих по земле только чад идет!

— Куды своих святых, а? — живо спросил Амет.

— Ку-ды-ы!.. Пораскидали куды попало!

В это время по шоссе прошелестел, поиграв лучами фонарей, автомобиль, а дальше он усиленно, сердито, хрипуче несколько раз протрубил кому-то встречному: должно быть, двигалась подвода, и подводчик спал.

— Поздно машина идот... Сколько часов тепер, знаишь, Матвей?

— Да уж на би́ле давно набили, а вот на качале еще не накачали,— прогундосил Матвей сквозь зевоту и добавил. — Теперь самое время спать ложиться, понял?

— Я сейчас ляжу...

— Вот!.. Ты — «ляжу», а я должен твой виноград стеречь... Это как называется?

— Твой русский карабчи́л... Нехорош люди, эх!..

— Известно, вашим татарам зачем карабчи́ть, когда у каждого свой есть?—Чудно́е дело!.. Спросила раз так-то вот бабка одна: И как тий воры по ночам ходют и не боятся? — А ей ответ: — Нужда, бабушка, заставляет!

Огни автомобиля, ярко-желтые в этой светлосиней ночи, мелькали уже за версту на минарете и домишках деревни, а ползшая навстречу ему подвода поравнялась с виноградником, тарахтя колесами, и вдруг остановилась.

Пото́м от шалаша, около которого лежали парни, отлично видно было, как осторожно перелезал кто-то через колючий плетень, но зацепился все-таки за ветки держи-дерева и стал, кряхтя, отдираться от плетня.

— Эй!.. Дядя заблудший!.. — крикнул Матвей, поднявшись, а тот, кто перелез было в виноградник, очень проворно очутился опять на плетне, и скоро послышалось со стороны шоссе и хляст возжами по лошади, и «Нно, чорт сонный!», и бойкий перебор копыт, и тарахтенье колес с подскоком...

— Русский! — сказал довольно Амет.

— Видать, что наш сердешный!.. Кажному сладкое лестно... Комашку возьми, и та сок сладкий любит...

И, завернувши в шалаш, Матвей вынес из него двустволку-пистонку, заряженную бекасником, положил рядом с собою, но уж не лег, а сел.

Виноградник был в полторы десятины, и на другом конце его тоже стоял шалашик, но только для виду. Впрочем, там привязана была небольшая голосистая собачонка. Делать ей там было нечего, и она, должно быть, дремала, свернувшись.

Луна величественно проплывала.

Свету от нее было так много, что можно было различить, как густо запылены белой шоссейной пылью две старых шелко́вицы, и что они именно запылены, а не только озарены луною.

Так как шоссе опять стало пустым и немым, то можно было еще поговорить о святом татарском, и Матвей сказал, зевнувши:

— Ведро вина дашь, я его пойду сейчас выкину!

— Кого выкинешь? — удивился Амет.

— Да этого, — святого-то вашего.

— Куды выкинешь?

— Да куды ж его?.. Называется, ко всем свиньям, вот куды!

— Ведро вина тебе за это?

— Ну-да, ведро... скажешь, — много?

— Не дам!

— Ну, полведра становь!.. Что-о, — не стоит, скажешь?.. Работа, ведь!.. Гроб там, или что?.. Гроб если, его без топора и не сломаешь... Или уж сопрел?!. Сколько ему годов есть, тому святому?

— Что ты?.. Тебе рука-нога отсохнет!

— От-сох-нет!.. Небось, не отсохнет!.. Он что, посты очень блюл, святой этот?

— О-он!.. Давно дело было... война была... Он... воевал тогда!

— Какой же он тогда святой?.. Во-е-вал!.. Тоже новость особенная!.. Кабы все, воевал-то кто, святые были, — это бы тогда на них и грешников не напаслись бы!.. А звать его как?

— Шейтлéр.

— Это имя такое?.. Или фамилие?

— Зачем имя?.. Святой человек, значит... Шейтлéр...

— Ну, мало ль у нас святых было, скажи? Так у всех же имена свои были... Без имен бы их попы давно перепутали... Иван, например, предтеча, Петр-апостол, а то вот Матвей тоже...

— Аджи-Осман имя!.. Аджи-Осман... А то есть Аджи-Ази́с — ёму брат был... Другом месте могила лежит...

— Два брата, и обои святые?

— Святые... Аджи-Осман... Аджи-Ази́с...

— А чем же этот ваш святой... ну, одним словом, как его узнали, что святой он?

— Лампы такие, понимаешь, зажигал... Свечки... Понимаешь, — четверг-ночь... Оч-чень много свечка горел... Очень красив свечка на разный цвет...

— Кто же их зажигал, свечки те?

— Сам он зажигал, — святой... Давно дело было... Тепер нет... Чистой сердце кого, тот тепер смотреть может... Мулла наш так говорил...

— Теперь таких где же найтить дураков, у кого сердце-то чистое? — ухмыльнулся Матвей. — Вот поэтому-то он, святой ваш, свечек своих зря не расходует... А мулле от него все-таки доходишко идет, от святого?

— До-хо-од?.. Книга старая кто имеет, — понимаешь? — наш такой закон: бросать нельзя, — туда нести надо...

— Книги что!.. На книгах не разживёсси!.. А денег не кладут нешто?

— Кла-ду-ут!.. Тот да пять копеек, тот да десять... Одёжу, понимаешь, — какой больной человек, — одежу туда кладет...

— Ну, вот, видишь!.. Грабиловка!.. Ставь полведра, ковырну его пойду!

— Нельзя!.. Больной будешь!.. — сказал Амет, однако улыбнулся и добавил: — Наш молодой татарин, — он та-ак!.. — и махнул пренебрежительно рукой: — Старый его оч-чень любит!

— Полведра поставишь?

— Нельзя!.. Узна́ют!.. — опять усмехнулся Амет.

— А ты не говори, — кто же узнает?.. Ты, конечно, боже избави, чтобы сказал!.. Ты сиди себе здесь, я тебе оттуда что-нибудь принесу.

Хотя девичьи губы Амета и улыбались еще недоверчиво, но темные глаза загорелись уже любопытством.

Он похлопал Матвея по плечу и сказал дружески:

— Сма-атри!.. Нога-рука отсохнет!.. Сма-атри, Матвей!

— Небось, — мы не таковские!

И Матвей поднялся, кашлянул, поправил картуз и сказал:

— Значит, полведра будет?.. Не больше того, как через полчаса я управлюсь: ты меня жди!

Амет, тоже поднявшись, пожал узкими плечами и голову наклонил набок, а губы его улыбались, и глаза мигали поощрительно.

2.

Матвей шел к деревне бойко, чтобы успеть управиться за полчаса.

Конечно, дело представлялось ему простым и легким.

Подобие часовенки над прахом Аджи-Османа с вырезанным из жести полумесяцем на аршинном шесте над очень ржавой крышей, приходилось как раз у ближнего конца деревни и стояло совсем на отшибе.

Днем он как-то заметил, что дверь туда, внутрь, замка не имела, а пробой дверной и кольцо в косяке были замотаны мягкой жженой проволокой. Он открутит проволоку, возьмет какую-нибудь старую книгу,—или что там еще можно взять,—и принесет Амету, а утром Амет, если хочет, может отнести ее обратно: это на выспоренные полведра влиять не будет.

Версту по шоссе до деревни Матвей прошел не больше, как в восемь минут, а когда при луне, делавшей все кругом очень непохожим и невсамделишним, он нашел глазами тот древний орех, наполовину усохший, под которым ютилась часовенка, то даже и не поглядел на деревню: деревне в такое время положено спать, чтобы встать вместе с солнцем.

Утлое строеньице, сооруженное каким-то Мустафою, было немногим выше Матвеева роста: такие на родине Матвея ставились баньки за дворами, на огородах, — только одному помыться, двум повернуться негде.

Дверь оказалась не на свету, а в тени, что, конечно, было удобнее для Матвея. Проволоку он открутил, нащупав конец пальцами; дверь, отворившись, даже не скрипнула.

Из окошечка внутрь свет лунный падал на тумбочку каменную с круглой головкой, а под ногами Матвей почувствовал что-то мягкое, постланное на земляном полу. Воздух был сырой и спертый, и как будто чесноком пахло.

Матвей высунул голову в дверь, — не идет ли кто.

Мечетный минарет очень ярко белел, и другое деревенское строение было видно отчетливо... Собаки — две или три — лаяли наперебой, но не близко... Людей нигде никого, но чей-то осленок пасся недалеко, и на него с полминуты глядел Матвей, — потом притворил дверь, достал коробку спичек и сам удивился, что пальцы дрожали.

Чиркнул спичку, прикрыв ее как от ветра ладонью (и почему-то долго она не разгоралась), и при ее слабом свете огляделся в убежище Аджи-Османа.

Головка тумбочки была разрисована под чалму, а на самой тумбочке какая-то надпись по-татарски. Мягкое, на чем стоял Матвей, оказалось цыновкой. На одной стене был прибит зачем-то крашеный в белое шкафчик небольшой, четверти в три высотою, а прямо перед Матвеем на полу разлеглась широкая и длинная зеленая крышка гроба, больше чем наполовину прикрытая полотнищем красного сукна с золотым позументом.

Спичка догорела, опять лунный синий квадрат упал на пол, и Матвей, пригнувшись, потянул к себе это самое красное полотнище.

Многое может почудиться в полночь, хотя бы и при полной луне, в такой уединенной клетушке с гробовой крышкой на полу, и Матвею явственно почудилось вдруг, когда он стягивал сукно, что под его ногами загудело... Что̀ могло загудеть?.. Земля?..

Чтобы не поддаваться страху, Матвей резко дернул сукно к себе, отчего гробовая крышка вдруг поднялась одним краем и стукнула опустившись, но весь кусок сукна все-таки очутился в руках Матвея, и тогда он ясно услышал, что вся часовенка затрепетала, задребезжала, затряслась... и, не успев даже разжать пальцев и выбросить сукно, Матвей в ужасе кинулся в дверь.

Осленок, который пасся около, теперь ревел отчаянно, собаки на деревне выли все сразу, люди кричали... (Это был первый сильный толчок землетрясения 12 сентября 1927 года.)

Матвей бросил сукно и побежал к своему винограднику, а от ореха к отцовскому дому побежал в другую сторону с ружьем за плечами наблюдавший за ним Амет, который не мог утерпеть, конечно, чтобы не посмотреть, как отсохнут у русского парня руки.

Руки не отсохли, — ими Матвей исправно махал, пока бежал по шоссе, но его будто лихорадка била, а добежав до шалаша и не найдя там Амета, который должен же был ждать его по уговору,— он хотел крикнуть, позвать его и никак не мог найти голоса.

Со стороны же деревни доносился все как будто резче ослиный рев, собачий вой, мужичий гуд и вой бабий.

Матвей бормотал шопотом:

— Вот тебе и святой татарский! — и пошел было к другому шалашу, не там ли Амет, но услышал, как там завела вытье собачонка очень жалобно, и до чего же жутко!.. Пришлось остановиться на полдороге.

Пока он бежал, у него пересохло горло, а кругом были спелые виноградные кисти, от которых пахло, но даже и в голову не пришло ему сорвать хотя бы одну и съесть.

Он вернулся опять к жилому шалашу, чтобы свернуть крученку (табак лежал там на полочке), однако и этого ему не удалось сделать: по шоссе, он услышал, проворно шла, а может быть и бежала, толпа людей и что-то кричала по-татарски.

На всякий случай Матвей присел в шалаше и начал шарить ружье, но ружья не было, и тут он различил среди татарских голосов голос Амета и не подумал, а почувствовал, — именно почувствовал всем длинным сутулым телом, — что ему надо бежать.

Он выполз из шалаша и, держась тени, ползком пробрался в виноградник, а там также по тени побежал, согнувшись, к углу плетня, где, он знал, перескочить всего легче.

Когда толпа с Афузом и Аметом ворвалась в шалаш, он был уже на плетне и потом, выскочив на шоссе, пересек его и побежал между кустами на юг, вниз, по направлению к морю (деревня Богаз-Кой была горная деревня и далеко от моря).

Он думал, что ушел от погони, но его заметили двое стариков, отставших от Афуза, Амета и других, они его узнали при ненужной теперь луне, они закричали туда на виноградник, и оттуда им отозвались.

«Неужто убьют?.. Неужто не уйду?..»

Луна слепила пестротой кругом глаза Матвею, кусты, объеденные коровами, цеплялись за рубаху, — сзади кричали и свистали...

3.

Матвей бежал по тропинке, которая была ему знакома днем, но теперь, пересеченная черными тенями и светлыми косяками, она то швыряла его вбок, в кусты, то заставляла спотыкаться о камни и напрягать до отказа всю упругость длинных ног, чтобы не упасть со всего размаху.

Большие камни тут между кустами стояли торчком, и когда он хватался за них руками на бегу, оказывались волжкими: роса села.

А сзади всё кричали, но уже отставая:

— А-а-ста-на-вись, э-эй!.. Стре-лять будем!

— Стреляй!.. Дурак я?.. «Остановись»!.. — бормотал Матвей, а сам все бежал по тропинке, прыгая через светлые косяки, принимая их на бегу за ребра камней и корни.

Выстрел сзади, действительно, грохнул, и хотя дробины до него не долетели, от звука этого выстрела Матвей шарахнулся вниз со всех ног, уже не разбирая тропинки, и зацепился за что-то ногою так, что не мог удержаться, упал и, падая, ударился обо что-то головой так крепко, что потерял память, а очнулся не раньше, как через час от того, что его подбросило, и он прокатился шага на два вниз, и опять он услышал, как под ним загудела земля: это был второй толчок, отмеченный восемью баллами и случившийся в 1 час 45 минут ночи, как это было записано у сейсмологов.

Матвей огляделся... Луна продолжала сиять, как сияла и раньше... Вспомнил он, что бежал, и что стреляли в него, и вскочил.

В голове еще было мутно и определенно болело справа на взлизе лба. Матвей попробовал рукою — ссадина и опухоль. Кусты около шелестели. Просвечивало море внизу.

Так как погони уж не было, некуда было спешить, да и трудно показалось итти, голова была мутной, — Матвей сначала сел, а потом прилег головой к холодному, мокрому камню и думал: «Вон какие татарские-то святые бывают!.. Это не то, что наши!..».

Думая так, он все-таки задремал, а проснулся, когда начинало уже светать: на востоке чуть зажелтело, подул ветер, и опять гудело под землей...

Прямо перед глазами Матвея отчетливо чернела вдалеке огромная голая каменная гора, и вот что он увидел вдруг: посередине этой черной горы, точно снятое молоко пролили, забелелось сверху вниз и будто пыль заклубилась там столбом, а через сколько-то мгновений такой явственный раздался каменный стук, долго стоявший в ушах.

— Вот он что делает, чорт!.. Горы ломает! — забормотал Матвей.— Вот какая ему сила дадена по здешних местах!..

И ясно ему стало, что надо спешить, надо уходить от н е г о как можно дальше: «Он уж головой об камень стукнул, а теперь, гляди, и камнем в голову треснет!.. Ему что?.. Он здесь у себя дома!..».

И, выставляя длинные ноги как можно заблористей, Матвей проворно начал спускаться вниз, к морю. Так определенно и думал:

«Он — горовóй!.. Только б до моря дойтить, — там уж без препятствиев!..»

В голове все уже стало на свое место, да и кругом светлело: уж горбушка солнечная резко и ослепительно выкатилась из-за моря.

Идя вниз, а потом, когда разошелся, уже попрыгивая через камни,— очень неудобная, крутая, каменистая и узенькая была тропинка, — Матвей часто оборачивался назад: не гонятся ли все-таки татары? Наконец, подумал успокоенно: «Неужто ж они не напугались? Небось, и их на испуг взяло!..».

А когда дошел до моря, когда зашумело оно уже шагах в двадцати внизу около каменных глыб, Матвей снял картуз, отер потный нос об рукав, еще раз попробовал шишку и ссадину на взлизе лба. Шишка стала куда меньше заметна, и не так уж саднило.

Он даже прикивнул ухарски головой по направлению той черной горы, на которой теперь еще заметней проступила белесая дорога, как водопад, и сказал вслух и раздельно:

— Нет, брат, теперь не возьмешь!

4.

Матвей знал, что три дома отдыха должны попасться ему на берегу, если он пойдет влево.

Тут были когда-то дачи богатых людей, имения с виноградниками и винными подвалами, а теперь, он знал, приезжают из Москвы по путевкам и живут густо, как и в Москве.

Так как это — свой народ, а не то, что татары, то хотелось когонибудь встретить: может, купаться какой ранний выйдет, — поговорить.

Тут, кстати, он подсчитал, что с Афуза ему за работу все-таки причитается пять с полтиной... Заработанное в Советской республике пропасть не должно: святой — это своим чередом, а деньги отдай!

Однако ясно было и то, что итти в деревню теперь опасно. Пожитков каких-нибудь там, в шалаше, правда, не оставалось, — только табаку пачка... и когда вспомнил о табаке, очень захотелось курить. В этом деле тоже кстати мог бы прийтись какой-нибудь ранний купальщик или уборщик.

Матвей пошел, теперь уже прочно принявши свой обычный вид, то есть сутулый, и кисти рук с загибами назад, но когда подходил к первому дому, то страшно поразило его, что около дома, между деревьями терпентинными, между кипарисами толстыми кишел народ: не то что один какой-нибудь ранний купальщик, — все оказались ранние: никто не спал.

Какая-то женщина в одной рубашке, и груди почти наружу, ноги голые, плакала, прислонясь к дереву, и никто ее не утешал. Двое лежали на земле в одном только белье, один чернявый, другой порусее, — оба молодых лет, колени у обоих приподняты, а глаза закрыты: как будто спят, и как будто без памяти...

Куча народу столпилась перед домом и что-то махала руками кверху, а выше этих стоял какой-то толстый, под ноль стриженный, ресницы белые и вся грудь голая, — и кричал:

— Не мо-гу пус-тить, слышите?.. И не пу-щу!..

Кто-то перекричал его:

— Товарищ заведующий!.. У меня же там брюки!

Но толстый отозвался:

— Мало что брюки!.. А потом мне за вашу жизнь отвечать?

— Восемьдесят рублей денег в кармане в брюках! — не отставал этот.

— Большая штука!.. Осадите, товарищи!

— Да ведь один момент сбегать!

— Сейчас... ожидается... толчок!.. Слышите?

Только тут Матвей присмотрелся к дому и увидел, что стены одной нет, — черная дыра, как ворота, — валяются камни, известка... балкон над дырой со второго этажа висит на рельсах одним концом вниз... Никаких тонких белых колонн, какие были спереди, нет совсем... И крышу перевернуло с этого бока, и видны балки.

Первое, что сделал, увидавши такое, Матвей, — это покосился назад, на море, покосился очень опасливо, потому что ясно стало: святой татарский и сюда достал!..

Но вот он заметил сзади себя — человек какой-то стоит в фуражке и фуражка по-старинному форменная с околышком бархатным, с каким-то значком... И одет этот человек как следует: рубашка у него застегнута до шеи, пояс широкий и брюки майские.

Выставив губы и сильно мигая серыми красножилыми глазами, Матвей подобрался к этому в инженерской фуражке, скользнул беспокой-

ным взглядом по его бритым губам и раздвоенному подбородку и сказал таинственно и тихо:

— Видал, какая ему, чорту, сила в этих местах дана?.. Знал бы я такое дело, нешто я стал бы его тревожить?

— Что та-кое? — удивленно оглядел его инженер.

— Да вот... старика-то этого... татарского...

Инженер глядел такими глазами страшными, что Матвей подумал вдруг:

«Это ж я теперь на всю жизнь пропал!.. Что же я сам на себя донос делаю?»

Поэтому он отвел голову к морю и добавил:

— Кто потревожил, конечно, как следует неизвестно... Я только к примеру об этом говорю...

Инженер вдруг вынул из кармана книжечку, а из нее желтый карандашик, и, еще больше смешавшись при виде карандаша и книжечки в коричневом переплетце, Матвей забормотал глухо:

— Это еще дознать как следует надо, почему это татары такого вредного старика под красным сукном держут!.. Красный цвет нам, рабочим, известный, строительный, — а старик этот вон какие котёлки разделывать может!..

Инженер твердо внес в свою книжечку: «Замечены случаи острого психического расстройства», а Матвей отошел от него поспешно, надвинул картуз поглубже на левую сторону яйцевидной своей головы, где не было ушиба, и решительно зашагал дальше.

5.

Второй дом отдыха стоял в глубине старого парка из раскидистых пиний и кедров, между которыми нежно голубели японские ели. Матвей поглядел на верхушки сосен, постоял в нерешительности, подумал и свернул все-таки в сторону этого дома: главное, очень хотелось курить, а спросить папироску у инженера куда же было? Хорошо, что ноги от него унес.

Оглянулся на всякий случай на тот разваленный дом, не идет ли инженер за ним следом, и вошел в парк не так уж смело, — скорее даже воровато. Тут народу около дома виднелось еще больше, да и дом был куда больше, богаче. Дом был такой, что Матвей оторопело бормотал подходя:

— Неужто и этот домище разворочал?..

Оказалось, и этот тоже.

Здесь огромный балкон шел вокруг всего дома, и стоял балкон этот на каменных четырехгранных столбах, но вот с одного угла рухнули эти каменные столбы, и половые доски балкона, толстые, вершковые доски, разодранно торчали как ощеренные зубы, и железные листы с крыши, — оцинкованного железа, — висели над ним внахлобучку, и вместо труб, которые были очень фигурны и этим даже возмущали когда-то раньше Матвея, теперь по всей крыше раскиданы были кирпичи...

Тут в стороне от толпы, между соснами, Матвей почти наткнулся на вытянутые крупные голые ноги с очень желтыми пятками; руки тоже были вытянуты вдоль тела, а лицо прикрыто татарской чадрушкой.

— Что-й-то, господи!.. Неужто мертвый? — бормотнул Матвей.

Постоял немного над ним — нет, никакого шевеления, — значит, убитый. Очень почему-то стало жалко этого человека, которого никогда не видал раньше, а лица его не видал и теперь...

Но на всякий случай, отойдя, он спросил какую-то женщину в клетчатых трусиках:

— Неужто убитый? — и кивнул на лежавшего.

Женщина, с глазами карими и с лицом очень загоревшим, почти как у татарок, ответила негромко:

— Двое у нас задавлены: этот и там еще один...

Облизнула губы и показала в сторону отставленным мизинцем.

Матвей посмотрел в ту сторону, и там увидал около скамейки на земле тоже голые ноги, а рядом с ними, на скамейке сидела девочка лет десяти с синими опухшими глазами, которая уж не плакала, а только дергалась.

И еще наткнулся Матвей на высокого человека, у которого все лицо оказалось разодранным в разных местах. Кровь запеклась, — не была смыта во-время — отчего лицо это показалось Матвею очень страшным, хотя высокий человек распоряжался тут так же, как тот, толстый, в первом доме.

На балконе стоял парень, — волоса ежом, — и спускал на веревке вниз чью-то корзину, а ободранный человек кричал:

— Не могу я этого допустить!

Парень же отзывался:

— Напрасно волнуетесь: я штрахованный!

Двое уже сидели на таких спущенных, должно быть, тем же парнем, корзинах и ели из фунтика виноград.

— Это ж вы шашлу́ или ча́уш кушаете? — спросил их Матвей, чтобы разговориться.

— Александрийский мускат, — ответил один, в синей рубашке, чуть на него взглянувши.

— Это — тоже виноград хороший... Я на винограднику сторожем служу, — сорта̀ знаю... Папиросочки у вас не разживусь?

— Там остались! — показал на балкон подбородком другой, с мокрым хохлом и золотым спереди зубом.

— Угу... И у мене также... Вот что обозначает потревожить его, проклятого!.. — осторожно уже сказал Матвей, но нельзя было совсем не сказать об этом: торчало в голове неотбойно.

— Это кого потревожить? — спросил другой в синей рубашке.

— Да старика того татарского, будь он проклят!.. — Кто потревожил, — неизвестно.., сукно красное с него снял... А он за это вон что делает!..

— Ты что, пьян?

И выплюнул тот, что с хохлом, шелуху виноградную на ноги Матвею.

— Как же!.. С этим выпьешь! — усмехнулся Матвей, припомнив, как спорил с Аметом на полведра вина. — Он, чорт, святой этот, большую силу имеет!..

Тут Матвей заметил, что оба глядят на него, слишком раскрыв глаза, и опять испугался, кабы не стали допрашивать.

Девочка дергалась, черная дама в трусиках, должно быть, сказала что-то несообразное, потому что ободранный высокий человек кричал ей громко:

— Я в ваших указаниях не нуждаюсь!

И со всех сторон закричали вдруг:

— Что? Толчок?.. Толчок?... Еще толчок?

Матвей почувствовал, что он покачнулся, а железо, висевшее в нахлобучку, дробно задребезжало.

Тогда поспешно вышел он опять на берег и пошел, уже не желая заходить в третий дом отдыха, который стоял в балочке, в стороне от двух первых.

Но, усиленно шмыгая длинными ногами, нагнал Матвей старушку какую-то в синих очках, в платочке черном, с мешочком парусинным за плечами, с палкой домоделковой.

Когда поровнялся он с нею, она повела на него снизу очками синими и пустой рот раскрыла.

— Вот, бабка, чудеса-то какие татарский святой делает! — сказал он негромко, но очень отчетливо.

— И? — промычала старушка.

Матвей оглянулся назад, нет ли кого? — никого не было, только море плескалось.

— Пострадал из-за меня народ, — это верно!.. Какие убитые лежат, какие над ними плачут, какие — лицо в ранах ходят... И народному состоянию вред я преизнес... Я сознаю это!

— Ы-ы? — потянулась к нему пустым ртом старушка с живейшим любопытством.

— Ну, только надо было нечистую силу эту ковыркнуть, — надо!.. Все равно! — с отчаянной решимостью, все повышая голос, кричал уже Матвей. — Надо ее с коры людской счищать и в ясный порядок преизвесть!.. А не то чтоб я тужить по этом своем поступку обязан!.. И что он мои пять с полтиной зажилить может, Афуз этот, на-а-пле-вать я хотел на пять с полтиной!..

— Ы-ы-ы? — отзывалась снизу, круто вывернув шею, старушка в пронзительных синих очках.

Ей Матвей мог кричать что угодно о потревоженном им татарском святом, в отместку шатающем землю: она не могла этого услышать и никому не могла бы от этом донести: она была глухонемая.

Жизнь Клима Самгина.

(Отрывок из второй части трилогии «Сорок лет»).

(Продолжение).

М. Горький.

В день объявления войны Японии Самгин был в Петербурге, сидел в ресторане на Невском, удивленно и чуть-чуть злорадно воскрешая в памяти встречу с Лидией. Час тому назад он столкнулся с нею лицом к лицу, она выскочила из двери аптеки прямо на него.

— Боже мой, Клим!

Только по голосу он узнал, что эта высокая, скромно одетая женщина, с лицом под вуалью, в какой-то оригинальной, но не модной шапочке с белым пером,— Лидия!

— Боже мой, — повторяла она с радостью и как будто с испугом. В руках ее и на груди, на пуговицах шубки, — пакеты; освобождая руку, она уронила один из них; Самгин наклонился; его толкнули, а он толкнул и оба рассмеялись, должно быть, весьма глупо.

— Вот... странно! Война и вдруг — ты! Ой, как ты постарел!

Но, когда она приподняла вуаль, он увидал, что у нее лицо женщины лет под сорок; только темные глаза стали светлее, но взгляд их — незнаком и непонятен. Он предложил ей зайти в ресторан.

— Не могу, ждет муж. Да, я замужем, пятый месяц, — не знал? Впрочем, я еще не писала отцу.

Уговорились встретиться у нее, тогда она торопливо наняла извозчика и уехала, крикнув:

— Не забудь адрес!

«Замужем?» — недоверчиво размышлял Самгин, пытаясь представить себе ее мужа. Это не удавалось. Ресторан был полон неестественно возбужденными людьми; размахивая газетами, они пили, чокались, оглушительно кричали; синещекий дородный человек, которому только толстые усы мешали быть похожим на актера, стоя с бокалом шампанского в руке, выпевал сиплым баритоном, сильно подчеркивая «а»:

— Га-аспада! Наканец... Мы знаем, наканец...

Засовывая палец за воротник рубахи, он крутил шеей, освобождая кадык, дергал галстук с крупной в нем жемчужиной, выставлял вперед то

одну, то другую ногу, — он хотел говорить и хотел, чтоб его слушали. Но и все тоже хотели говорить, особенно коренастый старичок, искусно зачесавший от правого уха к левому через голый череп несколько десятков волос.

— Это нес-лыхан-ное ве-ро̀-лом-ство, — кричал он и морщил красное лицо, точно собираясь чихнуть.

— Тихон Васильевич, поздравляю! Вы — пророк!

— Ага-а! То-то, батенька...

Справа от Самгина группа людей, странно похожих друг на друга, окружила стол, и один из них, дирижируя рукой с портсигаром, зажатым в ней, громко и как молитву говорил:

— Готовые чистосердечно положить...

— А не лучше — бескорыстно?

— Не надо банальностей!

— Устин, не мешай...

— Га-спада! Молебен о здравии...

— Короче, это ведь не кассационная жалоба.

Раздался знакомый голос:

— Об англичанах упоминается в Евангелии: «Блаженны кроткие, ибо они наслѐдят землю».

И, громко захохотав, Стратонов объяснил:

— Это из Марка Твэна.

Вдруг кто-то крикнул испуганно и зычно:

— Господа — демонстрация!

И, точно покачнулся пол, все люди сдвинулись к дымным окнам, стало тише, и строго прозвучал голос Стратонова:

— Не демонстрация, а манифестация.

Клим Самгин, бросив на стол деньги, поспешно вышел из зала и через минуту, застегивая пальто, стоял у подъезда ресторана. Три офицера, все с праздничными лицами, шли в ногу, один из них задел Самгина и весело сказал:

— Пардон, очки!

Пожилой пьяный человек, в распахнутой шубе, с шапкой в руке, неверно шагая, смотрел изумленно под ноги себе и рычал:

— Б-боже, царя хран-ни...

Остановился пред Самгиным, надул багровые щеки и дважды сделал губами:

— Бум! Бум!

По торцам мостовой, наполняя воздух тупым и дробным звуком шагов, нестройно двигалась небольшая редкая толпа, она была похожа на метлу, ручкой которой служила цепь экипажей, медленно и скучно тянувшаяся за нею. Встречные экипажи прижимались к панелям, — впереди толпы быстро шагал студент, рослый, кудрявый, точно извозчик-лихач; размахивая черным кашнэ перед мордами лошадей, он зычно кричал:

— Сворачивай!

Захлестывая панели, толпа сметала с них людей, но сама как будто не росла, а, становясь только плотнее, тяжелее, двигалась более медленно. Она не успевала поглотить и увлечь всех людей, многие прижимались к стенам, забегали в ворота, прятались в подъезды и магазины.

— Цар-ствуй на страх врагам, бум! — заревел пьяный и полез в толпу, как медведь в малинник.

В ту же минуту из ресторана вышел Стратонов, за ним группа солидных людей окружила, столкнула Самгина с панели, он подчинился ее благодушному насилию и пошел, решив свернуть в одну из боковых улиц. Но из-за углов тоже выходили кучки людей, вольно и невольно вклинивались в толпу, затискивали Самгина в средину ее и кричали в уши ему — ура! Кричали не очень единодушно и даже как-то осторожно.

В черной быстро плотневшей массе очень заметны были синеватые и зеленые пальто студентов, поблескивали металлические зрачки пуговиц, кое-где с боков толпы мелькнуло несколько серых фигур полицейских офицеров; впереди нестройно пели гимн, и неутомимо, как полицейский, командовал зычным голосом рослый студент:

— Свор-рачивай!

За спиною Самгина веселый тенорок запел:

По-шли наши подружки
Чай-ку попить к Андрюшке...

Самгин оглянулся: за ним шла группа молодежи, впереди ее, приплясывая, пел маленький технолог, очень румяный и, должно быть, нетрезвый.

Ты скажи мне; для чего
Ночевала у него?..—

пропел он подпрыгивая и прямо в лицо Самгина, напомнив ему чьи-то слова: «Шут необходим толпе более, чем герой».

А толпа уже так разрослась, распухла, что не могла втиснуться на Полицейский мост и приостановилась, как бы раздумывая: следует ли итти дальше? Многие побежали берегом Мойки в направлении Певческого моста, люди во главе толпы рвались вперед, но за своей спиной, в задних рядах, Самгин чувствовал нерешительность, отсутствие одушевленности.

«С холодной душой идут, из любопытства», — думал он, пренебрежительно из-под очков посматривая на разнолицых, топтавшихся на месте, людей. Сам он, как всегда, чувствовал себя в толпе совершенно особенным, чужим человеком и убеждал себя, что идет тоже из любопытства; убеждал, потому что у него явилась смутная надежда: а вдруг произойдет нечто необыкновенное?

И все-таки он был поражен, даже растерялся, когда, шагая в поредевшем хвосте толпы, вышел на Дворцовую площадь и увидал, что люди впереди него становятся карликами. Не сразу можно было понять, что

они падают на колени, падали они так быстро, как будто невидимая сила подламывала им ноги. Чем дальше по направлению к шоколадной массе дворца, тем более мелкими казались обнаженные головы людей; площадь была вымощена ими, и в хмурое зимнее небо возносился тысячеголосый рев:

— Победы благоверному императору...

Самгин, больно прижатый к железной решетке сквера, оглушенный этим знакомым и незнакомым ревом, чувствовал, что он вливается в него волнами, заставляет его звучать колоколом под ударами железного языка.

«Победил... Все простили, Ходынку... все!»

Это было изумительно, и это радовало. Но люди мешали укрепить радость, насладиться ею. Впереди Самгина подпрыгивал толстый, лысоватый и, вскидывая голову из каракулевого воротника, беспокойно спрашивал:

— Выходит? Неужели не выйдет?

Рядом кто-то возмущался:

— Осторожнее! Вы меня задели.

— Ох, батюшка, такой момент!

— На колени, господа, на колени, — кричал Стратонов где-то близко.

— Ур-ра, — взревела вся площадь, а лысоватый, запрокинув голову, ударив затылком в грудь Самгина, слезливо и тонко застонал:

— Вышел, — голубчик — господи — умница, — ах-х!..

Он захлебывался словами, торопливо и бессвязно произнося их одно за другим и прижимаясь к Самгину, оседал, точно земля проваливалась под ним. Самгин видел, как разломились двери на балконе дворца, блеснул лед стекол, и из них явилась знакомая фигурка царя под руку с высокой, белой дамой. Обе фигурки на фоне огромного дворца и над этой тысячеглавой, ревущей толпой были игрушечно маленькими, и Самгину казалось, что, чем лучше видят люди игрушечность своих владык, тем сильнее становится восторг людей. Площадь наполнилась таким горячим, оглушающим ревом, что у Самгина потемнело в глазах, и он почувствовал то же, что в Нижнем, — его как будто приподнимало с земли. Но его одновременно ударили по плечу, дернули за полу пальто.

— На колени ты, шляпа!

Опускаясь на колени, он чувствовал, что способен так же бесстыдно зарыдать, как рыдал рядом с ним седоголовый человек в темносинем пальто. Необыкновенно трогательными казались ему царь и царица там, на балконе. Он вдруг ощутил уверенность, что этот маленький человечек, насыщенный, заряженный восторгом людей, сейчас скажет им какие-то исторические, примиряющие всех со всеми, чудесные слова. Не один он ждал этого, вокруг бормотали, покрикивали:

— Говорит?

— Тише! Ах, господи!

— Царица-то! Белая, точно ангел хранитель.

— Начал? Говорит?

— Они — как Гензель и Грета...

— Вы чувствуете? Восторг толпы — религиозен.

— Говорит, а?

Самгин приподнялся с колен, но его снова дернули за полу, ударили по спине.

— Стоять! Я — те дам...

Это не охладило волнения Самгина, не обидело его, он только спросил:

— Говорит?

— Отсюда — не услышишь.

— «И твое сохраняя»,— пела толпа вдали, у Александровской колонны.

— Ушел? Ушли?

— Ура-а...

Да, царь исчез. Снова блеснули ледяные стекла дверей; толпа выросла вверх, быстро начала расползаться, сразу стало тише.

— Отслужили! — кричал маленький технолог, расталкивая людей, и где-то близко зычно зазвучал крепкий голос Стратонова:

— Тот же единодушный взрыв национальной гордости и силы, который выбросил Наполеона из Москвы на остров Эльбу...

Самгин оглянулся: прилепясь к решетке сквера, схватив рукою сучек дерева, Стратонов возвышался над толпой, помахивал над нею красным кулаком с перчаткой, зажатой в нем, и кричал. Толстое лицо его надувалось и опадало, глаза, побелев, ледянисто сверкали, и вся крупная, широкогрудая фигура, казалось, росла. Распахнувшееся меховое пальто показывало его тугой живот, толстые ляшки; Самгин отметил, что нижняя пуговица брюк Стратонова расстегнута, но это не было ни смешным, ни неприличным, а только подчеркивало напряжение, в котором чувствовалось что-то как бы эротическое, что согласовалось с его крепким голосом и грубой силой слов.

— Мы их под... коленом и — в океан, — кричал он, отгибая нижнюю губу, блестя золотой коронкой, его подстриженные усы, ощетинясь, дрожали, казалось, что и уши его двигаются. Полсотни людей кричали в живот ему:

— Браво-о!

А технолог выл, приложив ладони ко рту:

— Бара-во-во-воу-у!

— Вы зачем же хулиганите? — спросил его человек в дымчатых очках и в котиковой шапке. — Нет, позвольте, куда вы?

Самгин медленно пошел прочь.

«Да, ничтожный человек, — размышлял он не без горечи. — Иван Грозный, Петр, — эти сказали бы, нашли бы слова...»

Он чувствовал себя еще раз обманутым, но и жалел сизого человечка, который ничего не мог сказать людям, упавшим на колени пред ним, вождем.

«Юродивый Диомидов может владеть людями, его слушают, ему верят».

Тут он вспомнил, что Диомидов, после Ходынки, утратил сходство с царем.

В магазинах вспыхивали огни, а на улице сгущался мутный холод, сеялась какая-то сероватая пыль, пронзая кожу лица. Неприятно было видеть людей, которые шли встречу друг другу так, как будто ничего печального не случилось; неприятны голоса женщин и топот лошадиных копыт по торцам; странный звук, точно десятки молотков забивали гвозди в небо и в землю, заключая и город и душу в холодную, скучную темноту.

«А что бы я сказал на месте царя?» — спросил себя Самгин и пошел быстрее. Он не искал ответа на свой вопрос, почувствовав себя смущенным догадкой о возможности своего сродства с царем.

«Смешно. Совершенно нелепо», — думал он, отталкивая эту догадку.

Через час он сидел в маленькой комнатке у постели, на которой полулежал обложенный подушками бритоголовый человек с черной бородой, подстриженной на щеках и раздвоенной на подбородке белым клином седых волос.

— Антон Муромский, — назвал он себя, точно был архиереем.

Лицо у него смуглое, четкой, мелкой лепки, а лоб слишком высок, тяжел и давит это почти красивое, но очень носатое лицо. Большие, янтарного цвета глаза лихорадочно горят, в глубоких глазницах густые тени. Нервными пальцами скатывая аптечный рецепт в трубочку, он говорит мягким голосом и немножко картавя:

— Его называют царем Федором Ивановичем, нет! Он — царь карликовых людей, царь моральных карликов.

В соседней комнате гремела посуда, дребезжали ножи, вилки, и веселый голос громко уговаривал:

— Да бросьте, барыня, я сама все сделаю.

Муромский поморщился и крикнул:

— Лида!

Она тотчас пришла. В сером платье без талии, очень высокая и тонкая, в пышной шапке коротко остриженных волос она была значительно моложе того, как показалась на улице. Но капризное лицо ее все-таки сильно изменилось, на нем застыла какая-то благочестивая мина, и это делало Лидию похожей на английскую гувернантку, девицу, которая уже потеряла надежду выйти замуж. Она села на кровать в ногах мужа, взяла рецепт из его рук, сказав:

— Опять изорвешь.

Муромский, взяв со стола нож для книг, продолжал, играя ножом:

— Когда я был юнкером, приходилось нередко дежурить во дворце: царь был еще наследником. И тогда уже я заметил, что его внимание привлекают безличные люди, посредственности. Потом видел его на маневрах, на полковых праздниках. Я бы сказал, что талантливые люди неприятны ему, даже — пугают его.

«Очевидно, считает себя талантливым и обижен невниманием царя»,— подумал Самгин; этот человек после слов о карликовых людях не понравился ему.

Вмешалась Лидия.

— Помнишь, Туробоев сказал, что царь — человек, которому вся жизнь не по душе и он себя насилует, подчиняясь ей?

Она проговорила это, глядя на Самгина задумчиво и как бы очень издалека.

— Я не верю, что он слабоволен и позволяет кому-то руководить им. Не верю, что религиозен. Он — нигилист. Мы должны были дожить до нигилиста на троне. И, вот, дожили...

— Пожалуйте кушать, — возгласила толстенькая горничная, заглянув из двери.

Когда Муромский встал, он оказался человеком среднего роста, на нем была черная курточка, похожая на блузу; ноги его, в меховых туфлях, напоминали о лапах зверя. Двигался он слишком порывисто для военного человека. За обедом оказалось, что он не пьет вина и не ест мяса.

— Из соображений гигиены, — объяснила Лидия, как-то ненужно и при этом вызывающе вскинула голову.

Небрежно расковыривая вилкой копченого сига, Муромский говорил:

— Да, царь — типичный русский нигилист, интеллигент! И когда о нем говорят: последний царь, я думаю: это верно! Потому что у нас уже начался процесс смещения интеллигенции. Она — отжила. Стране нужен другой тип, нужен религиозный волюнтарист, да! Вот именно: религиозный!

Бросив вилку на стол и обеими руками потерев серебристую щетину на черепе, Муромский вдруг спросил:

— Что вы думаете о войне?

— Безумие, — сказал Самгин, пожимая плечами.

— Да?

— Конечно.

Сунув руки в карманы, Муромский откинулся на спинку кресла и объявил:

— Я иду на войну добровольцем.

— А я — сестрой, — сказала Лидия немножко задорно. — Мы решили это еще вчера, — прибавила она.

Чувствуя себя очень неловко, Самгин спросил:

— Вы — кавалерист?

— Поручик гвардейской артиллерии, я — в отставке, — поспеш сказал Муро ский, нестерпимо блестящими глазами окинув гостя. · Но, в конце концов, воюет народ, мужик. Надо итти с ним. В безуми Да, и в безумие.

— Тогда, — почему же не в революцию? — докторально спроси Самгин.

— И в революцию, когда народ захочет ее сам, — выговорил Му ромский, сильно подчеркнул последнее слово и, опустив глаза, нача. размазывать ложкой по тарелке рисовую кашу.

Самгин чувствовал себя небывало скучно и бессильно пред эти человеком, пред Лидией, которая слушает мужа, точно гимназистка наивно влюбленная в своего учителя словесности.

— Люди могут быть укрощены только религией, — говорил Муромский, стуча одним указательным пальцем о другой, пальцы были тонкие, неровные и желтые, точно корни петрушки. — Под укрощением я понимаю организацию людей для борьбы с их же эгоизмом. На войне человек перестает быть эгоистом...

Самгин был доволен, когда он, бросив салфетку на стол, объявил, что должен лечь.

— У меня — колит, — сказал он, точно о достоинстве своем, и ушел.

Веселая горничная подала кофе. Лидия, взяв кофейник, тотчас шумно поставила его и начала дуть на пальцы. Не пожалев ее, Самгин молчал, ожидая, что она скажет. Она спросила: давно ли он видел отца, здоров ли он? Клим сказал, что видит Варавку часто и что он, летом, будет жить в Старой Руссе, лечит. ся от ожирения.

— Самое длинное письмо от него за прошлый год — четырнадцать строчек. И все каламбуры, — сказала Лидия, вздохнув, и непоследовательно прибавила: — Да, вот какие мы стали. Антон находит, что наше поколение удивительно быстро стареет.

— Ты много путешествовала?

— Да.

— Все искала праведников?

— Как видишь нашла, — тихонько ответила она.

Кофе оказался варварски горячим и жидким. С Лидией было неловко, неопределенно. И жалко ее немножко, и хочется говорить ей какие-то недобрые слова. Не верилось, что это она писала ему обидные письма.

«Она — несчастный человек, но из гордости не сознается в этом»,— подумал он.

— Ты, что же: веришь, что революция сделает людей лучше? — спросила она, прислушиваясь к возне мужа в спальне.

— А ты не веришь?

— Нет, — ответила она, вызывающе вскинув голову, глядя на него широко открытыми глазами. — И не будет революции, война подавит ее, Антон прав.

— Блажен, кто верует, — равнодушно сказал Самгин и спросил о Туробоеве.

— Он — двоюродный брат мужа, — прежде всего сообщила Лидия, а затем, в тоне осуждения, рассказала, что Туробоев служил в каком-то комитете, который называл «Комитетом Тришкина кафтана», затем ему предложили место земского начальника, но он сказал, что в полицию не пойдет. Теперь пишет непонятные статьи в «Петербургских ведомостях» и утверждает, что муза редактора — настоящий нильский крокодил, он живет в цинковом корыте в квартире князя Ухтомского, и князь пишет передовые статьи по его наущению.

— Все эти глупости Игорь так серьезно говорит, что кажется сумасшедшим, — добавила она, поглаживая пальцем висок.

Поговорили еще несколько минут, и Самгин встал. Она, не удерживая его, заглянула в дверь спальни.

— Спит, слава богу! У него — бессонница по ночам. Ну, прощай...

«Какая ненужная встреча», — думал Самгин, погружаясь в холодный туман очень провинциальный улицы, застроенной казарменными домами, среди которых деревянные торчали, как настоящие, но гнилые зубы в ряду искусственных.

— Царь карликовых людей, — повторил Самгин с едкой досадой. — Прячутся в бога... Смещение интеллигенции...

Пред ним снова встал сизый, точно голубь, человечек на фоне льдистых стекол двери балкона. Он почувствовал что-то неприятно аллегорическое в этой фигурке, прилепившейся, как бездушная, немая деталь огромного здания, высоко над массой коленопреклонных, восторженно ревущих людей. О ней хотелось забыть, так же, как о Лидии и о ее муже.

Но через несколько месяцев он снова увидел царя. Ярким летним днем Самгин ехал в Старую Руссу; скрипучий, гремящий поезд не торопясь катился по полям Новгородской губернии; вдоль железнодорожной линии стояли в полусотне шагов друг от друга новенькие солдатики; в жарких лучах солнца блестели, изгибались штыки, блестели оловянные глаза на лицах, однообразных, как пятикопеечные монеты. Празднично наряженные мужики и бабы убирали сено; близко к линии бабы казались ожившими крестьянками с картин Венецианова, а вдали — точно огромные цветы лютика и мака. В купэ вагона кроме Самгина сидели еще двое: гладенький старичок в поддевке, с большой серебряной медалью на шее, с розовым личиком, спрятанным в седой бороде, а рядом с ним угрюмый, усатый человек с большим животом, лежавшим на коленях у него. Сидел он, широко расставив ноги, сильно потея, шевелил усами, точно рак, и каждую минуту крякал. Когда поезд подошел к одной из маленьких станций, в купэ вошли двое штатских и жандармский вахмистр, он посмотрел на пассажиров желтыми глазами и сиплым голосом больного приказал:

— Закройте окна, опустите занавеску; на волю не смотреть.

Один из штатских, тощий, со сплюснутым лицом и широким носом, сел рядом с Самгиным, взял его портфель, взвесил на руке и, положив

портфель в сетку, протяжно, воющим звуком, зевнул. Старичок с медалью заволновался, суетливо закрыл окно, задернул занавеску, а усатый спросил гулко:

— В чем дело?

— Значит государю дорогу даем, — объяснил старичок, счастливо улыбаясь.

Самгин вышел в коридор, отогнул краешек пыльной занавески, взглянул на перрон: на перроне одеревенело стояла служба станции во главе с начальником, а за вокзалом — стена солидных людей в пиджаках и поддевках.

— Сказано: нельзя смотреть! — тихо и лениво проговорил штатский, подходя к Самгину и отодвинув его плечом от окна, но занавеску не поправил, и Самгин видел, как мимо окна, не очень быстро, тяжко фыркая дымом, проплыл блестящий паровоз, покатились длинные, новенькие вагоны; на застекленной площадке последнего сидел, как тритон в домашнем аквариуме, — царь. Сидел он в плетеном кресле и, раскачивая на желтом шнуре золотой портсигар, смотрел, наклонясь, вдаль, кивая кому-то гладко причесанной головой. На станции глухо рявкнули:

— Ура!

Штатский человек снова протяжно зевнул и ушел, а толстый, расправляя усы, сказал Самгину:

— Смелый вы.

— Проследовал, значит? — растерянно бормотал старичок. — Ах ты, господи! А мне представляться ему надо было. Подвел меня племянник, дурак, вчерась надо было ехать, подлец! У меня, милостью его величества, дело в мою пользу решено, — понимаете ли...

Паровоз сердито дернул, лязгнули сцепления, стукнулись буфера, старик пошатнулся, и огорченный рассказ его стал невнятен. Впервые царь не вызвал у Самгина никаких мыслей, не пошевелил в нем ничего, мелькнул, исчез, и остались только поля, небогато покрытые хлебами, маленькие солдатики, скучно воткнутые вдоль пути. Пестрые мужики и бабы смотрели вдаль из-под ладоней, картинно стоял пастух в красной рубахе, вперегонки с поездом бежали дети.

— Семнадцать лет судился без толку...

Через два часа Клим Самгин сидел на скамье в парке санатории, пред ним в кресле на колесах развалился Варавка, вздувшийся, как огромный пузырь, синее лицо его, похожее на созревший нарыв, лоснилось, медвежьи глаза смотрели тускло, и было в них что-то сонное, тупое. Ветер поднимал дыбом поредевшие волосы на его голове, перебирал пряди седой бороды, борода лежала на животе, который поднялся уже к подбородку его. Задыхаясь, свистящим голосом он понукал Самгина:

— Ну? Ну, ну. Тридцать семь тысяч? Дурак он. Ну, ладно, продай...

Охватив пальцами, толстыми, как сосиски, ручки кресла, он попробовал поднять непослушное тело; колеса кресла пошевелились, скрип-

нули по песку, а тело осталось неподвижным; тогда он, пошевелив невидимой шеей, засипел:

— А я, брат, к чорту иду! Ухайдакался. Кончен. Строил, строил, а ничего фундаментального не выстроил.

Слушая отрывистые, свистящие слова, Самгин смотрел, как по дорожкам парка скучные служители толкают равнодушно пред собою кресла на колесах, а в креслах — полуживые, разбухшие тела. В центре небольшого парка из-под земли бьет толстая струя рыжевато-мутной воды, распространяя в воздухе солоноватый запах рыбной лавки. Прошла высокая толстая женщина с желтым студенистым лицом, ее стеклянные глаза вытеснила из глазниц Базедова болезнь, женщина держала голову так неподвижно, точно боялась, что глаза скатятся по щекам на песок дорожки. Провезли чудовищно толстую девочку: она дремала, из ее розового приоткрытого рта текла слюна. Шел коротконогий, шарообразный человек, покачивая головою в такт шагам, казалось, что голова у него пустая, как бычий пузырь, а на лице стеклянная маска. И так, один за другим, двигались под музыку военного оркестра тяжелые, уродливые люди, показывая себя безжалостно знойному солнцу.

— Обидно, Клим, шестьдесят два только, — сипел Варавка, чавкая слова. — Воюем? Дурацкая штука. Царь приехал. Запасных провожать. В этом городе Достоевский жил.

К нему подошел сутулый, подслеповатый служитель в переднике и сказал птичьим голосом:

— Пора, барин.

— Купать, — объяснил Варавка. — Потом — тискать будут.

Служитель нагнулся, понатужился и, сдвинув кресло, покатил его. Самгин вышел за ворота парка, у ворот, как два столба, стояли полицейские в пыльных, выгоревших на солнце шинелях. По улице деревянного городка бежал ветер, взметая пыль, встряхивая деревья; под забором сидели и лежали солдаты, человек десять, на тумбе сидел унтер-офицер, держа в зубах карандаш, и смотрел в небо: там летала стая белых голубей.

Полукругом стояли краснолицые музыканты, неистово дуя в трубы, медные крики и уханье труб вливалось в непрерывный, воющий шум города, и вой был так силен, что казалось, это он раскачивает деревья в садах и от него бегут во все стороны, как встревоженные тараканы, бородатые мужики с котомками за спиною, заплаканные бабы.

Упираясь головой в забор, огненно-рыжий мужик кричал в щель между досок:

— Два тридцать — хошь? Душу продаю, сукиному сыну...

Он пинал в забор ногою, бил кулаком по доскам, а в левой руке его висела, распустив меха, растрепанная гармоника.

— Душу, — кричал он. — Шесть гривен? Врешь!

Ударив гармоникой по забору, он бросил ее под ноги себе, растоптал двумя ударами ноги и пошел прочь быстрым, твердым шагом трезвого человека.

На берегу тихой Поруссы сидел широкобородый запасной в солдатской фуражке, голубоглазый красавец; одной рукой он обнимал большую, простоволосую бабу с румяным лицом и безумно вытаращенными глазами, в другой держал пестрый ее платок, бутылку водки и — такой мощный, рослый — говорил женским голосом, пронзительно:

— Значит, так! Значит, мерина продавай, мать его...

Прижимаясь лицом к плечу его, баба выла:

— Лександра, Христа ради...

— Стой! Молчи, дай подумать...

Он воткнул горлышко бутылки в рот себе, запрокинул голову, и густейшая борода его судорожно затряслась. Пил он до слез, потом швырнул недопитую бутылку в воду, вздрогнул, с отвращением потряс головой и снова закричал:

— Значит, продавай! Больше никаких! Ну, вот... Работали мы с тобой, мать их...

Баба вырвала платок из его рук и, стирая пот со лба его, слезы с глаз, завыла еще громче:

— Лександрушка, никто нас не жалеет...

— Молчи! Ударю...

Пружинно вскочив на ноги, он рывком поднял бабу с земли, облапил длинными руками, поцеловал и, оттолкнув, крикнул, задыхаясь, грозя кулаком:

— Гляди же!

— Лександра...

— Молчи! Значит поняла? Продавай! Идем.

— Господи, да что же это? — истерически крикнула баба, ощупывая его руками, точно слепая. Мужик взмахнул рукою, открыл рот и замотал головою, как будто его душили.

С этого момента Самгину стало казаться, что у всех запасных открытые рты и лица людей, которые задыхаются. От ветра, пыли, бабьего воя, пьяных песен и непрерывной, бессмысленной ругани кружилась голова. Он вошел на паперть церкви; на ступенях торчали какие-то однообразно спокойные люди и среди них старичок с медалью на шее, тот, который сидел в купэ вместе с Климом.

— Теперь война легкая, — говорил он. — И ружья легче и начальство.

— Это верно.

На площади лениво толпились празднично одетые обыватели; женщины под зонтиками были похожи на грибы-мухоморы. Отовсюду вырывались, точно их выбрасывало, запасные; встряхивая котомками, они ошеломленно бежали все в одном направлении, туда, где пела и ухала медь военных труб.

«Тихий океан, — вспомнил Самгин. — Торопятся сбросить японцев пинками в Тихий океан. Кошмар».

Да, было нечто явно шаржированное и кошмарное в том, как эти полоротые бородачи, обгоняя друг друга, бегут мимо деревянных домиков, разноголосо и крепко ругаясь, покрикивая на ошарашенных баб, сопровождаемые их непрерывными причитаниями, воем. Почти все окна домов сконфуженно закрыты, и, наверное, сквозь запыленные стекла смотрят на обезумевших людей деревни привыкшие к спокойной жизни сытенькие женщины, девицы, тихие старички и старушки.

«Океан»...

Толпа редела, разгоняемая жарким ветром и пылью; на площади обнаружилась куча досок, лужа, множество битых бутылок и бочка; на ней сидел серый солдат с винтовкой в коленях. Ветер гонял цветные бумажки от конфет, солому, врывался на паперть и свистел в какой-то щели. Самгин постоял, посмотрел и, чувствуя отвращение к этому городу, к людям, пошел в санаторию. Ему захотелось тотчас же перескочить через все это в маленькую монашескую комнату Никоновой, для того, чтоб рассказать ей об этом кошмаре и забыть о нем.

Через трое суток он был дома, кончив деловой день, лежал на диване в кабинете, дожидаясь, когда стемнеет, и он пойдет к Никоновой. Варвара уехала на дачу, к знакомым. Пришла горничная и сказала, что его спрашивает Гогин.

— По телефону? Скажи, что...

— Они здесь.

Самгин встал, догадываясь, что этот хлыщеватый парень, играющий в революцию, вероятно, попросит его о какой-нибудь услуге, а он не сумеет отказаться. Нахмурясь, поправив очки, Самгин вышел в столовую, Гогин, одетый во фланелевый костюм, в белых ботинках шагал по комнате, не улыбаясь, против обыкновения, он пожал руку Самгина и, продолжая ходить, спросил скучным голосом:

— Вы не знаете, куда уехала Никонова?

— Не знаю.

— А что вы о ней вообще знаете?

— Очень немного. В чем дело?

Гогин сел к столу, не торопясь, вынимая портсигар из кармана, посмотрел на него стесняющим взглядом, но не ответил, а спросил:

— Но, ведь, вы с нею, кажется, давно знакомы и... в добрых отношениях?

Спросил он вполголоса и вяло, точно думал не о Никоновой, а о чем-то другом. Но тем не менее слова его звучали оглушительно. И, чтоб воздержаться от догадки о причине этих расспросов, Самгин быстро и сбивчиво заговорил:

— Хорошие отношения? Ну, да... как сказать? Во всяком случае — отношения товарищеские... полного доверия...

Он замолчал, наблюдая, как медленно Гогин собирается закурить папиросу, как сосредоточенно он ее осматривает. Догадка все-таки про-

сачивалась, волновала и, сняв очки, глядя в потолок вспоминающим взглядом, Самгин продолжал:

— Позвольте... Первый раз я ее встретил, кажется... лет десять тому назад. Она была тогда с «народоправцами», если не ошибаюсь.

— Да, — сказал Гогин, как бы поощряя, но не подтверждая, и склонил голову к плечу.

— А что? — спросил Самгин.

— И — потом? — тоже спросил Гогин.

— Потом видел ее около Лютова, знаете, есть такой... меценат революции, как его назвала ваша сестра.

Гогин утвердительно кивнул.

— Любаша Сомова ввела ее к нам, когда организовалась группа содействия рабочему движению... или,—не помню,—может быть, в Красный крест.

— Так, — сказал Гогин, встав и расхаживая по комнате с папиросой, которая не курилась в его пальцах. Самгин уже знал, что скажет сейчас этот человек, но все-таки испугался, когда он сказал:

— Чтобы короче: есть основания подозревать ее в знакомстве с охранкой.

— Не может быть, — искренно воскликнул Самгин, хотя догадывался именно об этом. Он даже подумал, что догадался не сегодня, не сейчас, а — давно, еще тогда, когда прочитал записку симпатическими чернилами. Но это надо было скрыть не только от Гогина, но и от себя. — Не может быть, — повторил он.

— Н-ну? почему? — тихо воскликнул Гогин. — Бывало. Бывает.

— Какие же данные? — тоже тихо спросил Самгин.

Гогин остановился, повел плечами, зажег спичку и, глядя на ее огонек, сказал:

— Замечены были некоторые... неясности в ее поведении, кое-что неладное, а когда ей намекнули на это, — кстати сказать: неосторожно немекнули, неумело, — она исчезла.

Гогин говорил мучительно медленно, и это возмущало.

— Почему же мне ничего не сказали? — сердито спросил Самгин.

— О таких вещах всем не рассказывают, — ответил Гогин, садясь, и ткнул незакуренную папиросу в пепельницу. — Видите ли, — более решительно и строго заговорил он, — я, в некотором роде, официальное лицо, комитет поручил мне узнать у вас: вы не замечали в ее поведении каких-либо... странностей?

— Нет, — быстро сказал Самгин, чувствуя, что сказал слишком быстро и что это может возбудить подозрение. — Не замечал ничего, — более спокойно прибавил он, соображая, что, может быть, это Никонова донесла на Митрофанова.

Гогин снова и как-то нелепо, с большим усилием достал портсигар из кармана брюк, посмотрел на него и положил на стол, кусая губы.

— Есть слух, что вы с нею были близки, — сказал он, вздохнув и почесывая висок пальцем.

Самгин тоже ощутил тонкую, сверлящую боль в виске.

— Да, я у нее бывал и... нередко. Но это... отношения другого порядка.

— Возможно, что они и помешали вам замечать, — неопределенно сказал Гогин.

— Она казалась мне скромной, преданной делу... Очень простая. Вообще — неяркая.

— Домохозяин ее тоже очень темный человек. Не знаете, — он родственник ей? — спросил Гогин.

— Нет, не знаю, — ответил Самгин, чувствуя, что на висках его выступил пот, а глаза сохнут. — Я даже не знал, что собственно она делает? В технике? Пропагандистка? Она вела себя со мной очень конспиративно. Мы редко беседовали о политике. Но она хорошо знала быт, а я весьма ценил это. Мне нужно для книги.

Самгин понимал, что говорит излишне много и что этого не следует делать пред человеком, который, глядя на него искоса, прислушивается как бы не к словам, а к мыслям. Мысли у Самгина были обиженные, суетливые и бессвязные, ненадежные мысли. Но слов он не мог остановить, точно в нем, против его воли, говорил другой человек. И возникало опасение, что этот другой может рассказать правду о записке, о Митрофанове.

— Так непохоже на нее, — говорил он, разводя руками, и думал: «Если б я знал... Если б она сказала мне... А что ж тогда?».

Гогин молчал. Его молчание становилось совершенно невыносимым. Он сидел, покачивая ногой, и Самгину казалось, что обращенное к нему ухо Гогина особенно чутко напряжено.

«Может быть, он подозревает и меня?» — внезапно подумал Самгин и вслух очень громко вскричал: — Это так чудовищно!

— Неприятная штука, — щелкнув пальцами, отозвался Гогин. — Главное — скрылась, вот что...

Не меняя позы, он все сидел, а, ведь, он уже спросил обо всем и мог бы уйти. Он вздохнул.

— Исчезла при таких обстоятельствах, что...

В дверь постучали.

— Кто? Я — занят! — крикнул Самгин.

— Телеграмма, — сказала горничная.

Он взял из ее рук синий конвертик и, не вскрыв, бросил его на стол. Но он тотчас заметил, что Гогин смотрит на телеграмму, покусывая губу, заметил и — испугался: а вдруг это от Никоновой?

«Не буду вскрывать», — решил он и несколько отвратительных секунд не отводил глаз от синего четыреугольника бумаги, зная, что Гогин тоже смотрит на него, — ждет.

«Глупо и подозрительно», — догадался он и стал, не спеша, развертывать телеграмму, а потом прочитал механически, вслух: «Тимофей скончался привези тело немедля Самгина».

И, почти не скрывая чувства облегчения, он объяснил:

— Телеграфирует мать, умер отчим. Надо ехать в Старую Руссу.

— Да, неприятная штука, — задумчиво повторил Гогин, вставая, и спросил: — Если Никонова напишет вам, вы сообщите мне ее адрес.

— Разумеется. Как же иначе?

— Да. Это все, конечно, между нами. До времени. Может быть, еще объяснится в ее пользу, — пробормотал Гогин и, слабо пожав руку Самгина, ушел.

«Он, кажется, хотел утешить меня», — сообразил Самгин, подойдя к буфету и наливая воду в стакан.

Он чувствовал себя обессиленным, оскорбленным и даже пошатывался, идя в кабинет. В левом виске стучало, точно там были спрятаны часы.

«Следовало сказать о моих подозрениях, — думал он, садясь к столу, но встал и лег на диван. — Ерунда, я не имел никаких подозрений, это он сейчас внушил мне их».

Сняв очки, Самгин крепко закрыл глаза. Было жалко потерять женщину. Еще более жалко было себя. Желчно усмехаясь, он спросил:

— Почему суждено мне попадать в такие идиотские положения?

В столовую вошла Анфимьевна, он попросил ее уложить чемодан, передать Варваре телеграмму и снова отдал себя во власть мелких мыслей.

«Это ее назвал Усов бестолковой. Если она служит жандармам, то, наверное, из страха, запуганная каким-нибудь полковником Васильевым. Не из-за денег же? И не из мести людям, которые командуют ею. Я допускаю озлобление против Усовых, Властовых, Поярковых; она — не злая». — Но, ведь, ничего еще не доказано против нее, — напомнил он себе, ударив кулаком по дивану. — Не доказано!

Ночью, в вагоне, следя в сотый раз, как за окном плывут все те же знакомые огни, качаются те же черные деревья, точно подгоняя поезд, он продолжал думать о Никоновой, вспоминая, не было ли таких минут, когда женщина хотела откровенно рассказать о себе, а он не понял, не заметил ее желания? Но он видел пред собою невыразительное лицо, застывшее в «бабьей скуке», как сам же он, неудовлетворенный ее безответностью, назвал однажды ее немое внимание, и вспомнил, что иногда это внимание бывало похоже на равнодушие. Вспомнил также, что когда он сказал ей фразу Инокова: «Человек бьется в словах, как рыба в песке», она улыбнулась и сказала: «Это очень смешно, а — верно». Да, она молчала и слушала гораздо лучше, чем говорила. Она, кажется, единственный человек, после которого не осталось в памяти ни одной значительной фразы, кроме этой «Смешно, а — верно». Точно она думала, что смешное всегда неверно. В конце концов, — она совершенно нормальный, простой человек.

«Она не умела распускать павлиний хвост слов, как это делал Митрофанов».

Тут он вспомнил, что Митрофанов тоже сначала казался ему человеком нормальным, здравомыслящим, но, в сущности, ведь он тоже изменил своему долгу; в другую сторону, а изменил, это так.

— Нет доказательств, что она изменила, — еще раз напомнил он себе. — Есть только подозрения...

Поезд точно под гору катился, оглушительно грохотал, гремел всем своим железом, под полом вагона что-то жалобно скрипело и взвизгивало:

— Рига — иго — так, рига — так...

Потом, испуганно свистнув, поезд ворвался в железную клетку моста и как будто повлек ее за собою, изгибая, ломая косые полосы ферм. Разрушив клетку, отбросив с пути своего одноглазый домик сторожа, он загремел потише, а скрип под вагоном стал слышней.

— Иго — рига — так — так, иго — так...

Самгин задумался о том, что вот уже десять лет он живет, кружась в пыльном вихре на перекрестке двух путей, не имея желания итти ни по одному из них. Не впервые думал он об этом, но в эту ночь, в этот час все было яснее и страшней. Не один он живет такой жизнью, а сотни, тысячи людей, подобных ему, он это чувствовал, знал. Вихрь кружится все более бешено, вовлекая в свой круговорот всех, кто не в силах противостоять ему, отойти в сторону, а Кутузовы, Поярковы, Гогины, Усовы неутомимо и безумно раздувают его. Люди этого типа размножаются с непонятной быстротой и обидно, грубо командуют теми, кто, по какому-то недоразумению, помогает им.

Тут он вспомнил, как Татьяна, девица двадцати лет, кричала в лицо старика-профессора, известного экономиста:

— Вы рассуждаете так, как будто история, мачеха ваша, приказала вам: «Ваня, сделай революцию!». А вы мачехе не верите, революции вам не хочется, и, сделав кислое личико, вы читаете мне из корана Эдуарда Бернштейна, подтверждая его Рихтером и Ле Боном: «Не надо делать революцию!».

Посидев несколько месяцев в тюрьме, Гогина озлобилась и теперь в ее речах всегда звучит нечто личное. Память Самгина услужливо восстановила сцену его столкновения с Татьяной.

Под Москвой, на даче одного либерала была устроена вечеринка с участием модного писателя, дубоватого человека с неподвижным лицом, в пенснэ на деревянном носу. Самгин встречал этого писателя и раньше, знал, что он числится сочувствующим большевизму и находил в нем общее и с дерзким грузчиком сибирской пристани, и с казаком, который сидел у моря, как за столом; с грузчиком его объединяла склонность к словесному, грубому озорству, с казаком — хвастовство своей независимостью. Солидно выпив, писатель собрал человек десять молодежи и, уводя ее на террасу дачи, объявил басом:

— Через десять минут мы вам устроим сюрприз.

— Сур-приз, повторила Татьяна. — Малый, кажется, глуповат.

В саду тихонько шелестел дождь, шептались деревья; было слышно, что на террасе приглушенными голосами распевают что-то грустное. Публика замолчала, ожидая, что будет; Самгин думал, что ничего хорошего не может быть и — не ошибся.

Минут через двадцать писатель возвратился в зал; широкоплечий, угловатый, он двигался, не сгибая ног, точно шел на ходулях, — эта величественная, журавлиная походка придавала в глазах Самгина оттенок ходульности всему, что писатель говорил. Пройдя во главе молодежи в угол, писатель, вкусно и громко чмокнув, поправил пенснэ, нахмурился картинно, жестом хормейстера взмахнул руками:

— Начинаем.

Хор бравурно и довольно стройно запел на какой-то очень знакомый мотив ходившие в списках стихи старого народника, один из таких списков лежал у Самгина в коллекции рукописей, запрещенных цензурой. Особенно старался тенористый, маленький, но крепкий человек в синей фуфайке матроса и с курчавой бородкой на веселом, очень милом лице. Его тонкий голосок, почти фальцет, был неистощим, пел он на терцию выше хора и так комически жалобно произносил радикальные слова, что и публика и даже некоторые из хористов начали смеяться. Но Самгин недоумевал: в чем тут «сурприз» и фокус? Он понял это, когда писатель, распластав руки, точно крылья, остановил хор и глубоким басом прочитал, как дьяконы читают «Апостол»:

Долой бесправие! Да здравствует свобода!
И учредительный да здравствует собор!

Немедленно хор повторил эти две строчки, но так, что получился карикатурный рисунок словесной и звуковой путаницы. Все певцы пели нарочито фальшиво и все гримасничали, боязливо оглядывая друг друга, изображая испуг, недоверие, нерешительность; один даже повернулся спиною к публике и вопросительно повторял в угол:

Долой? Долой?

Тенор, согнув ноги, присел и плачевно выводил:

Дол-лой — долой — долой...
Да здравствует свобода! —

мрачно, угрожающе пропел писатель, и вслед за ним, каждый из певцов, снова фальшивя, разноголосо повторил эти слова.

Получился хаотический пучок звуков, которые, однако, все же слились в негромкий разочарованный и жалобный вой. Так же растрепанно и разочарованно были пропеты слова:

Учредительный собор.

Все это было закончено оглушительным хохотом певцов, смеялась и часть публики, но Самгин заметил, что люди солидные сконфужены, недоумевают. Особенно громко и самодовольно звучал басовитый, рубленый смех писателя:

— Хо. Хо. Хо.

Он стоял, раздвинув ноги, вскинув голову так, что кадык его высунулся, точно топор. Видя пред собою его карикатурно мрачную фигуру,

поддаваясь внезапному взрыву возмущения и боясь, что кто-нибудь опередит его, Самгин вскочил, крикнул:

— Господа!

Писатель, тоном актера из пьесы «На дне», подхватил:

Если к правде святой
Мир дорогу найти не сумеет...
— Хо. Хо!

— Прошу внимания,—строго крикнул Самгин, схватив обеими руками спинку стула и поставив его пред собою, обратился к писателю.—Сейчас вы пропе. и в тоне шутовской панихиды неловкие, быть может, но неоспоримо искренние стихи старого революционера, почтенного литератора, который заплатил десятью годами ссылки...

— Вот именно! — воскликнул кто-то, и публика примолкла, а Самгин, раздувая огонь своего возмущения, приподняв стул, ударил им о пол, продолжая со всей силою, на какую был способен:

— Но, издеваясь над стихами, не издевались ли вы и над идеями представительного правления, над идеями, ради реализации которых деды и отцы ваши боролись, умирали в тюрьмах, в ссылке, на каторге?

— Это что же? Еще одна цензура? — заносчиво, но как будто и смущенно, спросил писатель, сделав гримасу, вовсе не нужную для того, чтоб поправить пенснэ.

— Это — вопрос, — ответил Самгин. — Вопрос, который, я уверен, возник у многих здесь.

— Не у меня, — крикнула Татьяна, но двое или трое солидных людей зашикали на нее, а один из них обиженно сказал:

— Да, это — чересчур! Учредительное собрание осмеивать, это...

— Мне идея не с..ешна, — пробормотал писатель. — Стихи смешные.

— Да? — ир.нически спросил Самгин. — Я рад слышать это. Мне это показалось грубой шуткой блудных детей, шуткой, если хотите, символической. Очень печальная шутка...

Тут и вмешалась Татьяна.

— Вы, Самгин, уверены, что вам хочется и енно конституции, а не севрюжины с хреном? — спросила она и с этого момента начала сопровождать каждую его фразу насмешливыми и ядовиты и замечаниями, вызывая одобрительный смех, веселые возгласы молодежи. Теперь он не помнил ее возражений, да и тогда не улавливал их. Но в память его крепко вросла ее напряженная фигура, стройное тело, как бы готовое к физической борьбе с ним, покрасневшее лицо и враждебно горящие глаза; слушая его, она иронически щурилась, а, говоря, открывала глаза широко, и ее взгляд дополнял силу обжигающих слов. Раздражаемый ею, он, должно быть, отвечал невпопад, он видел это по улыбкам молодежи и по тому, что кто-то из солидных людей стал бестактно подсказывать ему ответы, точно добросердечный учитель ученику на экзамене. В конце концов, Гогина его запутала в словах, молодежь рукоплескала ей, а он замолчал, спросив:

— Смотрите, не превращаете ли вы марксизм в анархизм?

— Ой, старо! — вскричала она и, поддразнивая, осведомилась:— Может быть, о Бланки вспомните? Меньшевики этим тоже козыряют.

В таких воспоминаниях он провел всю ночь, не уснув ни минуты, и вышел на вокзал в Петербурге полубольной от усталости и уже почти равнодушный к себе.

В гостинице, где он всегда останавливался, конторщик подал ему письмо, извиняясь, что забыл сделать это в день отъезда его.

— Как будто чувствовал, что вы сегодня вернетесь, — прибавил он, любезно улыбаясь.

Самгин взглянул на почерк, и рука его, странно отяжелев, сунула конверт в карман пальто. По лестнице он шел медленно, потому что сдерживал желание вбежать по ней, а, придя в номер, тотчас выслал слугу, запер дверь и, не раздеваясь, только сорвав с головы шляпу, вскрыл конверт.

«Прощай, конечно, мы никогда больше не увидимся. Я не такая подлая, как тебе расскажут, я очень несчастная. Думаю, что и ты тоже» — какие-то слова густо зачеркнуты — «такой же. Если только можешь, брось все это. Нельзя всю жизнь прятаться, видишь. Брось, откажись, я говорю потому, что люблю, жалею тебя».

Письмо было написано так небрежно, что кривые строки, местами, сливались одна с другой, точно их писали в темноте.

— Что это значит? — спросил Самгин себя, автоматически, но быстро разрывая письмо на мелкие клочья. — От чего отказаться? Неужели она думает, что я...

Он растирал в кулаке кусочки бумаги, затем сунул их в карман брюк, взял конверт, посмотрел на штемпель: Ярославль.

— Она с ума сошла, если она думает, что я... одной профессии с нею.

Тщательно разорвав конверт на узкие полоски, он трижды перервал их поперек и тоже сунул в карман.

— С ума сошла!

Он чувствовал себя оглушенным и видел пред собой незначительное лицо женщины, вот оно чуть-чуть изменяется неохотной, натянутой улыбкой, затем — улыбка шире, живее, глаза смотрят задумчиво и нежно. Никогда он не видел это лицо злым. Бездумно посидев некоторое время, он пошел в уборную, выгрузил из кармана клочья бумаги, в раковину выворотил карман, спустил воду. Несколько кусочков бумаги осталось. Подождав, пока бак наполнится водой, он спустил воду еще раз; теперь все бумажки исчезли. Самгин возвратился в номер, думая, что сейчас же надо ехать покупать цинковый гроб Варавке и затем — на вокзал в Старую Руссу. Теперь, разделавшись с письмом, он чувствовал себя несколько более в порядке. Что-то кончено. А, все-таки, настроение было тревожное и как будто знакомое уже; когда-то он испытывал такое же. И тревожило желание вспомнить: когда это было, от чего?

Он вспомнил это тотчас же, выйдя на улицу и увидав отряд конных жандармов, скакавших куда-то на тяжелых лошадях: вспомнил, что подозрение или уверенность Никоновой не обидело его, так же, как не обидело предложение полковника Васильева. Именно тогда он чувствовал себя так же странно, как чувствует сейчас, в состоянии, похожем на испуг пред собою.

— В состоянии удивления, близком испугу, — попытался он более точно формулировать, глядя вслед жандармам.

По улице с неприятной суетливостью, не свойственной солиднейшему городу, сновали, сталкиваясь, люди, ощупывали друг друга, точно муравьи усиками, разбегались. Точно каждый из них потерял что-то, ищет или заплутался в городе, спрашивает: куда итти? В этой суете Самгину почудилось нечто притворное.

Когда он, купив гроб, платил деньги розовощекому, бритому купцу, который был более похож на чиновника, успешно проходящего службу и довольного собою, — в магазин, задыхаясь, вбежал юноша с черной повязкой на щеке и, вз ахнув соломенной шляпой, объявил:

— Министра Плеве бо.бой взорвали!

— Третий, — сказал гробовщик, быстро крестясь. — Где?

— На улице, около Варшавского вокзала.

Подавая Самгину сдачу и глядя на него с явным упреком, торговец шумно вздохнул:

— На улице, вот как-с!

Самгин молча приподнял шляпу и вышел из лавки, думая:

«Мне следовало сказать что-нибудь гробовщику; молчание мое, наверное, показалось ему подозрительным. Да, вот и Плеве убили...»

Он взял извозчика и, сидя в экипаже, посматривая на людей сквозь стекла очков, почувствовал себя разреженным, подобно решету; его встряхивало; все, что он видел и слышал, просеивалось сквозь, но сетка решета не задерживала ничего. В буфете вокзала, глядя в стакан, в рыжую жижицу кофе и отгоняя мух, он услыхал:

— На войне тысячи убивают, а жить от этого не легче.

Говорила чья-то круглая, мягкая спина в измятой чесуче, чесуча на спине странно шевелилась, точно под нею бегали мыши, в спину неловко вставлена лысоватая голова с толстыми ушами синеватого цвета. Самгин подумал, что большинство людей и физически тоже безобразно. А простых людей как будто и вовсе не существует. Некоторые притворяются простыми, но в сущности они подобны алгебраическим задачам с тремя, — со многими, — неизвестными.

По столу ходили и прыгали мухи, ощупывая хоботками пылинки сахара, а может быть, соли.

— «Мысли, как черные мухи»,— вспо нил Самгин строчку стихов и подумал, что люди типа Кутузова и вообще — революционеры понятнее так называемых простых людей; от Поярковых, Усовых и прочих знаешь,

давали залу сходство с мясной лавкой; это подсказал Самгину архитектор Дианин; сидя рядом с ростовщицей Трусовой и аккуратно завертывая в блин розовый кусок семги, он сокрушенно говорил:

— Аппетит у Варавки был велик, а вкуса не было.

— Ты не ворчи, — посоветовала Трусова. — Ты — ешь больше, даром кормят, — прибавила она, поворачивая нагло выпученные и всех презирающие глаза к столу крупнейших сил города: среди них ослепительно сиял генерал Обухов, в орденах от подбородка до живота, такой усатый и картинно-героический, как будто он был создан нарочно для того, чтоб им восхищались дети. Сидел там вице-губернатор, уездный предводитель дворянства и еще человек шесть в мундирах, в орденах. Там же, между городским головой Радеевым, с золотой медалью на красной ленте, и протопопом с крестом на груди, неподвижно, точно каменная, сидела мать. Этот стол был отделен от всех других в зале не только измеримым пространством, но и сознанием сидевших за ним неизмеримости своего значения. За другими столами помещалось с полсотни второстепенных людей; туго застегнутые в сюртуки и шелковые черные платья, они усердно кушали и тихонько урчали.

Встал бывший прокурор Китаев, длинный, чернобородый, с лысиной, протертой в густых волосах, постучал ножом по горлышку бутылки и заговорил осуждающим, холодным голосом:

— В эти дни, когда на востоке судьба против нас...

— А не лазили бы на востоки-то, — пробормотал подрядчик Меркулов, и чей-то угрюмый голос тотчас поддержал его:

— Верно! Дрались бы с кем ближе...

Лесопромышленник Мазин, поправив пальцем вставные зубы, вздохнул:

— От немцев поворотиться некуда, а тут...

— Договор-то с ними кабальный...

— Вообще живем в кабале у чиновников, верно в газетах пишут, — довольно громко сказал банщик Домогайлов и начал рассказывать о том, как его оштрафовали: — В простонародной грязно, будто бы! Позвольте, как же может быть грязно, ежели там шесть дней в неделю с утра до вечера мылом моются?

Прокурор кончил речь, духовенство запело «Вечную память», все встали; Меркулов подпевал без слов, не открывая рта, а Домогайлов, возведя круглые глаза в лепной потолок, жалобно тянул:

— Па-а-а...

Но и пение ненадолго прекратило ворчливый ропот людей, давно знакомых Самгину, людей, которых он считал глуповатыми и чуждыми вопросов политики. Странно было слышать и не верилось, что эти анекдотические люди, погруженные в свои мелкие интересы, вдруг расширили их и вот уже говорят о договоре с Германией, о кабале бюрократов, пожалуй, более резко, чем газеты, потому что говорят просто.

Встал Славороссов, держась за крест на груди, откинул космы свои за плечи и величественно поднял звериную голову:

— Иисусом, сыном Сираховым, премудро сказано: «Буй в смехе возносит глас свой; муж разумный едва тихо осклабится»...

— Замолол, краснобай, — сказала Фиона Трусова и, отхлебнув вина, поморщилась: — Винцо-то для бедных родственничков...

Дослушав речь протопопа, Вера Петровна поднялась и пошла к двери, большие люди сопровождали ее, люди поменьше, вставая, кланялись ей, точно игуменье; не отвечая на поклоны, она шагала величественно, за нею, по паркету, влачились траурные плерезы, точно сгущенная тень ее.

«Все еще горда. А чем гордится?» — подумал Клим.

— Вот и кончено все, — сказала она, сидя в карете. — Вышло вполне прилично. Поминки — азиатский обычай. И — боже мой! — как много едят у нас!

Когда приехали домой, она объявила:

— Я должна отдохнуть.

Самгин, облегченно вздохнув, прошел в свою комнату, там стоял густой запах нафталина. Он открыл окно в сад; на траве под кленом сидел густобровый, вихрастый Аркадий Спивак; прилаживая к птичьей клетке сломанную дверцу, спрашивал свою миловидную няньку:

— А почему, если покойника везут, нельзя прятать руки в карманы? Он помер от того, что выпали зубы?

Клим закрыл окно, распахнул другое, во двор, и почувствовал, что если он ляжет, то крепко уснет. Он не ошибся.

Затем наступили очень тяжелые дни. Мать как будто решила договорить все не сказанное ею за пятьдесят лет жизни и часами говорила, оскорбленно надувая лиловые щеки. Клим заметил, что она почти всегда садится так, чтоб видеть свое отражение в зеркале, и вообще ведет себя так, как будто потеряла уверенность в реальности своей.

— Да, Клим, — говорила она. — Я не могу жить в стране, где все помешались на политике и никто не хочет честно работать.

Щеки ее опадали, оттягивая нижние веки, обнажая холодные белки опустошенных глаз.

— Какие-то японцы, которые были известны только как жонглеры, и — вдруг! Ужасно! Ты слышал о скандальной жизни Алины? — спросила она и тотчас же поразила Клима афоризмом, который он выслушал, опустив глаза, чтоб скрыть улыбку: — Пред женщиной — два пути: или героическое материнство, или приятное свинство, — Тимофей был прав.

Самгин знал, что она не кормила своим молоком Дмитрия, а его кормила только пять недель. Почти все свои мысли она или начинала, или заканчивала тремя словами: «Тимофей был прав», как бы напоминая себе, что Варавка — был.

Траурное платье еще более старило ее и, должно быть, понимая это, она нервозно одергивала его, ощипывалась, ходила парадным шагом,

натужно выпрямляя стан, выгибая грудь, потерявшую форму. Особенно часто она доказывала, что все люди — деспоты.

— Это вполне естественно в обществе, построенном на деспотических началах, — нехотя и полусерьезно заметила Спивак.

Мать сморщила лицо так, что кожа напудренных щек стала шероховатой, точно замша.

— О, бог мой! Вы всегда об этом! — сердито воскликнула она, грозя Спивак чайной ложкой. — Ваши идеи ужасны, Лиза! Я всю жизнь прожила среди революционеров, это были тоже люди заблуждавшиеся, но никто из них не рассуждал так, как вы и ваши друзья. Разумеется, необходимо ограничить власть царя, но отрицать собственность, это — безумие! И, право, я благодарю бога за то, что он, не мешая вам говорить, не позволяет ничего делать. Хотя я уверена, что забастовку, весною, устроила ваша компания, — да, да! Вы, Лиза, хороший человек, но не по-божьему, а по книжкам. Ты знаешь, Клим, отец Нифонт, мой духовник, назвал ее монашествующей атеисткой? Он отлично играет в винт. Ты — играешь?

— Нет, не люблю.

— Да, ты человек без азарта, — сказала мать уверенно и одобрительно и начала рассказывать о губернаторе.

— Он очень милый старик, даже либерал, но — глуп, — говорила она, подтягивая гримасами веки, обнажавшие пустоту глаз. — Он говорит: мы не торопимся, потому что хотим сделать все как можно лучше; мы терпеливо ждем, когда подрастут люди, которым можно дать голос в делах управления государством. Но ведь я у него не конституции прошу, а покровительства императорского музыкального общества для моей школы.

С Елизаветой Спивак она обращалась, как с человеком, который не очень приятен и надоел, но — необходим, требовала ее присутствия при деловых разговорах о ликвидации бесчисленных предприятий Варавки и, выслушивая ее советы, благосклонно соглашалась:

— Да, это и моя мысль.

Дважды в неделю к ней съезжались люди местного «света», жена фабриканта бочек и возлюбленная губернатора m-me Эвелина Трешер, маленькая, седоволосая и веселая красавица; жена управляющего казенной палатой Пелымова, благодушная, басовитая старуха, с темной чертою на верхней. губе — она брила усы; супруга предводителя дворянства, выс кая, тощая, с аскетическим лицом монахини; приезжали и еще не менее важные дамы. Являлся чиновник особых поручений при губернаторе Кианский, молодой человек в носках одного цвета с галстуком, фиолетовый протопоп Славороссов; благообразный, толстенький тюремный инспектор Топорков, человек с голым черепом, похожим на огромную, уродливую жемчужину, «барок», с невидимыми глазами на жирненьком лице и с таким же, почти невидимым, носом, расплывшимся между розовых щечек, пышных, как у здорового ребенка. Приходил огромный, похожий на циркового борца фабрикант патоки и крахмала Окунев, еще какие-то солидные люди, регент архиерейского хора Корвин и вертелся волчком

среди этих людей кругленький Дронов в кургузом сюртучке. Играя желтенькой записной книжкой и карандашом, он садился в уголок, и пронзительные глазки его, щупая заседающих людей, как бы раздевали их. С Климом он встретился холодно и затем явно избегал встреч с ним.

Заседали у Веры Петровны, обсуждая очень трудные вопросы о борьбе с нищетой и пагубной безнравственностью нищих. Самгин, с недоумением, не совсем лестным для этих людей и для матери, убеждался, что она в обществе «Лишнее — ближнему» признана неоспоримо авторитетной в практических вопросах. Едва только добродушная Пелымова, всегда торопясь куда-то, давала слишком широкую свободу чувству заботы о ближних, Вера Петровна говорила в нос, охлаждающим тоном:

— Не будем спешить, Анна Антоновна. Бедность исчезнет только тогда, когда бедные научатся разумно тратить.

— Совершенно верны, — с радостью воскликнул Топорков. — Кажется, это Герье сказал: «Наилучше удобряет землю мелкий дождь, а не бурные ливни».

Он почти все слова на «о» заканчивал звуком «ы» и был уверен, что бедняки жили бы не плохо, если б занялись разведением кроликов.

— Половина населения Франции разводит кроликов и, вот, — французы снабжают нас деньгами.

Самгин был слишком поглощен собою для того, чтоб обращать внимание на комизм этих заседаний, но все-таки иногда ему думалось, что люди говорят глупости из желания подшутить друг над другом.

— «В здоровом теле — здоровый дух», это — утверждение языческое, а потому — ложное, — сказал протоиерей Славороссов. — Дух истинного христианина всегда болеет гладом любви ко Христу и страхом пред ним.

Все это приняло в глазах Самгина определенно трагикомический характер, когда он убедился, что верхний этаж дома, где жил овдовевший доктор Любомудров, — гнездо людей другого типа и, очевидно, явочная квартира местных большевиков. Он заметил, что по вторникам и пятницам на вечерние приемы доктора аккуратно является неистребимый статистик Смолин и какие-то очень разнообразные люди, совершенно не похожие на больных. Раза два мелькнул на дворе Дунаев, с его незабываемой улыбочкой в курчавой бороде, которая стала еще более густой и точно вырезанной из дерева. Ходил Дунаев в сапогах с голенищами до колен, в шведской, кожаной куртке и кожаной фуражке, вся эта кожа, густо смазанная машинным маслом, тускло поблескивала.

Две комнаты своей квартиры доктор сдавал: одну — сотруднику «Нашего края» Корневу, сухощавому человеку с рыжеватой бородкой, детскими глазами и походкой болотной птицы, другую — Флерову, человеку лет сорока, в пенснэ на остром носу, с лицом, наскоро слепленным из мелких черточек и тоже сомнительно украшенным редкой, темной бородкой. Можно было ожидать, что человек этот говорит высоким тенором, а он говорил мягким баском, медленно и немножко заикаясь. Он читал какие-то

лекции в музыкальной школе, печатал в «Нашем крае» статейки о новостях науки и работал над книгой «Социальные причины психических болезней».

— П'очти все формы психических з-заболеваний объясняются насилием над волей людей, — объяснял он Самгину. — Су-ществующий строй создает людей гипертрофированной или атрофированной воли. Только социализм может установить свободное и нормальное выявление волевой энергии.

Доктор Любомудров, слушая его, посмеивался, стучал пальцами по лысине своей и ласково предупреждал:

— Не наври чего-нибудь, Никола.

Доктор высох, выпрямился и как будто утратил свой ленивенький скептицизм человека, утомленного долголетним зрелищем людских страданий. Посматривая на Клима прищуренными глазами, он бесцеремонно ворчал:

— Н-да, поговорка «ворон ворону глаз не выклюет» оказалась не верной в случае Варавки. — Радеев-то перепрыгнул через него в городские головы. Устроил из интеллигенции трамплин себе и — перескочил. Жуликоватый старикан, чувствует запах завтрашнего дня. Вы что, не большевик случайно?

— Почему — случайно? — уклонился Клим от прямого ответа, но доктора, видимо, и не интересовал ответ: барабаня пальцами в ожогах иода по черепу за ухом, он ворчал:

— Крепкие ребята. Тут приезжал один эдакий бородач... напомнил мне Желябова характером.

В том, как доктор выколачивал из черепа глуховатые слова и во всей его неряшливой сутулой фигуре было нечто раздражавшее Самгина. И было нелепо слышать, что этот измятый жизнью старик сочувствует большевикам.

— Конечно, не плохо, что Плеве ухлопали, — бормотал он. — А все-таки это значит изводить бактерий, как блох, по одной штучке. Говорят, профессура в политику тянется, а? Покойник Сеченов очень верно сказал о Вирхове: хороший ученый — плохой политик. Вирхов это оправдал: дрянь-политику делал.

К Елизавете Спивак доктор относился, точно к дочери, говорил ей — ты, она заведывала его хозяйством. Самгин догадывался, что она секретарствует в местном комитете и вообще играет большую роль. Узнал, что Саша, нянька ее сына, племянница Дунаева, что Дунаев служит машинистом на бочарной фабрике Трешера, а его мрачный товарищ Вараксин — весовщиком на товарной станции.

— Вышли в люди, — иронически заметил он, но Спивак не услышала иронии.

— Очень умные оба, — сказала она и кратко сообщила, что работа в городе идет довольно успешно, есть своя маленькая типография, но, разумеется, нехватает литературы, мало денег.

— После смерти Варавки будет еще меньше.

— Он давал деньги? — удивленно и не веря спросил Самгин.

— Да. Не очень много.

— И знал, на что дает?

— Конечно, знал.

— Странно, не правда ли? — спросил Самгин.

Спивак не ответила. Она почти не изменилась внешне, только сильно похудела, но — ни одной морщины на ее круглом лице и все тот же спокойный взгляд голубоватых глаз. Однако Самгин заметил, что она стала надменнее с ним. Он объяснил это тем, что ей, вероятно, сообщили о Никоновой и о нем, в связи с этой историей. О Никоновой он уже думал холодно и хотя с горечью, но уже почти как о прислуге, которая, обладая хорошими качествами, должна бы служить ему долго и честно, а, не оправдав уверенности в ней, запуталась в темном деле, да еще и его оскорбила подозрением, что он — тоже темный человек. Ему очень хотелось поговорить со Спивак об этом печальном случае, но он все не решался и ему мешал сын ее.

Этот человек относился к нему придирчиво, требовательно и с явным недоверием. Чернобровый, с глазами, как вишни, с непокорными гребенке вихрами, тоненький и гибкий, он неприятно напоминал равнодушному к детям Самгину Бориса Варавку. Заглядывая под очки, он спрашивал крепенькими голоском:

— А вы свистеть в два пальца умеити? А клетки делать? А медведев и кошков рисовать умеити? А что же вы умеити?

Самгин ничего не умел, и это не нравилось Аркадию. Поджимая яркие губы, помолчав несколько секунд, он говорил, упрекая:

— Флеров — все умеет. И дядя Гриша Дунаев. И доктор тоже. Доктор только не свистит, у него фальшивые зубы. Флеров даже за Уральским херебтом жил. Вы умеити показать пальцем на карте Уральский херебет?

Далее оказывалось, что Флеров ловил в бесконечной реке за Уральским хребтом невероятных рыб.

— Вот каких!

Размахнув руки во всю их длину, Аркадий взмахивал ими над своей головой.

— Кубических рыб не бывает, — заметил Самгин.

Мальчик удивленно взглянул на него и обиделся:

— Как же не бывает, когда есть? Даже есть круглые, как шар и как маленькие лошади. Это люди все одинаковые, а рыбы разные. Как же вы говорите — не бывает? У меня — картинки, и на них все, что есть.

Самгину было трудно с ним, но он хотел смягчить отношение матери к себе и думал, что достигнет этого, играя с сыном, а мальчик видел в нем человека, которому нужно рассказать обо всем, что есть на свете.

Спивак относилась к сыну с какой-то несколько смешной осторожностью и точно опасаясь надоесть ему. Прислушиваясь к болтовне Аркадия, она почти никогда не стесняла его фантазии, лишь изредка спрашивая:

— А может ли это быть?

— Почему — не может?

— Ты подумай.

— Хорошо, подумаю, — соглашался Аркадий.

На прямые его вопросы она отвечала уклончиво, шуточками, а чаще вопросами же, ловко и незаметно отводя мальчика в сторону от того, что ему еще рано знать. Ласкала редко и тоже как-то бережно, пожалуй, скупо.

«Это — предусмотрительно, жизнь — неласкова», — подумал Самгин и вспомнил, как часто, в детстве, мать, лаская его механически, по привычке, охлаждала его детскую нежность.

Был уже август, а с мутноватого неба все еще изливался металлический горячий блеск солнца; он вызывал в городе такую тишину, что было слышно, как за садами, в поле, властный голос зычно командовал:

— Смир-рно!

И казалось, что именно от этих окриков так уныло неподвижна пыльная листва деревьев. Ночи были тоже знойные и мрачно тихи. По ночам Самгин ходил гулять, выбирая поздний час и наиболее спокойные купеческие улицы, чтоб не встретить знакомых. Было нечто и горькое и злорадно охмеляющее в этих ночных одиноких прогулках, по узким панелям, под окнами крепеньких домов, где жили простые люди, люди здравого смысла, о которых так успокоительно и красиво рассказывал истории Козлов. Он соглашался с доктором, когда Любомудров говорил:

— М-да, заметно, что и мещанство теряет веру в дальнейшую возможность жить так, как привыкло. Живет все так же, но это — по инерции. Все чувствуют, что привычный порядок требует оправданий, объяснений, а — где их взять, оправданий-то? Оправданий — нет.

Самгин, слушая его, думал: действительно, преступна власть, вызывающая недовольство того слоя людей, который во всех других странах служит прочной опорой государства. Но он не любил думать о политике в терминах обычных, всеми принятых, находя, что термины эти лишают его мысли своеобразия, уродуют их. Ему больше нравилось, когда тот же доктор, усмехаясь, бормотал:

— Пожалуй, и варавкоподобные тоже опоздали строить вавилонские башни и египетские пирамиды, рабов — нехватает, а рабочие — не хотят бессмыслицы.

В конце концов Самгин все чаще приближался к выводу, еще недавно органически враждебному для него: жизнь так искажена, что наиболее просты и понятны в ней люди, решившие изменить все ее основы, разрушить все скрепы. Он помнил, что впервые эта мысль явилась у него в Петербурге, вслед за письмом Никоновой, и был уверен: явилась не потому, что он испугался чего-то. Ему не хотелось думать о том, чего именно испугался он: себя или Никоновой? Но уже несколько раз у него мелькала мысль, что если эту женщину поймают, она может, со страха или со зла, выдать свое нелепое подозрение за факт и оклеветать его.

Во время одной из своих прогулок он столкнулся с Иноковым; Иноков вышел со двора какого-то дома и, захлопывая калитку, крикнул во двор.

— Ну, прощай, дурак!

И налетел на Самгина.

— Извините... Ба, это вы!

— С кем это вы простились так оригинально?

— Пуаре. Помните, — полицейский, был на обыске у вас? Его сделали приставом, но он ушел в отставку, — революции боится, уезжает во Францию. Эдакое чудовище...

— Вы очень громко о революции, — предупредил Самгин, но на Инокова это не подействовало.

— Ну, — сказал он, не понижая голоса, — о ней все собаки лают, курицы кудакают, даже свиньи хрюкать начали. Скучно, батя! Делать нечего. В карты играть — надоело, давайте сделаем революцию, что ли? Я эту публику понимаю. Идут в революцию, как неверующие церковь посещают или участвуют в крестных ходах. Вы знаете, — рассказ напечатал я, — не читали?

— Нет, — сказал Самгин. Рассказ он читал, но не одобрил и потому не хотел говорить о нем. Меньше всего Иноков был похож на писателя; в широком и как будто чужом пальто, в белой фуражке, с бородою, которая неузнаваемо изменила грубое его лицо, он был похож на разбогатевшего мужика. Говорил он шумно, оживленно и, кажется, был нетрезв.

— Да, напечатал. Похваливают. А, по-моему, — ерунда! К тому же цензор или редактор поправили рукопись так, что смысл — исчез, а скука — осталась. А рассказишко-то был написан именно против скуки. Ну, до свидания, мне — сюда! — сказал он, схватив руку Самгина горячей рукой. — Все — бегаю. Места себе ищу, — был в Польше, в Германии, на Балканах, в Турции был, на Кавказе. Неинтересно. На Кавказе, пожалуй, всего интереснее.

— Дикий и неумный человек, — подумал Самгин, глядя, как Иноков, приподняв плечи и сутулясь, точно неся невидимую тяжесть, торопливо шагает по переулку, а навстречу ему двигается тускло горящий фонарь. Он вспомнил рассказ Инокова: написанный грубо, рассказ изобиловал недоговоренностями, зияниями, в нем назойливо звучала какая-то пронзительная раздражающая нота. Назван был рассказ «Обычное», и в нем изображался ряд мелких ненаказуемых преступлений, которые наполняют мещанский день. Тут в памяти Самгина точно спичка вспыхнула, осветив тихий вечер и в конце улицы, в поле, заревые пышные облака; он идел с Иноковым встречу им, и вдруг, точно из облаков, прекрасно выступит золотистый тонконогий конь, на коне — белый всадник. В ту же минуту из ворот бородатый мужик выкатил пустую бочку; золотой конь взметнул головой, взвился на задние ноги, ударил передними по булыжнику, сверкнули искры, — Иноков остановился и нелепо пробормотал:

— Искренность...

Потом вздохнул:

— Эх, красота...

«Революция, наверное, уничтожит субъектов, подобных Инокову», — решил Самгин, вспомнив все это.

Он пробовал поговорить с Елизаветой Спивак, но, послушав его минут пять, она скучно сказала:

— Кажется, вы занимаетесь интеллигентской возней с самим собою? Вот уже... не ко времени.

Он не уклонялся от осторожной помощи ей в ее бесчисленных делах, объясняя себе эту помощь своим стремлением ознакомиться с конспиративной ее работой, понять мотивы революционности этой, всегда спокойной женщины, а она относилась к его услугам, как к чему-то обязательному, не видя некоторого их риска для него и не обнаруживая желания сблизиться с ним.

В наблюдениях за жизнью дома, ожидании обыска, арестов, в скучнейших деловых беседах с матерью Самгин прожил всю осень, и только в декабре мать, наконец, собралась за границу. Ей устроили прощальный обед с хвалебными речами, затем — проводы с цветами и слезами. А она, как бы вообразив, что отъезд за границу делает ее еще значительнее, чем она всегда видела себя, держалась комически напыщенно. Наблюдая ее, Самгин опасался, что люди поймут, как смешна эта старая женщина, искал в себе какого-нибудь доброго чувства к ней и не находил ничего, кроме досады на нее. Особенно смущало его, что Спивак, разумеется, тоже видит мать смешной и жалкой, хотя Спивак смотрела на нее грустными глазами и ухаживала за ней, как за больной или слабоумной.

Только на Варшавском вокзале, когда новенький локомотив, фыркнув паром, повернул красные, ведущие колеса, а вагон вздрогнул, покатился, и подкрашенное лицо матери уродливо расплылось, стерлось, — Самгин, уже надевший шапку, быстро сорвал ее с головы, и где-то внутри его тихо и вопросительно прозвучало печальное слово: «Навсегда?».

Дул ветер, окутывая вокзал холодным дымом, трепал афиши на стене, раскачивал опаловые, жужжащие пузыри электрических фонарей на путях. Над нелюбимым городом колебалось мутно-желтое зарево, в сыром воздухе плавал угрюмый шум, его разрывали тревожные свистки маневрирующих паровозов. Спускаясь по скользким ступеням, Самгин поскользнулся, схватил чье-то плечо; резким движением стряхнув его руку, человек круто обернулся и вполголоса, с удивлением сказал:

— О, Самгин! А я вообразил... Провожали или встречали и не встретили?

Из-под полей шляпы на Самгина смотрели иронические глаза Туробоева, — было ясно, что он чем-то обрадован.

«Едва ли встречей со мной», — сообразил Самгин.

Подошли к извозчикам.

— Вам — куда? — спросил Туробоев, поеживаясь, он был в легком пальто.

Поехали вместе. Туробоев, усмехаясь остренькой улыбочкой, оживленно спрашивал, как живется? Самгин осторожно отвечал.

— Холодно, — сказал Туробоев, вздрагивая. — Не выпьем ли водки? Или чаю?

Клим согласился. Интересно было посмотреть на Туробоева в роли газетного работника.

— Не ожидали? — спросил Туробоев, сидя в ресторане. — Это — весьма любопытная профессия.

Самгин пил чай, незаметно рассматривая знакомое, но очень потемневшее лицо, с черной эспаньолкой и небольшими усами. В этом лице явилось что-то аскетическое и еврейское, но глаза не изменились: в них, как раньше, светился неприятно острый огонек.

«Бывший человек», — вспомнил Самгин ходовые слова; первый раз приятно и как нельзя более уместно было повторить их. Туробоев пил водку, поднося рюмку ко рту быстрым жестом, всхрапывал, кашлял и плевал, как мастеровой.

— Вообще, — жить становится любопытно, — говорил он, вынув дешевенькие стальные часы, глядя на циферблат одним глазом. — Вот, — не хотите ли познакомиться с одним интереснейшим явлением? Вы, конечно, слышали: здесь один попик организует рабочих. Совершенно легально, с благословения властей.

— Да, я знаю, — сказал Самгин. — Но что это значит?

Туробоев пожал плечами, нахмурился, глаза его провалились в глазницы.

— Не понимаю. Был у немцев такой пастор... Штекер, кажется, но — это не похоже. А, впрочем, я плохо осведомлен, может и похоже. Некоторые... знатоки дела говорят: повторение опыта Зубатова, но в размерах более грандиозных. Тоже как будто не верно. Во всяком случае — замечательно! Я, как раз, еду на проповедь попа, — не хотите ли?

Самгин согласился, надеясь увидеть проповедника, подобного Диомидову, и сотню угнетенных жизнью людей, которые слушают его от скуки, оттого, что им некуда девать себя.

Ехали долго, по темным улицам, где ветер был сильнее и мешал говорить, врываясь в рот. Черные трубы фабрик упирались в небо, оно имело вид застывшей тучи грязно-рыжего дыма, а дым этот рождался за дверями и окнами трактиров, наполненных желтым огнем. В холодной темноте двигались человекоподобные фигуры, покрикивали пьяные, визгливо пела женщина и чем дальше, тем более мрачными казались улицы.

— Стой! Подождешь, — сказал Туробоев, когда поровнялись с высоким забором, и спрыгнул в снег раньше, чем остановилась лошадь.

Красный огонек угольной лампочки освещал полотнище ворот, висевшее на одной петле, человека в тулупе, с медной пластинкой на лбу, и еще одного, ниже ростом, тоже в тулупе и похожего на копну сена.

— Кто будете? — спросил один, другой ответил бабьим голосом:

— Газетчики.

И — сплюнул.

Самгин, спотыкаясь о какие-то доски, шел, наклоня голову, по пятам Туробоева, его толкали какие-то люди, вполголоса уговаривая друг друга:

— Тише!

— Н-нет, братья, — разрезал воздух высокий, несколько истерический крик. Самгин ткнулся в спину Туробоева и, приподнявшись на пальцах ног, взглянул через его плечо, вперед, откуда кричал высокий голос.

— Нет, не то мы скажем! Мы скажем: нищета...

Густой голос, сердито и как в рупор, крикнул через голову Самгина:

— Мы, батя, не нищие, — ограбленные, во-от!

— Нищета родит зависть, — мы скажем, — зависть — вражду, но вражда — не закон, вражда — не правда...

— Слышишь? — вполголоса спросили за спиной Самгина.

— Слышу.

— Ну, то-то. Я тебе говорил...

То — звучнее, то — глуше волнообразно колебался тихий говорок, шопот, сдерживаемый кашель, заглушая быстрые слова оратора. В синем табачном дыме, пропитанном запахом кожи, масла, дегтя, Самгин видел вытянутые шеи, затылки, лохматые головы, они подскакивали, исчезали, как пузыри на воде. Впереди их люди тесно сидели, почти все наклонясь вперед, как сидят, греясь, пред печкой. Дальше пол был, видимо, приподнят, и за двумя столами, составленными вместе, сидели, лицом к Самгину, люди солидные, прилично одетые, а пред столами бегал небольшой попик, черноволосый, с черненьким лицом, бегал, размахивая, поочереди, то правой, то левой рукой, теребя ворот коричневой рясы, откидывая волосы ладонями, наклоняясь к людям, точно желая прыгнуть на них; они кричали ему:

— Громче, батя!

— Тише-е!

— Батя, а — скольким итти?

— На Новый год бы, а?

— Тише же!

— Он — человек! — выкрикивал поп, взмахивая рукавами рясы.— Он — справедлив! Он поймет правду вашей скорби и скажет людям, которые живут потом, кровью вашей... скажет им свое слово... слово силы,— верьте!

Туробоев упрямо протискивался вперед. Самгин, двигаясь за ним, отметил, что рабочие, поталкивая друг друга, уступают дорогу чужим людям охотно.

— Дальше не пролезем, — весело сказал Туробоев, остановясь за спинами сидевших.

Да, рабочие сидели по трое на двух стульях, сидели на коленях друг друга, образуя настолько слитное целое, что сквозь запотевшие очки Сам-

гин видел на плечах некоторых по две головы. Неотрывно, не мигая, он рассматривал судорожную фигурку в рясе; ряса колыхалась, струилась, как будто намеренно лишая фигуру попа определенной, устойчивой формы. Над его маленькой головой взлетали волосы, казалось, что и на темненьком его лице волосы то вырастают, то сокращаются. Выгибая грудь, он прижимал к ней кулак, выпрямлялся, возводя глаза в сизый дым над его головою, и молчал, точно вслушиваясь в шорох приглушенных голосов, в тяжелые вздохи и кашель. Самгин уже чувствовал, что здесь творится не то, что он надеялся видеть: этот раздерганный поп ничем не напоминал Диомидова, так же как рабочие совершенно не похожи на измятых, подавленных какой-то непобедимой скукой слушателей проповеди бывшего бутафора.

— Замученные работой жены, больные дети, — очень трогательно перечислял поп. — Грязь и теснота жилищ. Отрада — в пьянстве, распутстве.

— Брось, знаем! — оглушительно над ухом Самгина рявнул трубный голос.

Несколько голосов сразу негромко стали уговаривать его:

— Перестань, кочегар...

— Ты — что? Пьяный?

— Помолчи!

— А что он мне болячки бередит?

Самгин осторожно оглянулся. Сзади его стоял широкоплечий, высокий человек с большим, голым черепом и круглым лицом без бороды, без усов. Лицо масляно лоснилось и надуто, как у больного водянкой, маленькие глаза светились где-то посредине его, слишком близко к ноздрям широкого носа, а рот был большой и без губ, как будто прорезан ножом. Показывая белые, плотные зубы, он глухо трубил над головой Самгина:

— Пускай о деле говорит. Жизнь — известна. К чему это — жалости его?

Лицо этого человека показалось Самгину таким жутким, что он не сразу мог отвести глаза от него. Человек был почти на голову выше всех рабочих, стоявших вокруг, плечо к плечу, даже как будто щекою к щеке. Получалась как бы сплошная масса лиц, одинаково сумрачно нахмуренных, и неровная, изломанная линия глаз, одинаково напряженно устремленных на фигуру коричневого попика. Были вкраплены и лица женщин, — одни недоверчиво нахмуренные, другие — умиленные, как в церкви. У одной, стоявшей рядом с Туробоевым, — горбоносое лицо ведьмы, и она все время шевелила губами, точно пережевывая какие-то слишком твердые слова, а когда она смыкала губы, — на лице ее появлялось выражение злой и отчаянной решимости. Это было тоже очень жутко, и Самгин подумал, что на месте попа он так же вертелся бы, чтоб не видеть этих лиц. Он закрыл глаза. Тогда пред ним вспыхнула ослепительно-яркая пещь Омона, и эксцентрик негр, который с изумительной легкостью бегал по сцене, изображая ссору щенка с петухом. Поп все кричал, извиваясь,

точно его месили, как тесто, невидимые руки. Вот из-за стола встали люди, окружили, задергали его и, поталкивая куда-то в угол, сделали невидимым. Это напомнило Самгину царя на Нижегородской выставке и министров, которые окружали его. Холодная, крепко пахучая духота раздражала ноздри, затрудняя дыхание; Самгин чихал, слезились глаза, вокруг него становилось шумно, сидевшие вставали, но, не расходясь, стискивались в группы, ворчливо разговаривая. Туробоев попросил кого-то:

— Ты позвони...

— Обязательно.

— Идемте, — сказал Туробоев.

Долго и с трудом пробивались сквозь толпу; она стала неподвижной. Человек с голым черепом трубил:

— ...Как слепые в овраг. Знать надо!

На улице снова охватил ветер, теперь уже со снегом, мягким, как пух, и влажным. Туробоев, скорчившись, спрятав руки в карманы, спросил:

— Ну, что скажете?

— Не понимаю, — сказал Самгин и, не желая, чтоб Туробоев расспрашивал его, сам спросил: — Вы говорили с рабочими?

— Да. Милейший человек. Черемисов. Если вам захочется побывать тут еще раз — спросите его.

— Я завтра уезжаю. Эсер, эсдек?

— Ни то, ни другое. Поп не любит социалистов. Впрочем, и социалисты как будто держатся в стороне от этой игры.

— Игры? — спросил Клим.

— Вы видели, — вокруг него все люди зрелого возраста и, кажется, больше высокой квалификации, — не ответив на вопрос, говорил Туробоев охотно и раздумчиво, как сам с собою.

Самгин видел пред собою голый череп, круглое лицо с маленькими глазами, оно светилось, как луна сквозь туман: раскалывалось на ряд других лиц, а эти лица снова соединялись в жуткое одно.

— Кажется, я простудился, — сказал он.

Туробоев посоветовал взять горячую ванну и выпить красного вина.

«Он так любезен, точно хочет просить меня о чем-то», — подумал Самгин. В голове у него шумело, поднималась температура. Сквозь этот шум он слышал:

— Вы скажите брату.

— Кому? — удивленно спросил Клим.

— Брату, Дмитрию. Не знали, что он здесь?

— Не знал. Я только сегодня приехал. Где он?

Туробоев назвал гостиницу и сказал, что утром увидит Дмитрия.

Дома Самгин заказал самовар, вина, взял горячую ванну, но это мало помогло ему, а только ослабило. Накинув пальто, он сел пить чай. Болела голова, начинался насморк, и режущая сухость в глазах заста-

вляла закрывать их. Тогда из тьмы являлось голое лицо, масляный череп, и в ушах шумел тяжелый голос:

— Жизнь — известна!

Под эту голову становились десятки, сотни людей, создавалось тысячерукое тело с одной головой.

«Вождь», — соображал Самгин, усмехаясь, и жадно пил теплый чай, разбавленный вином. Прыгал коричневый попик. Тело дробилось на единицы, они принимали знакомые образы проповедника с тремя пальцами, Диомидова, грузчика, деревенского печника и других, озорниковатых, непокорных судьбе. Прошел в памяти Дьякон с толстой книгой в руках и сказал, точно актер, играющий Несчастливцева:

— Цензурована!

«У меня температура, вероятно, около сорока», — соображал Самгин, глядя на фыркающий самовар; горячая медь отражала вместе с его лицом какие-то полосы, пятна, они снова превратились в людей, каждый из которых размножился на десятки и сотни подобных себе, образовалась густейшая масса одинаковых фигур, подскакивали головы, как зерна кофе на горячей сковороде, вспыхивали тысячами искр разноцветные глаза, создавался тихо ноющий шумок.

— Чорт знает, до чего я... один, — вслух сказал Клим. Слова прозвучали издалека, и произнес их чей-то чужой голос, сиплый. Самгин встал, покачиваясь, подошел к постели и свалился на нее, схватил грушу звонка и крепко зажал ее в кулаке, разглядывая, как маленький поп, размахивая рукавами рясы, подпрыгивает, точно петух, который хочет, но не может взлететь на забор. Забор был высок, бесконечно длинен и уходил в темноту, в дым, но в одном месте он переломился, образовал угол, на углу стоял Туробоев, протягивая руку, и кричал:

— Он — поймет!

К постели подошли двое толстых и стали переворачивать Самгина с боку на бок. Через некоторое время один из них, похожий на торговца солеными грибами из Охотного ряда, оказался Дмитрием, а другой — доктором из таких, какие бывают в книгах Жюля Верна, они всегда ошибаются и верить им — нельзя. Самгин закрыл глаза, оба они исчезли.

Когда Самгин очнулся, — за окном, в молочном тумане, таяло серебряное солнце, на столе сиял самовар, высоко и кудряво вздымалась струйка пара, перед самоваром сидел, с газетой в руках, брат. Голова его по-солдатски гладко острижена, красноватые щеки обросли купеческой бородой; на нем крахмаленная рубаха без галстука, синие подтяжки и необыкновенно пестрые брюки.

«Какой... провинциальный», — подумал Клим, но это слово не исчерпывало впечатления, тогда он добавил, кашляя:

— Благополучный.

Дмитрий бросил газету на пол, скользнул к постели.

— Здравствуй. Что ж ты это, брат, а? Здоровеннейший бред у тебя был, очень бурный. Попы, вобла, Глеб Успенский. Придется полежать дня три, четыре.

Он отошел к столу, накапал лекарства в стакан, дал Климу выпить, потом налил себе чаю и, держа стакан в руках, неловко сел на стул у постели.

— А я тут недели две. Привез работу по этнографии Северного края.

— Надзор снят? — спросил Клим.

— Давно.

— Едешь на границу?

— Денег нет, — сказал Дмитрий, ставя стакан зачем-то на пол. Глаза его смотрели виновато, как в Выборге. — Тут такая... история: поселился я в одной семье, — отличные люди! У них дом был в закладе, хотели отобрать, ну, я дал им деньги. Потом дочь хозяина овдовела и... Ты, ведь, тоже, кажется, женат? Как живу? Да... не плохо. Этнография — интереснейшая штука. Плодовый сад, копаюсь немножко. Ну, и общественность... — Почесав мизинцем нос, он спросил тихонько: — Ты — большевик? Нет? Ну, это приятно, честное слово! — И, зажав ладони в коленях, наклонясь к брату, он заговорил более оживленно: — Не люблю эту публику, легковесные люди, бунтари, бланкисты. В Ленине есть что-то Нечаевское, ей-богу! Вот, настаивает на организации третьего съезда — зачем? Что случилось? Тут, очевидно, мотив личного честолюбия. Неприятная фигура.

Поморщившись, он придвинулся ближе и еще понизил голос.

— Угнетающее впечатление оставил у меня крестьянский бунт. Это, уж, большевизм эсеров. Подняли несколько десятков тысяч мужиков, чтоб поставить их на колени. А наши демагоги, боюсь, рабочих на колени поставят. Мы, вот, спорим, а тут какой-то тюремный поп действует. Плохо, брат...

— Что ты думаешь о Туробоеве? — спросил Клим.

— Что же о нем думать? — отозвался Дмитрий и прибавил, вздохнув: — Ему терять нечего. Чаю не выпьешь?

— Пожалуйста.

Наливая чай, Дмитрий говорил:

— Видел я в Художественном «На дне», — там тоже Туробоев, только поглупее. А пьеса — не понравилась мне, ничего в ней нет, одни слова. Фельетон на тему о гуманизме. И — удивительно не ко времени, этот гуманизм, взогретый до анархизма! Вообще — плохая химия.

Самгину было интересно и приятно слушать брата, но шумело в голове, утомлял кашель, и снова поднималась температура. Закрыв глаза, он сообщил:

— Мать уехала за границу.

— Надолго?

— Жить.

Дмитрий задумчиво почесал подбородок, потом сказал:

— Н-да. Вот как... Утомил я тебя? — Скоро час, мне надобно в Академию. Вечером приду, ладно?

— Что за вопрос? Дай мне газету.

Дмитрий ушел. В номере стало вопросительно и ожидающе тихо.

— Устроился и — конфузится, — ответил Самгин этой тишине, впервые находя в себе благожелательное чувство к брату. «Но — как запуган идеями русский интеллигент»,— мысленно усмехнулся он. Думать о брате нечего было, все — ясно! В газете сердито писали о войне, Порт-Артуре, о расстройстве транспорта, на шести столбцах фельетона кто-то восхищался стихами Бальмонта, цитировалось его стихотворение «Человечки»:

Мелкий собственник, законник, лицемерный семьянин.
О, когда б ты, миллионный, вдруг исчезнуть мог.

Самгин швырнул газету прочь, болели глаза, читать было трудно, одолевал кашель. Дмитрий явился поздно вечером, сообщил, что он переехал в ту же гостиницу, спросил о температуре, пробормотал что-то успокоительное и убежал, сказав:

— Тут маленькое собрание по поводу этого Гапона, чорт!..

К вечеру другого дня Самгин чувствовал себя уже довольно сносно, пил чай, сидя в постели, когда пришел брат.

— Порт-Артур сдали, — сказал он сквозь зубы. — Завтра эта новость будет опубликована.

Он прошел к окну, написал что-то пальцем на стекле и стер написанное ладонью, крякнув:

— Туробоев говорит, что царь отнесся к несчастью совершенно равнодушно.

— Откуда он знает? — сердито спросил Клим. — Врет, конечно...

Дмитрий шагнул к столу, отломил корку хлеба, положил ее в рот и забормотал:

— Нет, он знает. Он мне показывал копию секретного рапорта адмирала Чухнина, адмирал сообщает, что Севастополь — очаг политической пропаганды и что намерение разместить там запасных по обывательским квартирам, намерение — несчастное, а может быть и злоумышленное. Когда царю показали рапорт, он произнес только: «Трудно поверить».

Клим промолчал, разглядывая красное от холода лицо брата. Сегодня Дмитрий казался более коренастым и еще более обыденным человеком. Говорил он вяло и как бы не то, о чем думал. Глаза его смотрели рассеянно, и он, видимо, не знал, куда девать руки, совал их в карманы, закидывал за голову, поглаживал бока, наконец, широко развел их, говоря с недоумением:

— Странная фигура этот царь, а? О его равнодушии и судьбе страны, о безволии! так много...

— И — не верно говорят, — сказал Клим. — Не верно, — упрямо повторил он. — Вспомни, как он, на-днях, оборвал черниговских земцев.

— Это — по личному вопросу, так сказать, — заметил Дмитрий.

— Но, если хочешь, я представляю, почему он... имел бы основание быть равнодушным, — продолжал Самгин с неожиданной запальчивостью, — она даже несколько смутила его. — Равнодушным, как человек, которому с детства внушали, что он — существо исключительное, — сказал он, чувствуя себя близко к мысли очень для него ценной. — Понимаешь? Исключительное существо. Согласись, что человеку, воспитанному в убеждении неограниченности его воли, — трудно помириться с требованиями ее ограничения. А он встретился с этим тотчас же, как только вступил на престол...

Дмитрий поднял брови, улыбнулся, от улыбки борода его стала шире, он погладил ее, посмотрел в потолок и пробормотал:

— Ну, да, но, — тут не все верно...

Не обращая внимания на его слова, Самгин догонял свою мысль.

— Он видит себя окруженным бездарностями, трусами, авантюристами, микроцефалами, вроде Витте...

— Однако Витте...

— ...Победоносцева, — вообще — карикатурно жуткими рожами. Видит народ, который кричит ему ура, а затем — разрушает хозяйство страны и губернаторам приходится пороть этот народ. Видит студентов на коленях пред его дворцом, недавно этих студентов сдавали в солдаты; он знает, что из среды студенчества рекрутируется большинство революционеров. Ему известно, что десятки тысяч рабочих ходили кричать ура пред памятником его деда и что в России основана социалистическая рабочая партия и цель этой партии — не только уничтожение самодержавия, — чего хотят и все другие, — а уничтожение классового строя. Все это — не объясняется, а... как-то уравновешивается в душе...

Самгин не отдавал себе отчета — обвиняет он или защищает? Он чувствовал, что речь его очень рискованна и видел: брат смотрит на него слишком пристально. Тогда, помолчав немного, он сказал задумчиво:

— Из этого равновесия противоречивых явлений может возникнуть полное равнодушие... к жизни. И даже презрение к людям.

Тут он понял, что говорил не о царе, а — о себе. Он был уверен, что Дмитрий не мог догадаться об этом, но все-таки почувствовал себя неприятно и замолчал, думая:

«Если б я был здоров, я бы не говорил с ним так».

— Н-да, вот как ты, — неопределенно выговорил Дмитрий, дергая пуговицу пиджака и оглядываясь. — Трудное время, брат! Все заостряется, толкает на крайности. А, с другой стороны, растет промышленность, страна заметно крепнет... европеизируется.

Сказав это невнятно, как человек, у которого болят зубы, Дмитрий спросил:

— Чаю бы выпить, а?

— Закажи.

— Идиотская штука эта война, — вздохнул Дмитрий, нажимая кнопку звонка. — Самая несчастная из всех наших войн...

Самгин не слушал, углубленно рассматривая свою речь. Да, он говорил о себе и как будто стал яснее для себя после этого. Брат мешал, неприютно мотался в комнате, ворчливо недоумевая:

— Странно все. Появились какие-то люди... оригинального умонастроения. Недавно показали мне поэта, — здоровеннейший парень! Ест так много, как будто извечно голоден и не верит, что способен насытиться. Читал стихи про Иуду, прославил предателя героем. А, кажется, не без таланта. Другое стихотворение — интересно.

Дмитрий вскинул стриженную голову и, глядя в потолок, прочитал:

Сатана играет с богом в карты.
Короли и дамы — это мы.
В божьих ручках — простенькие карты,
Козыри же — в лапах князя тьмы.

— Вот как... Интересно! — Дмитрий усмехнулся.

В течение недели он приходил аккуратно, как на службу, дважды в день, — утром и вечером и с каждым днем становился провинциальнее. Его бесконечные недоумения раздражали Самгина, надоело его волосатое, толстое, малоподвижное лицо и нерешительно спрашивающие, серые глаза. Клим почти обрадовался, когда он заявил, что немедленно должен ехать в Минск.

— Маленькое дельце есть, возвращусь дня через три, — объяснил он, усмехаясь и не то гордясь, что есть дельце, не то довольный, тем, что оно маленькое. — Я просил Туробоева заходить к тебе, пока ты здесь.

— Напрасно, — сказал Самгин.

Ему не хотелось ехать домой, нравилось жить одиноко, читая иностранные романы. Успокаивающая скука чтения приятно притупляла остроту пережитых впечатлений, сглаживая их шероховатость. Он успешно старался ни о чем не думать, прислушиваясь, как в нем отстаивается нечто новое. Изредка и обидно вспоминалась Никонова, он тотчас изгонял воспоминание о ней. Написал жене, что задержится по делам неопределенное время, умолчав о том, что был болен. В ясные дни выходил гулять на Невский и, наблюдая, как тасуется праздничная публика, вспоминал стихи толстого поэта:

Сатана играет с богом в карты.

Туробоев пришел вечером в Крещеньев день. Уже по тому, как он вошел, не сняв пальто, не отогнув поднятого воротника, и по тому, как иронически нахмурены были его красивые брови, Самгин почувствовал, что человек этот сейчас скажет что-то необыкновенное и неприятное.

Так и случилось. Туробоев любезно спросил о здоровье, извинился, что не мог притти, и, вытирая платком отсыревшую, остренькую бородку, сказал:

— Сегодня утром по Николаю второму с Петропавловской крепости стреляли картечью.

Самгину показалось, что это сказано с простотой нарочной.

— Вы шутите? — спросил он.

— Факт! — сказал Туробоев, кивнув головой. — Факт! — ненужно повторил он каркающим звуком и, расстегивая пуговицы пальто, усмехнулся: — Интересно: какая была команда? Батарея! По всероссийскому императору — первое!

— Кто же стрелял?

— Пушка. Нет ли у вас вина?

Клим встал, чтоб позвонить. Он не мог бы сказать, что чувствует, но видел он пред собою площадку вагона и на ней маленького офицера, играющего золотым портсигаром.

— Любопытнейший выстрел, — говорил Туробоев. — Вы знаете, что рабочие решили итти в воскресенье к царю?

— Что вы хотите сказать? — спросил Самгин, не сразу. — Сопоставляете этот выстрел с депутацией, — так, что ли?

Он чувствовал, что спрашивает неприязненно и грубо, но иначе не мог.

— Сопоставляю ли? Как сказать?

Вошел слуга. Самгин заказал вино и сел напротив гостя, тот взглянул на него, пощипывая мочку уха.

— Подлецы предприимчивы, — сказал он. — Подлецы талантливы.

Самгин молчал, пытаясь определить, насколько фальшива ирония и горечь слов бывшего барина. Туробоев встал, отнес пальто к вешалке. У него явились резкие жесты и почти не осталось прежней сдержанности движений. Курил он жадно, глубоко заглатывая дым, выпуская его через ноздри.

«Уже богема», — подумал Самгин.

— Вы не допускаете, что стреляли революционеры? — спросил он, когда слуга принес вино и ушел. Туробоев, наполняя стаканы, ответил равнодушно и как бы напоминая самому себе то, о чем говорит.

— Революционеров к пушкам не допускают, даже тех, которые сидят в самой Петропавловской крепости. Тут или какая-то совершенно невероятная случайность, или — гадость, вот что! Вы сказали — депутация, — продолжал он, отхлебнув полстакана вина и вытирая рот платком. — Вы думаете — пойдут пятьдесят человек? Нет, идет пятьдесят тысяч, может быть, больше! Это, сударь мой, будет нечто вроде... крестового похода детей.

Туробоев не казался взволнованным, но вино пил, как воду, выпив стакан, тотчас же наполнил его и тоже отпил половину, а затем, скрестив руки, стал рассказывать.

— Вчера, у одного сочинителя, Савва Морозов сообщал о посещении промышленниками Витте. Говорил, что этот пройдоха, очевидно, затевает какую-то подлую и крупную игру. Затем сказал, что возможно, не сегодня — завтра, в городе будет распоряжаться великий князь Владимир, и среди интеллигенции, наверное, будут аресты. Не исключаются, конечно, погромы редакций газет, журналов.

— Странно, — сказал Самгин. — Какое дело Савве Морозову до революции?

— Не знаю. Не спрашивал. Но — почему вы говорите — революция? Нет, это еще не она. Не представляю, чтоб кто-то начал в воскресенье делать революцию.

— Рабочие, — напомнил Самгин.

— С попом во главе? С портретами царя, с иконами в руках?

— Разве?

— Да, именно так. Это — похороны здравого смысла, вот что это будет! Если не хуже...

Самгин встал, прошелся по комнате. Слышал, как за спиной его булькало вино, изливаясь в стакан.

— Ну, я пойду, благодарствуйте! Рад, что видел вас здоровым, — с обидным равнодушием проговорил Туробоев. Но, держа руку Самгина холодной, вялой рукой, он предложил: — Вот что: сделано предложение — в воскресенье всем порядочным людям быть на улицах. Необходимы честные свидетели. Чорт знает, что может быть. Если вы не уедете и не прочь...

— Разумеется, — поспешно ответил Клим.

Туробоев сказал ему адрес, куда нужно притти в воскресенье к восьми часам утра и, ушел, захлопнув дверь за собой с ненужной силой.

«Взволнован, этот выстрел оскорбил его», — решил Самгин, медленно шагая по комнате. Но о выстреле он не думал, все-таки не веря в него, остановясь и глядя в угол, он представлял себе торжественную картину: солнечный день, голубое небо, на площади, пред Зимним дворцом, коленопреклоненная толпа рабочих, а на балконе дворца, плечо с плечом голубой царь, священник в золотой рясе и над неподвижной, немой массой людей плывут мудрые слова примирения.

«Ведь не так давно стояли же на коленях пред ним, — думал Самгин. — Это был бы смертельный удар революционному движению и начало каких-то новых отношений между царем и народом, быть может, именно тех, о которых мечтали славянофилы...»

В нем быстро укреплялась уверенность, что надвигается великое историческое событие, после которого воцарится порядок, а бредовые люди выздоровеют или погибнут. С этой уверенностью Самгин и шел рано утром воскресенья по Невскому.

Серенький день был успокоительно обычен и не очень холоден, хотя вздыхал суховатый ветер и лениво сеялся редкий, мелкий снег. Несмотря на раннюю пору, людей на улице было много, но казалось, что

сегодня они двигаются бесцельно и более разобщенно, чем всегда. Самгин отметил, что группы встречались друг с другом осторожнее, чем обычно, не так быстро и решительно. Преобладали хорошо одетые люди, большинство двигалось в сторону Адмиралтейства, лишь из боковых улиц выбегали и торопливо шли к Знаменской площади небольшие группы молодежи, видимо, мастеровые. Экипажей заметно меньше. Очень успокаивало Самгина полное отсутствие монументальных городовых на постах, успокаивало и то, что Невский проспект в это утро казался тише, скромнее, чем обычно и не так глубоко прорубленным в сплошной массе каменных домов. Войдя во двор угрюмого каменного дома, Самгин наткнулся на группу людей, в центре ее высокий человек в пенснэ, с французской бородкой, быстро, точно дьячок, и очень тревожно говорил:

— Совершенно точно установлено: командование войсками сконцентрировало в городе до сорока батальонов пехоты, двенадцать сотен и десять эскадронов...

— Ну, что это значит против двухсот тысяч? — возразил ему маленький человечек в белом кашнэ на шее и в какой-то монашеской шапочке.

— Ваши тысячи — безоружны.

— Но, ведь, мы и не собираемся воевать...

Двое спорили, остальные, прижимая человека в пенснэ, допрашивали его:

— Верны ли ваши сведения, Николай Петрович?

— Точно установлено: на всех заставах — войска, мосты охраняются, в город пускать не будут... Я спешу, господа, мне нужно доложить...

Его не пускали, спрашивая:

— А почему нигде нет полиции? А что сказали министры депутации от прессы?

Человек в пенснэ вырвался и побежал в угол двора, а кто-то чернобородый, в тяжелой шубе, крикнул вслед ему:

— Но, ведь, это ж провокация!

«Паника оставшихся не у дел», — сообразил Самгин.

Через минуту он стоял в дверях большой классной комнаты, оглушенный кипящим криком и говором.

— Что? Я говорил!

— Господа! Тише!

— Совершенно точно установлено...

— Какая вы партия, ну, какая вы партия?

— Слушайте.

— Тиш-ше...

Когда Самгин протер запотевшие очки, он увидел в классной, среди беспорядочно сдвинутых парт, множество людей, они сидели и стояли на партах, на полу, сидели на подоконниках, несколько десятков

голосов кричало одновременно, и все голоса покрывала истерическая речь лысоватого человека с лицом обезьяны.

— Мы должны итти впереди, — кричал он, странно акцентируя.— Мы все должны итти не как свидетели, а как жертвы, под пули, на штыки...

— Но — позвольте! Кто же говорит о пулях?

— Этого требует наше прошлое, наша честь...

Кричавший стоял на парте и отчаянно изгибался, стараясь сохранить равновесие, на ногах его были огромные ботики, обладавшие самостоятельным движением, — они съезжали с парты. Слова он произносил немного картавя и очень пронзительно. Под ним, упираясь животом в парту, стуча кулаком по ней, стоял толстый человек, закинув голову так, что на шее у него образовал сь складка, точно калач; он гудел:

— Увеличить цифру трупов...

— Наш путь — с народом...

— К-к-к цар-рю? Д-даже?

— Я говорил: попу нельзя верить.

— Установлено также...

Человека с французской бородкой не слушали, но он, придерживая одной рукой пенснэ, другой держал пред лицом своим записную книжку и читал:

— Из Пскова: два батальона...

Двигались и скрипели парты, шаркали ноги, человек в ботиках истерически вопил:

— Если мы не умеем жить, — мы должны уметь погибнуть...

— Ах, оставьте!

— Минуту внимания, господа, — внушительно крикнул благообразный старик с длинными волосами, седобородый и носатый. Стало тише и отчетливо прозвучали две фразы:

— Предрасположение к драмам и создает драмы.

— В Париже, в тридцатом году...

Самгин видел, что большинство людей стоит и сидит молча, они смотрят на кричащих угрюмо или уныло, и почти у всех лица измяты, как будто люди эти давно страдают бессонницей. Все, что слышал Самгин, уже несколько поколебало его настроение. Он с досадой подумал: зачем Туробоев направил его сюда? Благообразный старик говорил:

— Наша обязанность — как можно больше видеть и обо всем правдиво свидетельствовать. Показания... что? Показания приносить в Публичную библиотеку и в Вольно-Экономическое общество...

Раздались нестройные крики.

— Точно цыгане на базаре, — довольно громко сказал Туробоев за спиной у Клима.

— Это — правда, что ко дворцу не пустят? — спросил Самгин, шагнув назад, становясь рядом с ним.

— Как будто правда.

— Тогда... что же?

— А, вот, увидим, — ответил Туробоев, довольно бесцеремонно расталкивая людей и не извиняясь пред ними.

Самгин пошел за ним.

— Я — на Выборгскую сторону, — сказал Туробоев, когда вышли на двор. — Вы идете?

— Да, — ответил Самгин, но через несколько шагов спросил: — А не лучше ли на Невский, ко дворцу?

Туробоев не ответил. Он шагал стремительно, наклонясь вперед, сунув руки в карманы и оставляя за собой в воздухе голубые волокна дыма папиросы. Поднятый воротник легкого пальто, клетчатое кашнэ и что-то в его фигуре делали его похожим на парижского апаша, из тех, какие танцуют на эстрадах ресторанов.

«Свидетель», — подумал Самгин, соображая: под каким предлогом отказаться от путешествия с ним?

На Сергиевской улице ехал извозчик; старенький, захудалый, он сидел на козлах сгорбясь, распустив вожжи и, видимо, дремал; мохнатенькая, деревенская лошадь, тоже седая от инея, шагала медленно, низко опустив голову.

— Стой! На Выборгскую, — сказал Туробоев.

Не разгибая спины, извозчик искоса взглянул на него.

— Не поеду.

— Почему?

— Тамошний.

— Ну, так что?

— Квартирую там.

— Ну?

— Не поеду.

Пожав плечами, Туробоев пошел еще быстрее, но, прежде чем Самгин решил взять извозчика для себя, тот, повернув лошадь, предложил:

— Через мост перевезу, — желаете?

Поехали. Стало холоднее. Ветер с Невы гнал поземок, в сером воздухе птичьим пухом кружились снежинки. Людей в город шло немного, и шли они не спеша, не решительно.

— Женщины тоже пойдут? — спросил Самгин Туробоева.

Неприятно высоким и скрипучим голосом ответил извозчик:

— Пойдут. Все идут. А толк будет, господа? Толк должен быть, — сказал он, тихо всхлипнув. — Ежели вся рабочая масса объявляет — не можем!

Говорил он через плечо. Самгин видел только половину его лица с тусклым, мокрым глазом под серой бровью и над серыми волосами бороды.

— Не можем, господа, как хотите! Одолела нужда. У меня — внуки, четверо, и сын хворый, фабрика ему чахотку дала. Отец Агафон понял, дай ему господи...

Он замолчал так же внезапно, как заговорил, и снова сгорбился на козлах, а, переехав мост, остановил лошадь.

— Слезайте, дальше не поеду. Нет, денег мне не надо, — отмахнулся он рукою в худой варежке. — Не таков день, чтобы гривенники брать. Вы, господа, не обижайтесь! У меня — сын пошел. Боюсь будто чего...

— Чорт, — пробормотал Туробоев, надвинув шляпу, глядя вдаль: там, поперек улицы, густо шел народ. — Сюда, — сказал он, направляясь по берегу Невы.

Когда вышли к Невке, Самгин увидал, что по обоим ее берегам к Сампсониевскому мосту бесконечными, черными вереницами тянутся рабочие. Шли они густо, не торопясь и не шумно. В воздухе плыл знакомый гул голосов сотен людей, и Самгин тотчас отличил, что этот гул единодушнее, добрее, бархатистее, что ли, нестройного, растрепанного говора той толпы, которая шла к памятнику деда царя. А вступив на мост, вмешавшись в тесноту, Самгин почувствовал в неторопливости движения рабочих сознание, что они идут на большое, историческое дело. Сознание это передалось ему вместе с теплом толпы. Можно было думать, что тепло — не только следствие физической причины — тесноты, а исходит также от женщин, от единодушного настроения рабочих, торжественно серьезного. Толпу в таком настроении он видел впервые и снова подумал, что она значительно отличается от московской, шагавшей в Кремль неодушевленно и как бы даже нехотя, без этой торжественной уверенности. Женщин не очень много; как большинство мужчин, почти все они зрелого возраста. Их солидность, спокойствие, чистота одежд — снова воскресило и укрепило надежду Самгина, что все обойдется благополучно. И если правда, что вызвано так много войск, то это — для охраны порядка в столице. Вот уже оказалось неверным, что закрыт Литейный мост. Вспомнив нервные крики и суету в училище, он подумал о тех людях:

«Обойдены историей. Отброшены в сторону».

И покосился на Туробоева; тот шел все так же старчески сутулясь, держа руки в карманах, спрятав подбородок в кашнэ. Очень неуместная фигура среди солидных, крепких людей. Должно быть, он понимает это, его густые, как бы вышитые гладью брови нахмурены, слились в одну черту, лицо — печально. Но и упрямо.

«В сущности — он идет против себя», — подумал Самгин, снова присматриваясь к толпе; она становилась теснее, теплее.

Самгин окончательно почувствовал себя участником важнейшего исторического события, — именно участником, а не свидетелем, — после сцены, внезапно разыгравшейся у входа в Дворянскую улицу. Откуда-то сбоку, в основную массу толпы влилась небольшая группа, человек сто молодежи. Впереди шел остролицый человек со светлой бородкой и скромно одетая женщина, похожая на учительницу; человек с бородкой вдруг как-то непонятно разогнулся, вырос и взмахнул красным флагом на коротенькой палке.

— Ура, — нестройно крикнули несколько голосов, другие тоже недружно закричали: — Да здравствует социал-демократическая партия, — ура-а! Товарищи — ура!

Толпа замялась, приостановилась, и эти крики тотчас потонули в сотне сердитых возгласов:

— Прочь с флагом!

— Эй, ты, брось!

— Братцы, не допускайте...

— Сказано было, чертям — не сметь!

Особенно звонко и тревожно кричали женщины. Самгина подтолкнули к свалке, он очутился очень близко к человеку с флагом, тот все еще держал его над головой, вытянув руку удивительно прямо: флаг был не больше головного платка, очень яркий и струился в воздухе, точно пытаясь сорваться с палки. Самгин толкал спиною и плечами людей сзади себя, уверенный, что человека с флагом будут бить. Но высокий, рыжеусый, похожий на переодетого солдата, легко согнул руку, державшую флаг, и сказал:

— Спрячьте, товарищ...

— Не надо, — сказал еще кто-то, а третий голос подтвердил:

— Ничего не выйдет, товарищ Антон.

Человек, похожий лицом на Дьякона, кричал, взмахивая белым платком:

— Это — полицейская штучка! Знаем!

Флаг исчез, его взял и сунул за пазуху синеватого пальто человек, похожий на солдата. Исчез в толпе и тот, кто поднял флаг, а из-за спины Самгина, сильно толкнув его, вывернулся жуткий кочегар Илья и затрубил, разламывая толпу, пробиваясь вперед:

— Флажков, братья, не надобно! Не такое дело. Не то дело, — понял?

Он был без шапки и бугроватый, голый череп его, похожий на булыжник, сильно покраснел; шапку он заткнул за ворот пальто, и она торчала под его широким подбородком. Узел из людей, образовавшийся в толпе, развязался, она снова спокойно поплыла по улице, тесно заполняя ее.

Обрадованный этой сценой, Самгин сказал, глубоко вздохнув:

— Как серьезно они настроены...

Он думал, что говорит Туробоеву, но ему ответил жидкобородый человек с желтым, костлявым лицом:

— Ничего нет серьезного — красной тряпочкой помахать.

Самгин оглянулся, — Туробоева не было.

— Вы — рабочий? — спросил Самгин.

— А как же? Тут посторонних нет. Десяток разве. Конторщик?

— В газетах пишу, — ответил Самгин.

— А я — токарь. По дереву.

Помолчав, Самгин сказал:

— Прекрасно настроены... люди. Вообще — прекрасное начинание! О единении рабочего народа с царем мечтали...

— Нам мечтать и все такое не приходится, — с явной досадой сказал токарь и отбил у Самгина охоту беседовать с ним, прибавив: — Напрасно ты, Пелагея, пошла, я тебе говорил: раньше вечера не вернемся.

Это он сказал через плечо кому-то сзади себя.

— А ты иди, иди, — ответил ему хриплый, мужской голос.

Когда вышли на Троицкую площадь, — передние ряды, точно ударившись обо что-то, остановились, загудели, люди вокруг Самгина стали подпрыгивать, опираясь о плечи друг друга, заглядывая вперед.

— Стой, братцы!

Многократно и разнотонно, с удивлением, испугом, сердито и насмешливо, прозвучало одно и то же слово:

— Не пускают?

Одни рабочие, задерживая шаг, опрокидывались назад, другие стремительно пробивались вперед, покрикивая:

— Чего стоять? Что там? Наши, двигай!

Самгина так затолкали, что он дважды сделал полный круг, а затем очутился впереди, прижатым к забору. В полусотне шагов от себя он видел солдат; закрывая вход на мост, они стояли стеною, как гранит набережной, головы их, с белыми полосками на лбах, были однообразно стесаны, между головами торчали длинные гвозди штыков. Лицом к солдатам стоял офицер, спина его крест-на-крест связана ремнями; размахивая синенькой полоской обнаженной шашки, указывая ею в сторону Зимнего дворца, он, казалось, собирался перепрыгнуть через солдат; другой офицер, чернобородый в белых перчатках, стоял лицом к Самгину, раскуривая папиросу, вспыхивали спички, освещая его глаза. Самгин видел, что рабочие медленно двигаются на солдат, слышал, как все более возбужденно покрикивают сотни голосов, а над ними тяжелый, трубный голос кочегара:

— Стойте, погодите! Я пойду, объясню! Бабы, платок! Белый! Егор Иваныч, идем, ты — старик! Сейчас, братцы, мы объясним! Ошибка у них. Платок, платком махай. Егор...

Большое тело кочегара легко повернулось к солдатам, он взмахнул платком и закричал:

— Эй, ваши благородья...

Отпустив его шагов на пять вперед, рабочие, клином, во главе со стариком, тоже двинулись за ним. Кочегар шагал широко, маленький, белый платок вырвался из его руки, он выдернул шапку из-за ворота, взмахнул ею; старик шел быстро, но прихрамывал и не мог догнать кочегара; тогда человек десять, обогнав старика, бросились вперед; стена солдат покачнулась, гребенка штыков, сверкнув, исчезла, прозвучал, не очень громко, сухой, рваный треск, еще раз и еще. Самгин не почувствовал страха, когда над головой его свистнула пуля, взныла другая, раскололась доска забора, отбросив щепку, и один из троих, стоявших впереди

его, гладя спиной забор, опустился на землю. Страх оглушил Самгина, когда солдаты сбросили ружья к ногам, а рабочие стали подаваться назад, не спеша, приседая, падая и когда женщина пронзительно взвизгнула:

— Стреляют, подлые, ой, глядите-ко!

— Холостыми-и! — ответило несколько голосов из толпы: — Для испуга-а!

Кочегар остановился, но расстояние между ним и рабочими увеличивалось, он стоял в позе кулачного бойца, ожидающего противника, левую руку прижимая ко груди, правую, с шапкой, вытянув вперед. Но рука упала, он покачнулся, шагнул вперед и тоже упал грудью на снег, упал не сгибаясь, как доска, и тут, приподняв голову, ударяя шапкой по снегу, нечеловечески сильно заревел, посунулся вперед, вытянул ноги и зарыл лицо в снег.

Эту картинную смерть Самгин видел с отчетливой ясностью, но она тоже не поразила его, он даже отметил, что — мертвый — кочегар стал еще больше. Но после крика женщины у Самгина помутилось в глазах, все последующее он уже видел, точно сквозь туман и далеко от себя. Совершенно необъяснима была мучительная медленность происходившего,— глаза видели, что каждая минута пересыщена движением, а все-таки создавалось впечатление медленности.

Не торопясь отступала плотная масса рабочих, люди пятились, шли как-то боком, грозили солдатам кулаками, в руках некоторых все еще трепетали белые платки; тело толпы распадалось, отдельные фигуры, отскакивая с боков ее, бежали прочь, падали на землю и корчились, ползли, а многие ложились на снег, в позах безнадежно неподвижных. Так неподвижно лег длинный человек в поддевке, очень похожий на Дьякона, лег и откуда-то из-под воротника поддевки обильно полилась кровь, рисуя с бока головы его красное пятно, — Самгин видел прозрачный парок над этим пятном; к забору подползал, волоча ногу, другой человек с зеленым шарфом на шее; маленькая женщина сидела на земле, стаскивая с ноги своей черный ботик и вдруг, точно ее ударили по затылку, ткнулась головой в колени свои, развела руками, свалилась на бок. Туробоев в расстегнутом пальто подвел к забору молодого парня с черными усиками, ноги парня заплетались, глаза он крепко закрыл, а зубы оскалил, высоко вздернув верхнюю губу. Воздух густо кипел матерной бранью, воплями женщин, кто-то командовал:

— К Биржевому мос-ту-у! Наши-и...

— Сволочи! Убийцы!

Самгину показалось, что толпа снова двигается на неподвижную стену солдат и двигается не потому, что подбирает раненых; многие выбегали вперед, ближе к солдатам, для того, чтоб обругать их. Женщина в коротенькой шубке, разорванной под мышкой, вздернув подол платья, показывая солдатам красную юбку, кричала каким-то жестяным голосом:

— Стреляйте, ну — стреляйте!..

— Надо бежать, уходить, — кричал Самгин Туробоеву, крепко прижимаясь к забору, не желая, чтоб Туробоев заметил, как у него дрожат ноги. В нем отчаянно кричало простое слово:

«Зачем? Зачем?» и, заглушая его, он убеждал окружающих: — Надо бежать, ведь они могут и еще...

Туробоев вытирал платком красные пальцы. Лицо у него дико ощетинилось, острая бородка торчала почти горизонтально, должно быть, он закусил губу. Взглянув на Клима, он громко закричал:

— Расходитесь, господа! Сейчас пустят кавалерию...

Но уже стена солдат разломилась на две части, точно открылись ворота, на площадь поскакали рыжеватые лошади, брызгая комьями снега, заорали, завыли всадники в белых фуражках, размахивая саблями; толпа рявкнула, покачнулась назад и стала рассыпаться на кучки, на единицы, снова ужасая Клима непонятной медленностью своего движения. Несколько человек, должно быть, молодых, судя по легкости их прыжков, запутались среди лошадей, бросаясь от одной к другой, а лошади подскакивали к ним боком, и солдаты, наклоняясь, смахивали людей с ног на землю, точно для того, чтоб лошади прыгали через них. Самгину казалось, что глаза его расширяются, видят все с ясностью мучительной, и это грозит ему слепотой. Он закрыл глаза. Рядом с ним люди лезли на забор, царапая сапогами доски; забор трещал, качался; визгливо и злобно ржали лошади, что-то позванивало, лязгало; звучали необыкновенно хлесткие удары, люди крякали, охали, тоже визжали, как лошади, и падали, падали...

Молодой парень, без шапки, выламывая доску над головой Самгина, хрипло кричал:

— Помогай, не видишь?

— Лягте, — сказал Туробоев и ударом ноги подшиб ноги Самгину, он упал под забор и тотчас, почти над головой его, взметнулись рыжие ноги лошади, на ней сидел, качаясь, голубоглазый драгун со светлыми усиками; оскалив зубы, он взвизгивал, как мальчишка, и рубил саблей воздух, забор, стараясь достать Туробоева, а тот увертывался, двигая спиной по забору и орал:

— Прочь, скотина! Пошел прочь, мерзавец!

И вдруг коротко засмеялся, крикнув:

— Идиот, ты меня принимаешь за еврея?

Лошадь брыкалась, ее, с размаха, бил по задним ногам осколком доски рабочий; солдат круто, как в цирке, повернул лошадь, наотмашь хлестнул шашкой по лицу рабочего, тот покачнулся, заплакал кровью, успел еще раз ткнуть доской в пах коня и свалился под ноги ему, а солдат снова замахал саблею на Туробоева. Самгин закрыл глаза, но все-таки видел красное от холода или ярости прыгающее лицо убийцы, оскаленные зубы его, оттопыренные уши, слышал болезненное ржание лошади, топот ее, удары шашки, рубившей забор, что-то очень тяжелое упало на землю.

«Убил. Теперь меня убьет», — подумал Самгин, точно не о себе; в нем застыл другой страх, как будто не за себя, а тяжелее, смертельней.

После этого над ним стало тише; он открыл глаза, Туробоев исчез, шляпа его лежала у ног рабочего; голубоглазый кавалерист, прихрамывая, вел коня за повод к Петропавловской крепости, конь припадал на задние ноги, взмахивая головой, упирался передними, солдат кричал, дергал повод и замахивался шашкой над мордой коня.

Самгин сел, прислонясь спиной к забору, оглянулся. Солдаты гнали и рубили рабочих уже далеко, у Каменноостровского. По площади ползали окровавленные люди, другие молча подбирали их, несли куда-то; валялось много шапок, галош; большая серая шаль лежала комом, точно в ней был завернут ребенок, а около нее, на снегу — темная кисть руки вверх ладонью. Зарубленный рабочий лежал лицом в луже крови, точно пил ее, руки его были спрятаны под грудью, а ноги, как римская цифра V. У моста подпрыгивала, топала ногами серо-каменная пехота, солдат с медной трубой у пояса прыгал особенно высоко. Многие солдаты смотрели из-под ладоней вдаль, где сновали люди, скакали и вертелись кони, поблескивали ленты шашек.

Самгин встал, тихонько пошел вдоль забора, свернул за угол, — на тумбе сидел человек с разбитым лицом, плевал и сморкался красными шлепками.

— Постой, — сказал он, отирая руку о колено, — погоди! Как же это? Должен был трубить горнист. Я — сам солдат! Я — знаю порядок. Горнист должен был сигнал дать, по закону, — сволочь! — Громко всхлипнув, он матерно выругался. — Василья Мироныча изрубили, — а? Он — жену поднимал, тут его саблей...

Самгин прошел мимо его молча. Он шагал как во сне, почти без сознания, чувствуя только одно: он никогда не забудет того, что видел, а жить с этим в памяти — невозможно. Невозможно.

Этой части города он не знал, шел наугад, снова повернул в какую-то улицу и наткнулся на группу рабочих, двое были удобно, головами друг к другу, положены к стене, под окна дома, лицо одного — покрыто шапкой; другой, не бритый, желтоусый, застывшими глазами смотрел в сизое небо, оно крошилось снегом; на каменной ступени крыльца сидел пожилой человек в серебряных очках, толстая женщина, стоя на коленях, перевязывала ему ногу, выше ступни, ступня была в крови, точно в красном носке, человек шевелил пальцами ноги, говоря не громко, не уверенно:

— Может, потому, что тут крепость.

Молодой, худощавый рабочий, в стареньком пальто, подпоясанном ремнем, закричал:

— Крепость? А что она? Ты мне про крепость не говори! Это мы — крепость!

Он ударил себя кулаком в грудь и закашлялся; лицо у него было больное, желто-серое, глаза — безумны и был он как бы пьян от брожения в нем гневной силы; она передалась Климу Самгину.

— Царь и этот поп должны ответить, — заговорил он с отчаянием, готовый зарыдать. — Царь — ничтожество. Он — самоубийца! Убийца и самоубийца. Он убивает Россию, товарищи... Довольно Ходынок! Вы должны...

— Ничего я тебе не должен, — крикнул рабочий, толкнув Самгина в плечо ладонью. — Что ты тут говоришь, ну? Кто таков? Ну, говори! Что ты скажешь? Эх...

Он выругался, схватил Клима за плечи и закашлялся, встряхивая его. Раненый, опираясь о плечо женщины, попытался встать, но, крякнув, снова сел.

— Как же я пойду?

— Отпусти человека, — сказал рабочему старик в нагольном полушубке. Вы, господин, идите, — что вам тут? — равнодушно предложил он Самгину, взяв рабочего за руки. — Оставь, Миша, видишь — испугался человек...

Клим заметил, что все рабочие отступают прочь от него, все хотят, чтоб он ушел. Это несколько охладило, даже, как будто, обидело его. Ему хотелось сказать еще что-то, но рабочий прокашлялся и закричал:

— Самоубивец твой чай пьет, генералов угощает: спасибо за службу! А ты мне зубы хочешь заговорить...

Махнув рукою, Самгин пошел прочь, тотчас решив, что нужно возвратиться в город. Он видел вполне достаточно для того, чтоб свидетельствовать.

«Тот человек — прав: горнист должен был дать сигнал. Тогда рабочие разошлись бы»....

Он почти бежал, обгоняя рабочих; большинство шло в одном направлении, разговаривая очень шумно, даже смех был слышен; этот резкий смех возбужденных людей заставил подумать:

«Радуются, что живы».

Впереди его двое молодых ребят вели под руки третьего, в котиковой шапке, сдвинутой на затылок, с комьями красного снега на спине.

— Ничего, — бормотал он, всхрапывая, — ничего.

Ноги его подкосились, голова склонилась на грудь, он повис на руках товарищей и захрипел.

— Кажись, совсем, — сказал один из них, другой, обернувшись, спросил Самгина:

— Вы — не доктор?

— Нет, — сказал Самгин и зачем-то прибавил: — Это — обморок.

Парня осторожно положили поперек дороги Самгина, в минуту собралась толпа, заткнув улицу; высокий, рыжеватый человек в кожаной куртке вел мохнатенькую лошадь, на козлах саней сидел знакомый извозчик, размахивая кнутом и плачевно кричал:

— Куда? Не еду я, не еду! Сына я ищу.

Но уже в сани укладывали раненого, садился его товарищ, другой влезал на козлы; извозчик, тыкая в него кнутовищем, все более жалобно и визгуче взывал:

— Да — отпустите, бога ради! Говорю — сын у меня...

— Мы все — дети! — свирепо крикнул кто-то.

Тогда извозчик мешком свалился с козел под ноги людей, встал на колени и завыл женским голосом:

— Милые, не поеду-у! Не могу я-а...

Его схватили под мышки, за шиворот, подбросили на козлы.

— Четверых не повезет, — сказал кто-то; несколько человек сразу толкнули сани, лошадь вздернула голову, а передние ноги ее так подогнулись, точно и она хотела встать на колени.

— Какие же вы люди? — кричал извозчик.

«Жестокость», — подумал Самгин, все более приходя в себя, а за спиной его крепкий голос деловито и радостно говорил:

— ... На Васильевском оружейный магазин разбили, баррикаду строят...

— Кто сказал?

— Наши...

— Ребята, в город! Кто в город, товарищи?

Самгин присоединился к толпе рабочих, пошел в хвосте ее куда-то влево и скоро увидал приземистое здание Биржи, а около нее и у моста кучки солдат, лошадей. Рабочие остановились, заспорили: будут стрелять или нет?

— Довольно, постреляли! — сказал коротенький, в серой куртке с черной заплатой на правом локте. — Кто по льду, на Марсово?

За ним пошли шестеро, Самгин седьмой. Он видел, что всюду по реке бежали в сторону города одинокие фигурки, и они удивительно ничтожны на широком полотнище реки, против тяжелых дворцов, на крыши которых опиралось тоже тяжелое, серо-каменное небо.

«По одинокому стрелять не станут», — сообразил он, чувствуя себя отупевшим и почти спокойно.

На Неве было холоднее, чем на улицах, бестолково метался ветер, сдирал снег, обнажая синеватые лысины льда, окутывал ноги белым дымом. Шли быстро, почти бегом, один из рабочих невнятно ворчал, коротконогий, оглянувшись на него раза два, произнес строго, храбрым голосом:

— Неправильно! Солдат взнуздан, как лошадь. А ежели заартачится...

Донесся странный звук, точно лопнула березовая почка, воздух над головой Самгина сердито взныл.

— Это — в нас, — сказал коротконогий. — Разойдись, ребята!

Но рабочие все-таки шли тесно и только когда щелкнуло еще несколько раз и пули дважды вспорошили снег очень близко, один из них, отскочив, побежал прямо к набережной.

— Чудак, — сказал коротконогий, обращаясь к Самгину, — от пули бежит. — И продолжал: — Так я говорю: брали мы с полковником Терпицким китайскую столицу Пекин...

Рассказывал он рабочим, но слова его летели прямо в лицо Самгина.

— Значит, не желаешь стрелять? Никак нет! Значит, становись на то же место! Н-ну, пошел Олеша, встал рядом с расстрелянным, перекрестился. Тут — дело минутное: взвод — пли! Вот-те и Христос! Христос солдату не защита, нет! Солдат — человек беззаконный...

На Марсовом поле Самгин отстал от спутников и через несколько минут вышел на Невский. Здесь было и теплее и все знакомо, понятно. Над сплошными вереницами людей плыл, хотя и возбужденный, но мягкий, точно как будто праздничный говор. Люди шли в сторону Дворцовой площади, было много солидных, прилично, даже богато одетых мужчин, дам. Это несколько удивило Самгина, он подумал:

«Неужели то, что случилось на том берегу — ошибка?»

Он легко поддался надежде, что на этом берегу все будет объяснено, сглажено; придут рабочие других районов, царь выйдет к ним...

Впереди шагал человек в меховом пальто с хлястиком, в пуховой шляпе странного фасона, он вел под руку даму и сочно убеждал ее:

— Поверьте, не могло этого быть...

— Было, — хотел сказать Самгин, вспомнив свою роль свидетеля, но человек договорил:

— Он циник, да, но не настолько...

Самгин обогнал эту пару и пошел дальше, с чувством облегчения отдаваясь потоку людей.

Дойдя до конца проспекта, он увидал, что выход ко дворцу прегражден двумя рядами мелких солдат. Толпа придвинула Самгина вплоть к солдатам, он остановился с края фронта, внимательно разглядывая пехотинцев, очень захудалых, несчастненьких. Было их, вероятно, меньше двух сотен, левый фланг упирался в стену здания на углу Невского, правый — в решетку сквера. Что они могли сделать против нескольких тысяч людей, стоявших на всем протяжении от Невского до Исаакиевской площади?

«Да, — подумал Самгин. — Наверное, там была ошибка... Преступная ошибка», — дополнил он.

Все солдаты казались курносыми, стояли они, должно быть, давно, щеки у них синеватые от холода. Невольно явилась мысль, что такие плохонькие поставлены нарочно для того, чтоб люди не боялись их. Люди и не боялись, стоя почти грудь с грудью к солдатам, они посматривали на них снисходительно, с сожалением; старик в полушубке и в меховой шапке с наушниками говорил взводному:

— Ты меня не учи, я сам гвардии унтер-офицер!

А девушка, по внешности швейка или горничная, спрашивала:

— Слышно — стреляете вы в людей?

— Мы не стреляем, — ответил солдат.

На площади, у решетки сквера выстроились, лицом к Александровской колонне, молодцеватые всадники на тяжелых, темных лошадях, вокруг колонны тоже немного пехотинцев, но ружья их были составлены в козла; стояли там какие-то зеленые повозки, бегала большая, пестрая собака. Все было удивительно просто и даже как-то не серьезно. Самгин ярко вспомнил, как на этой площади стояла, преклонив колена пред царем, толпа «карликовых людей», подумал, что ружья, повозки, собака — все это лишнее и, вздохнув, посмотрел налево, где возвышался поседевший купол Исаакиевского собора, а над ним опрокинута чаша неба, громадная, но не глубокая и точно выточенная из серого камня. Это низенькое небо казалось теплым и очень усиливало впечатление тесной сплоченности людей на земле.

За спиною курносеньких солдат на площади расхаживали офицера, а перед фронтом не было ни одного, только унтер-офицер, тоже не крупный, с лицом преждевременно одряхлевшего подростка, лениво покрикивал:

— Господа, не напирайте!

Самгин не заметил, откуда явился офицер в пальто оловянного цвета, рыжий, с толстыми усами, он точно из стены вылез сзади Самгина и встал почти рядом с ним, сказав не очень сильным голосом:

— Смирно!

И еще какое-то слово. Курносенькие дружно пошевелились и замерли. Тогда рыжий вынул, точно из кармана, длинную саблю, взмахнул ею, крикнул, курносенькие взбросили ружья к щекам и, покачнувшись назад, выстрелили. Это было сделано удивительно быстро и не серьезно, не так, как на том берегу; Самгин, с бока, хорошо видел, что штыки торчали неровно, одни — вверх, другие — ниже и очень мало таких, которые, не колеблясь, были направлены прямо в лица людей. Залп треснул не слитно, одним звуком, а дробно, разорванно и вовсе не страшно.

Но люди, стоявшие прямо против фронта, все-таки испугались, вся масса их опрокинулась глубоко назад, между нею и солдатами тотчас образовалось пространство шагов пять, гвардии унтер-офицер нерешительно поднял руку к шапке и грузно повалился под ноги солдатам, рядом с ним упало еще трое, из толпы тоже, один за другим, вываливались люди.

— Со страха, — сказал кто-то над ухом Самгина. — Стреляют холостыми, а они...

Но Самгин уже знал, что люди падают не со страха. Он видел, что толпа, стискиваясь, выдавливает под ноги себе мужчин, женщин; они приседали, падали, ползли, какой-то подросток, быстро, с воем, катился к фронту, упираясь в землю одной ногой и руками; видел, как люди умирали, не веря, не понимая, что их убивают. Слышал, как рыжий офицер,

стоя лицом к солдатам, матерно ругался, грозя кулаком в перчатке, тыкая в животы концом шашки, как он, повернувшись к ним спиной и шагнув вперед, воткнул шашку в подростка, и у того подломились руки.

Толпа выла, ревела, грозила солдатам кулаками, некоторые швыряли в них комьями снега, солдаты, держа ружья к ноге, стояли окаменело, плотнее, чем раньше, и все как будто выросли.

Все это было страшнее, чем на том берегу, может быть, потому, что было ближе. Самгин снова испытывал мучительную медленность и страшную емкость минуты, способной вмещать столько движения и так много смертей. Люди, среди которых он стоял, отодвинули его на Невский, они тоже кричали, ругались, грозили кулаками, хотя им уже не видно было солдат. Затем Самгин видел, как отступавшая толпа точно уперлась во что-то и вдруг, единодушно взревев, двинулась вперед, шагая через трупы, подбирая раненых; дружно треснул залп и еще один, выскочили солдаты, стреляя, размахивая прикладами, тыкая штыками, — густейшим потоком люди, пронзительно воя, побежали вдоль железной решетки сквера, перепрыгивая через решетку, несколько солдат стали стрелять вдоль Невского. Тогда публика, окружавшая Самгина, тоже бросилась бежать, увлекая и его; кто-то с разбега ударил в спину ему головой.

«Это — убитый, мертвый», — мелькнула догадка, и Самгин упал, его топтали ногами, перескакивали через него, он долго катился и полз, прежде, чем удалось подняться на ноги и снова бежать.

Наконец, отдыхая от животного страха, весь в поту, он стоял в группе таких же онемевших, задыхающихся людей, прижимаясь к запертым воротам, стоял мигая, чтобы не видеть все то, что как бы извне приклеилось к глазам. Вспомнил, что вход на Гороховую улицу с площади был заткнут матросами гвардейского экипажа, он с разбега наткнулся на них, ему грозно крикнули:

— Куда лезешь?

А один матрос схватил его за руку, бросил за спину себе, в улицу и тявкнул дважды, басом:

— Вам там, — но вполголоса прибавил: — Беги! беги!

Вспоминать пришлось недолго, подошел человек в масляномокром пальто и притиснул Самгина, заставив его сказать:

— На вас кровь.

— Не моя, — ответил человек, отдуваясь, и заговорил громко, словами, которые как бы усмехались: — Сотенку ухлопали, если не больше. Что же это значит, господа, а? Что же эта... война с народонаселением означает?

Никто не ответил ему, а Самгин подумал или сказал:

— Это — не ошибка, а система.

В нем, в его памяти, как вьюга в трубе печи, выло, свистело, стонало. Тряслись ноги. Он потерял очки и все вокруг видел более уродливым, чем всегда. Напротив его крепко врос в землю старый, железного цвета

дом с двумя рядами мутных окон. За стеклами плавали еще более мутные пятна, несколько напоминая человеческие лица. Город гудел, и в этом непрерывном шуме лопались весенние почки. По улице снова бежал народ, с воем скакали всадники в белах венчиках на фуражках, за спиною Самгина скрипели и потрескивали ворота. Черноусый кавалерист запрокинулся назад, остановил лошадь на скаку, так, что она вздернула оскаленную морду в небо, высоко поднял шашку и заревел неестественным голосом, напомнив Самгину рыдающий рев кавказского осла, похожий на храп и визг поперечной пилы. Этот звериный крик, испугав людей, снова заставил их бежать, бежал и Самгин, видя, как люди, впереди него, падая на снег, брызгают кровью. Потом он слепо шел правым берегом Мойки к Певческому мосту, видел, как на мост, забитый люд ми, ворвались пятеро драгун, как засверкали их шашки, двое из пятерых, сорванные с лошадей, исчезли в черном месиве, толстая лошадь вырвалась на правую сторону реки, люди стали швырять в нее комьями снега, а она топталась на месте, встряхивая головой; с морды ее падала пена.

У дома, где жил и умер Пушкин, стоял старик из «Сказки о рыбаке и рыбке», — сивобородый старик в женской, ватной кофте, на голове у него трепаная шапка, он держал в руке обломок кирпича.

— Хорошо угостили, а? — спросил он, подмигнув острым глазком, и, постучав кирпичом в стену, метнул его под ноги людям. — Молодых-то сколько побили, молодых-то! — громко и с явным изумлением сказал он.

Люди шли не торопясь, угрюмо оглядываясь назад, но некоторые бежали, толкая попутчиков, и у всех был такой растерянный вид, точно никто из них не знал, зачем и куда идет он; Самгин тоже не знал этого. Впереди его шагала, пошатываясь, женщина без шляпки, с растрепанными волосами, она прижимала к щеке платок, смоченный кровью; когда Самгин обогнал ее, она спросила:

— Нет ли у вас чистого платка?

Из-под ее красных пальцев на шею за воротник текла кровь, а из круглых и недоумевающих, девичьих глаз — слезы.

— Нет, — ответил Самгин и пошел быстрее, но через несколько шагов девушка обогнала его, ее, как ребенка, нес на руках большой, рыжебородый человек. Трое, спешным шагом, пронесли убитого или раненого, тот из них, который поддерживал голову его, — курил. Сзади Самгина кто-то тяжело, точно лошадь, вздохнул:

— Хоть бы пистолетов каких-нибудь...

Самгин вдруг вспомнил слова историка Козлова о том, что царь должен будет жестоко показать всю силу своей власти.

— Стойте!

Кричал, сидя в санях извозчика, Туробоев, с забинтованной головой, в старой, уродливой шапке, съехавшей ему на затылок.

— Садитесь, — приказал он, выпрыгивая из саней. — Поезжайте...

Он сказал адрес, сунул в руку Самгина какие-то листочки, поправил шапку и, махнув рукою, пошел назад, держа голову так неподвижно, как будто боялся потерять ее.

Через несколько минут пред ним открыл дверь в темную переднюю гладко остриженный человек с лицом татарина, с недоверчивым взглядом острых глаз.

— Что вам угодно? — спросил он, не впуская. — Его нет дома. Пройдите. Подождите.

Человек ткнул рукою налево, и Самгину показалось, что когда-то он уже видел этого татарина, слышал высокий голос его. В большой, светлой комнате было человек пять, все они как бы только что поссорились и молчали. По комнате нервно шагал тот, высокий, с французской бородкой, которого Самгин видел утром в училище. У окна сидел бритый, черненький, с лицом старика; за столом, у дивана, кто-то, согнувшись, быстро писал, человек в сюртуке и золотых очках, похожий на профессора, тяжело топая, ходил из комнаты в комнату, чего-то искал. Он спросил Самгина:

— Не хотите ли закусить?

— Да, — ответил Клим, вдруг ощутив голод и слабость. В темноватой столовой, с одним окном, смотревшим в кирпичную стену, на большом столе буйно кипел самовар, стояли тарелки с хлебом, колбасой, сыром, у стены мрачно возвышался тяжелый буфет, напоминавший чем-то гранитный памятник над могилою богатого купца. Самгин ел и думал, что хотя квартира эта в пятом этаже, а вызывает впечатление подвала. Угрюмые люди в ней, конечно, из числа тех, с которыми история не считается, отбросила их в сторону.

«Вероятно, они сейчас будут спрашивать, что я видел...»

О том, что он видел, ему хотелось рассказать этим людям беспощадно, так, чтоб они почувствовали некий вразумляющий страх. Да, именно так, чтоб они устрашились. Но никто ни о чем не спрашивал его. Часто дребезжал звонок, татарин, открывая дверь, грубовато и коротко говорил что-то, спрашивал:

— Не встречали?

Иногда он заглядывал в столовую, и Самгин чувствовал на себе его острый взгляд. Когда он, подойдя к столу, пил остывший чай, Самгин разглядел в кармане его пиджака ручку револьвера, и это ему показалось смешным. Закусив, он вышел в большую комнату, ожидая видеть там новых людей, но люди были все те же, прибавился только один, с забинтованной рукой на перевязи из мохнатого полотенца.

— Вот как, — сумрачно глядя в окно, в синюю муть зимнего вечера, тихонько говорил он. — Я хотел поднять его, а тут — бац! бац! Ему — в подбородок, а мне — вот... Не могу я этого понять... За что?

Человек в золотых очках уговаривал его поесть, выпить вина и лечь отдохнуть.

— От этого всю жизнь не отдохнешь, — сказал раненый, но встал и покорно ушел в столовую.

«От Ходынки отдохнули», — подумал Самгин, все определенней чувствуя себя не столько свидетелем, как судьей.

Снова задребезжал звонок, и в прихожей глуховатый, сильно окающий голос угрюмо спросил:

— Ну, что это ты с револьвером?

— Тут какая-то дрянь, должно быть, сыщики, все Гапона спрашивают...

— Брось, не смеши, Савва!

«Морозов», — удивленно и не веря себе вспомнил Самгин.

Вошел высокий скуластый человек, с рыжеватыми усами, в странном пиджаке без пуговиц, застегнутом на левом боку крючками; на ногах— высокие сапоги; несмотря на длинные, прямые волосы, человек этот казался переодетым солдатом. Протирая пальцами глаза, он пошел в двери налево, Самгин сунул ему бумаги Туробоева, он мельком, воспаленными глазами взглянул в лицо Самгина, на бумаги и молча скрылся вместе с Морозовым, за дверями. Подождав несколько минут, Самгин решил уйти, но, когда он вышел в прихожую, извне в дверь застучали, звонок прозвучал судорожно, выбежал Морозов, держа руку в кармане пиджака, открыл дверь.

— Что? Вы кто? Гапон? Вы Гапон?

Морозов быстро посторонился. Тогда в прихожую нырком, наклоня голову, вскочил небольшой человечек, в пальто слишком широком и длинном для его фигуры, в шапке слишком большой для головы; извилистым движением всего тела и размахнув руками назад, он сбросил пальто на пол, стряхнул шапку туда же и сорванным голосом спросил:

— Мартын — здесь? Петр? Я спрашиваю...

Все, кто был в большой комнате, высунулись из нее, человек с рыжими усами грубовато и, не скрывая неприятного удивления, спросил:

— Вас Рутенберг направил?..

— Да, да, да, — где он?

— Не знаю.

Сопровождавший Гапона, небольшой, неразличимый человечек, поднял с пола пальто, положил его на стул, сел на пальто и успокоительно сказал:

— Сейчас придет.

А Гапон проскочил в большую комнату и забегал, заметался по ней. Ноги его подгибались, точно вывихнутые, темное лицо судорожно передергивалось, но глаза были неподвижны, остеклели. Коротко и неумело обрезанные волосы на голове висели неровными прядями, борода подстрижена тоже не ровно. На плечах болтался измятый, старенький пиджак, и рукава его были так длинны, что покрывали кисти рук. Бегая по комнате, он хрипло выкрикивал:

— Дайте пить. Вина, воды... все равно. Нет, не все погибло, нет! Сейчас я напишу им. Фуллон! — плачевно крикнул поп и, взмахнув рукой, погрозил кулаком в потолок; рукав пиджака съехал на плечо ему и складками закрыл половину лица. — Фуллон предал меня! — хрипло кричал он, пытаясь отбросить со щеки рукав тем движением головы, как привык отбрасывать длинные свои волосы. Рука его деревянно упала, вытянулась вдоль тела, пальцы щупали и мяли полу пиджака, другая рука мерно, как маятник, раскачивалась. Мелкими шагами, бегая по паркету, он наполнил пустоватую комнату стуком каблуков, шарканием подошв, шипением и храпом, — для Самгина шум этот напомнил противный шум кухни: отбивают мясо, на плите что - то булькает, шипит, жарится, взвизгивает в огне сырое полено.

Человек в золотых очках подал Гапону стакан вина, поп жадно и быстро выпил и снова побежал, закружился, забормотал:

— Лжешь! Рабочие — со мной! Они меня не предадут! Они — до конца со мной! Лжешь! Предатель... Где же Мартын, где?

Самгин ошеломленно наблюдал, и в нем тоже кружились какие-то опьяняющие токи. Без рясы, ощипанный, Гапон был не похож на того попа, который кричал и прыгал пред рабочими, точно молодой петушок по двору, куда внезапно влетел вихрь, предвестник грозы и ливня. Теперь, когда попу точно на смех грубо остригли космы на голове и бороду, — обнаружилось раздерганное, темненькое, почти синее лицо, черные зрачки, застывшие в синеватых, масляных белках и большой нос, прямой, с узкими ноздрями и сдвинутый влево, отчего одна половина лица казалась больше другой.

Самгин заметил, что раза два, на бегу, Гапон взглянул в зеркало, и каждый раз попа передергивало, он оглаживал бока свои быстрыми движениями рук и вскрикивал сильнее, точно обжигал руки, выпрямлялся, взмахивая руками.

«Актер? Играет?» — мельком подумал Самгин.

Нет, Гапон был больше похож на обезумевшего, и это становилось все яснее. Кроме попа в комнате как будто никого не было, все молчали, не шевелясь. Рыжеусый стоял солдатски прямо, прижавшись плечом к стене, в оскаленных его зубах торчала не зажженная папироса; у него лицо человека, который может укусить, и казалось, что он воткнул в зубы себе папиросу только для того, чтоб не закричать на попа. Рядом с ним, на стуле, в позе человека, готового вскочить и бежать, сидел Морозов, плотный, крепкий и чем-то похожий на чугунный утюг. Самгин слышал, как он шепнул:

— Вождь, а?

И татарское его лицо как будто перевернулось от быстрой, едкой улыбки.

Рыжеусый сквозь зубы процедил:

— Обида — без ненависти, жалобы — без гнева.

Самгин забыл о том, что Гапон — вождь, но этот шопот тотчас воскресил в памяти десятки трупов, окровавленных людей, ревущего кочегара.

— Меня надобно сейчас же спрятать, меня ищут, — сказал Гапон, остановясь и осматривая людей неподвижными глазами: Куда вы меня спрячете?

Сердито, звонким голоском Морозов посоветовал ему сначала привести себя в порядок, постричься, помыться. Через минуту Гапон сидел на стуле среди комнаты, а человек с лицом старика начал стричь его. Но, видимо, ножницы оказались тупыми или человек этот — не ловким парикмахером, — Гапон жалобно вскрикнул:

— Осторожнее, что вы!

— Потерпите, — не любезно посоветовал Моро́зов и брезгливо сморщил лицо.

Попа остригли и отправили мыться, а зрители молча и как бы сконфуженно разошлись по углам.

— Как потрясен, — сказал человек с французской бородкой и, должно быть, поняв, что говорить не следовало, повернулся к окну, уперся лбом в стекло, разглядывая тьму, густо закрывшую окна.

Звонок трещал все более часто и судорожно; Морозов, щупая отвисший карман пиджака, выбегал в прихожую, и Клим слышал, как там возбужденные голоса, захлебываясь словами, рассказывали, что перебиты сотни рабочих, Гапон — тоже убит.

— Сейчас полиция привезла его труп...

— Ер-рунда-с! — четко и звонко сказал Морозов. — Десять минут тому назад этот — труп — был — здесь.

Человек, пришедший с Гапоном, подтвердил обиженным голосом:

— Верно!

И потише, но как бы с упреком, напомнил:

— Рабочий народ очень любит батюшку, очень!

Принесли еще новость: Гапон — жив, его ищет полиция, за поимку обещано вознаграждение.

— Возможно, — сказал Морозов и прибавил: — Небольшое.

Самгин пытался понять источники иронии фабриканта и не понимал их. Пришел высокий, чернобородый человек, удалясь в угол комнаты вместе с рыжеусым, они начали там шептаться; рыжеусый громко и возмущенно сказал:

— Ну, — нет! Никаких легенд! Никаких!

Вбежал Гапон. Теперь, прилично остриженный и умытый, он стал похож на цыгана. Посмотрев на всех в комнате и на себя в зеркале, он произнес решительно, угрожающе:

— Это — не конец! Рабочие — со мною!

Твердым шагом вошел крепкий человек с внимательными глазами и несколько ленивыми или осторожными движениями.

— Мартын! — закричал Гапон, бросаясь к нему. — Садись, пиши! Надо скорей, скорей!

Через несколько минут Мартын, сидя на диване у стола, писал не торопясь, а Гапон, шагая по комнате, разбрасывая руки, выкрикивал:

— Братья, спаянные кровью. Так и пиши: спаянные кровью, да! У нас нет больше царя! — Он остановился, спрашивая: — У нас или у вас? Пиши: у вас.

— Больше — лишнее слово, — пробормотал писавший, не поднимая головы.

— Он убит теми пулями, которые убили тысячи ваших товарищей, жен, детей... да!

Поп говорил отрывисто, делая большие паузы, повторяя слова и, видимо, с трудом находя их. Шумно всасывал воздух, растирал синеватые щеки, взмахивал головой, как длинноволосый, и после каждого взмаха щупал остриженную голову, задумывался и молчал, глядя в пол. Медлительный Мартын писал все быстрее, убеждая Клима, что он не считается с диктантом Гапона.

— Пиши! — притопнув ногой, сказал Гапон. — И теперь царя, потопившего правду в крови народа, я, Георгий Гапон, священник, властью, данной мне от бога, предаю анафеме, отлучаю от церкви...

— Не дури, — сказал Петр или Мартын, продолжая писать, не взглянув на диктующего попа.

— А — что? Ты — пиши! — снова топнул ногой поп и схватился руками за голову, пригладил волосы: — Я — имею право! — продолжал он, уже не так громко. — Мой язык понятнее для них, я знаю, как надо с ними говорить. А вы, интеллигенты, начнете...

Он махнул рукой, лицо его побагровело и, на минуту, стало злым, зрачки пошевелились, точно вспухнув на белках.

— Нет, нет, — никаких сказок, — снова проговорил рыжеусый человек.

— Кровью своей вы купили право борьбы за свободу, — диктовал Гапон.

Рыжеусый и чернобородый подошли к нему, и первый бесцеремонно, грубовато заговорил:

— Ходят слухи, что вас убили, арестовали и прочее. Это — не годится.

— Как всякая неправда, — вставил чернобородый, покашливая.

— Вот. В Экономическом обществе собралась... разная публика. Нужно вам съездить туда, показаться.

— А — зачем? — спросил Гапон. — Там — интеллигенты. Я знаю, что такое Вольно-Экономическое общество — интеллигенты! — продолжал он, повышая голос. — Я — с рабочими!

— Там есть и рабочие, — сказал чернобородый.

Самгин хорошо видел, что попу не понравилось это предложение, даже смутило его. Сморщив лицо, Гапон проворчал что-то, наклонился к Рутенбергу, тот, не взглянув на него, сказал:

— Надо ехать.

— Да?

— Да, да...

Поправляя рукава пиджака, встряхивая головою, Гапон взглянул в зеркало и спросил кого-то:

— Не узнают? Не поверят? Не знают, ведь, они меня?

— Поверят, — сказал рыжеусый. — Идемте!

Самгин давно знал, что он тут лишний, ему пора уйти. Но удерживало любопытство, чувство тупой усталости и, близкое страху, нежелание итти одному по улицам. Теперь, надеясь, что пойдет вчетвером, он вышел в прихожую и, надевая пальто, услыхал голос Морозова:

— Свернут башку.

— Свою береги, — ответил рыжеусый.

Самгин открыл дверь и стал медленно спускаться по лестнице, ожидая, что его нагонят. Но шум шагов наверху он услыхал, когда был уже у двери подъезда. Вышел на улицу. У подъезда стояла хорошая лошадь.

— Занят, — сказал извозчик. — Частный, — прибавил он, как бы извиняясь.

Самгин взглянул на задок саней и убедился, что номера на санях нет и четверым в этих узеньких санках не поместиться.

— Ну, пойдем, — сказал он себе, быстро шагая в холод тьмы, а через минуту мимо его пронеслась, далеко выбрасывая ноги, темная лошадь; в санках сидели двое. Самгин сокрушенно вздохнул.

Темнота показалась ему необыкновенно густой и такой тяжелой, что плечи сгибались под ее холодным давлением. Город молчал. Мертво, обездушенно стояли дома, лишенные огня, лишь изредка ледяные стекла окон скупо освещались изнутри робким блеском свеч. Должно быть, оттого, что вымер огонь, тишина была неестественно чуткой, точно туго натянутая кожа барабана. Где-то, очень далеко, стреляли, и снова вспоминалось неуместное уподобление: весна, лопаются назревшие почки деревьев. Самгин старался ставить ноги потише, но каблуки стучали, хрустел снег. Черные массы домов приняли одинаковый облик и, казалось, поскрипывая кирпичами, двигаются вслед за одиноким человеком, который стремительно идет по дну каменного канала, идет не сокращая расстояния до цели. Не было медвежьих фигур дворников у ворот, не было ни полицейских, ни прохожих. И все гуще, тяжелее становился холод торжествующей тьмы.

Самгин пытался подавить страх, вспоминая фигуру Морозова с револьвером в руках, фигуру, которая была бы комической, если б этому не мешало открытое пренебрежение Морозова к Гапону.

«Хозяин. Презирает неудачника...»

Но думалось с великим усилием, мысли мешали слушать эту напряженную тишину, в которой хитро сгущен и спрятан весь рев и вой ужасного дня, все его слова, крики, стоны, — тишину, в которой скрыта злая готовность повторить все ужасы, чтоб напугать человека до безумия.

«Ничтожен — поп. И все свидетели, писатели, солдаты и рабочие, убийцы, жертвы, зрители, все ничтожны, несчастны», — торопливо размышлял Самгин, чтоб несколько облегчить страх, оскорбительно угнетавший его.

На Невском стало еще страшней. Невский шире других улиц и от этого было пустынней, а дома на нем бездушнее, мертвей. Он уходил во тьму, точно ущелье в гору. Вдали и низко, там, где должна быть земля, холодная плоть застывшей тьмы была разорвана маленькими и тусклыми пятнами огней. Напоминая раны, кровь, эти огни не освещали ничего, бесконечно углубляя проспект, и было в них что-то подстерегающее.

Самгин приостановился, пошел тише, у него вспотели виски. Он скоро убедился, что это — фонари, они стоят на панели у ворот или повешены на воротах. Фонарей было немного, светились они далеко друг от друга и точно для того, чтоб показать свою ненужность. Но может быть и для того, чтоб удобней было стрелять в человека, который поравняется с фонарем.

Изредка, воровато и почти бесшумно, как рыба в воде, двигались быстрые, черные фигурки людей. Впереди кто-то дробно стучал в стекла, потом стекло, звякнув, раскололось, прозвенели осколки, падая на железо, взвизгнула и хлопнула калитка, навстречу Самгина кто-то очень быстро пошел и внезапно исчез, как бы провалился в землю. Почти в ту же минуту из-за угла въехали пятеро всадников, сгрудились, и один из них испуганно крикнул:

— Рысью...

Они быстро поскакали, гуськом один за другим; потом щелкнуло два выстрела, еще три и один, а после этого, точно чайка на Каспийском море, тонко и тоскливо крикнул человек. Постояв до поры, пока тишина снова пришла в себя, Самгин пошел дальше. Не верилось, что на Невском нет солдат; вероятно, они, курносенькие и серые, прячутся во дворах тех домов, пред которыми горели фонари. Да, курносенькие прячутся, дрожат от холода, а может быть от страха, в каменных колодцах дворов, а на окраинах города, вероятно, уже читают воззвание Гапона: «Братья, спаянные кровью!» — Слова эти слушают отцы, матери, братья, сестры, товарищи, невесты убитых и раненых. Возможно, что завтра окраины снова пойдут на город, но уже более густой и решительной массой, пойдут на смерть. «Рабочему нечего терять, кроме своих цепей».

Где-то, в тепле уютных квартир, — министры, военные, чиновные люди; в других квартирах истерически кричат, разногласят, наскакивают друг на друга, как воробьи, писатели, общественные деятели, гуманисты, которым этот день беспощадно показал их бессилие.

— Вожди! — мысленно крикнул Самгин, но так, что услышал крик свой вне себя и даже оглянулся. — А царь? Едва ли этот маленький человечек спокойно пьет чай...

И Самгину подумалось, что царь, так же судорожно, как Гапон, мечется в испуге пред содеянным.

Гостиница была уже близко, и страх стал значительно легче. Разгоралось чувство возмущения за себя, за все пережитое в этот день.

— Жить — нельзя! Жизнь превращается в однообразную бесконечную драму.

Дверь гостиницы оказалась запертой, за нею — темнота. К стеклу прижалось толстое лицо швейцара; щелкнул замок, взныли стекла, лицо Самгина овеял теплый запах съестного.

— Хулиганят, стекла бьют, — пожаловался швейцар; он был в пальто, в шапке, это лишало его обычной парадности, все-таки он был благообразен и спокоен, как всегда.

— Говорят девять тысяч положено? — спросил он и, так как Самгин не ответил, он вздохнул: — Вот до чего дошло! Девять тысяч...

Но, когда Клим осведомился: ходят ли поезда на Москву? — швейцар, взглянув на него очень пытливо, ответил вопросом:

— Ожидаете, что железнодорожники тоже забастуют?

Наверху лестницы Самгина встретил коридорный и зашептал:

— Вы, г. Самгин, со швейцаром не разговаривайте, он — сволочь! Полицейский прихвостень...

Этот парень, давно знакомый, еще утром сегодня был добродушен, весел, услужлив, а теперь круглое лицо его странно обсохло, заострилось, точно после болезни; он посматривал на Самгина незнакомым взглядом и вполголоса говорил:

— Двери запер, сукин сын. Стрельба, казаки налетают, бьют; люди теснятся к нам, а он — запер двери и зубы скалит, толстая морда...

Помогая укладывать чемодан, он спрашивал горячим шопотом:

— В чем же убитые виноваты? Ну, сказали бы рабочим: нельзя! А выходит, что было сказано: они пойдут, а вы — бейте!

— Да, — невольно и неожиданно для себя подтвердил Клим. — Конечно, так и было сказано?

Коридорный, стоя на коленях, завязывал чемодан, но тут он пружинно вскочил и, несколько секунд посмотрев на Клима мигающими глазами, снова присел:

— Так, — пробормотал он и, надавив чемодан коленом, матерно выругался. — Значит, теперь...

Но Самгин не слушал его воркотню, думая о том, что вот сейчас он снова услышит в холодной темноте эти простенькие щелчки выстрелов. В карете гостиницы, вместе с двумя немыми, которые, спрятав головы в воротники шуб, явно не желали ничего видеть и слышать, Самгин, сквозь стекло в двери кареты, смотрел во тьму, и она казалась материальной, весомой, леденящим испарением грязи города, крови, пролитой в нем сегодня, испарением жестокости и безумия людей. И бессонную ночь в купэ вагона он думал о безумии, о жестокости.

Дома на него набросилась Варвара, ее любопытство было разогрето до кипения, до ярости, она перелистывала Самгина, как новую книгу, стремясь отыскать в ней самую интересную, поражающую страницу, и легко уговорила его рассказать в этот же вечер ее знакомым все, что он видел. Он и сам хотел этого, находя, что ему необходимо разгрузить себя и что полезно будет устроить нечто вроде репетиции серьезного доклада.

Вечером собралось человек двадцать, пришел большой, толстый поэт, автор стихов об Иуде и о том, как Сатана играл в карты с богом; пришел учитель словесности и тоже поэт — Эвзонов, маленький, чернозубый человек, с презрительной усмешкой на желтом лице; явился Брагин, тоже маленький, сухой, причесанный под Гоголя, многоречивый и особенно неприятный тем, что всесторонней осведомленностью своей о делах человеческих он заставлял Самгина вспоминать себя самого, каким Самгин хотел быть и был лет пять тому назад. Преобладали мужчины, было шесть женщин, из них Самгин знал только пышнотелую вдову фабриканта красок Дудорову, ближайшую подругу Варвары; Варвара относилась к женщинам придирчиво критически, — Самгин объяснял это тем, что она быстро дурнела.

Всех приятелей жены он привык считать людьми «третьего сорта», как назвал их Властов; но они, с некоторого времени, стали будить в нем чувство зависти неудачника к людям, которые устроились в своих «системах фраз» удобно, как скворцы в скворешнях. Их фразы в его ушах звучали все более раздражающе громко и уже мешали ему, так же, как мешает иногда жить неясный мотив какой-то старинной песни, притязательно требуя, чтоб его вспомнили точно. Люди эти читали другие книги и как будто хвастались этим друг пред другом. Дудорова и Эвзонов особенно много знали авторов, которых Самгин не читал и не испытывал желания ознакомиться с ними.

— Ириней Лионский, Дионисий Галикарнасский, Фабр д'Оливэ, Шюре, — слышал Самгин и слышал веские слова: любовь, смерть, мистика, анархизм. Было неловко, досадно, что люди моложе его, незначительнее и какие-то богатые модницы знают то, чего он не знает и что дает им право относиться к нему снисходительно, как будто он — полудикарь.

Но в этот вечер они смотрели на него с вожделением, как смотрят любители вкусно поесть на редкое блюдо. Они слушали его рассказ с таким безмолвным напряжением внимания, точно он столичный профессор, который читает лекцию в глухом провинциальном городе обывателям, давно стосковавшимся о необыкновенном. В комнате было тесно, немножко жарко, в полумраке сидели, согнувшись, покорные люди, и было очень хорошо сознавать, что вчерашний день — уже история.

Самгин старался выдержать тон объективного свидетеля, тон человека, которому дорога только правда, какова бы она ни была. Но он сам слышал, что говорит озлобленно каждый раз, когда вспоминает о царе и Гапоне. Его мысль невольно и настойчиво описывала восьмерки вокруг царя и попа, густо подчеркивая ничтожество обоих, а затем подчеркивая

их преступность. Ему очень хотелось попугать людей, и он делал это с наслаждением.

Когда он кончил, слушатели осторожно зашевелились, как бы пробуждаясь от тяжелой дремоты; затем, сначала — шопотом, нерешительно заговорили, обращаясь не друг к другу, а как-то в воздух. Первый высказался Эвзонов, он встал и, доставая папиросу из портсигара, сказал, обнажив черные зубы:

— Этот кошмар невозможно объяснить столкновением классовых противоречий, нет, это нечто поглубже, пострашней...

— О, да, — согласилась Дудорова, хрустя пальцами. — После этого Россия или вознесется к свободе или окончательно падет в бездну...

Кто-то из мужчин сказал могильным голосом:

— Нанесен удар, смертельный удар, не только идее самодержавия, но — идее личности.

Самгин молчал, ожидая более значительного. Подошла жена в гладком, бронзового цвета платье, оно старило ее и делало похожей на карикатурно преувеличенную подставку для лампы.

— Ты отлично говорил, — сказала она с искренним изумлением. — Замечательно! Какое богатство деталей и как ты умело пользовался ими! Честное слово, было даже страшно иногда...

В ее изумлении Самгин не нашел ничего лестного для себя, и она мешала ему слушать. Человек с напудренным лицом клоуна, длинной шеей и неподвижно вытаращенными глазами, оглядывая людей, напиравших на него, говорил не громко, но так, что слов его не заглушал ни шум отодвигаемых стульев, ни возбужденные голоса людей, уже разбившихся на маленькие группки.

— Человек — свят! Христос был человек, победивший Дьявола. После Христа врожденное зло перестало существовать. Теперь зло — социальная болезнь. Один человек — беззлобен.

Могильный голос возражал:

— Это какой-то теологический анархизм...

А Дудорова кричала:

— Народ не делает ни добра, ни зла, только материальные вещи...

Большой, толстый поэт грыз бисквиты и говорил маленькой даме в пенснэ:

— Человек имеет право быть Иудой, Геростратом...

— Говорите, что вам угодно, а все-таки революция — неизбежна!

Это повторялось на разные лады, и в этом не было ничего нового для Самгина. Не ново было для него и то, что все эти люди уже ухитрились встать выше события, рассматривая его как не очень значительный эпизод трагедии глубочайшей. В комнате стало просторней, менее знакомые ушли, остались только ближайшие приятели жены; Анфимьевна и горничная накрывали стол для чая; Дудорова кричала Эвзонову:

— Ибсен — педант, педант...

Самгина уже забыли, никто ни о чем не спрашивал его.

«Сыты», — иронически подумал он, уходя в кабинет свой, лег на диван и задумался: да, эти люди отгородили себя от действительности почти непроницаемой сеткой слов и обладают завидной способностью смотреть через ужас реальных фактов в какой-то иной ужас, может быть, только воображаемый ими, выдуманный для того, чтоб удобнее жить.

Потом он думал еще о многом мелочном, думал для того, чтоб не искать ответа на вопрос: что мешает ему жить так, как живут эти люди? Что-то мешало, и он чувствовал, что мешает не только боязнь потерять себя среди людей, в ничтожестве которых он не сомневался. Подумал о Никоновой: вот с кем он хотел бы говорить. Она обидела его нелепым своим подозрением, но он уже простил ей это, так же, как простил и то, что она служила жандармам.

— Другого человека я осудил бы, разумеется, безжалостно, но ее — не могу! Должно быть, я по-настоящему привязался к ней, и эта привязанность — сильнее любви. Она, конечно, жертва, — десятый раз напомнил он себе.

На другой день утром явился Гогин и предложил ему прочитать два-три доклада о кровавом воскресеньи в пользу комитета. После истории с Никоновой Самгин смотрел на Гогина, как на человека, который увел у него жену, но читать охотно согласился. Он значительно расширил рассказ о воскресеньи рассказом о своих наблюдениях над царем, интересно сопоставлял его с Гапоном, намекал на какое-то неуловимое — неясное и для себя — сходство между ними, говорил о кочегаре, о рабочих, которые умирали так потрясающе просто, о том, как старичок стучал камнем в стену дома, где жил и умер Пушкин, — о старичке этом он говорил гораздо больше, чем знал о нем. После каждого доклада он чувствовал себя умнее, значительней и чувствовал, что, чем более красиво рисует он все то, что видел, — тем менее страшным становится оно для него. Но он очень хотел, чтоб людям было страшно слушать, чтоб страх отрезвлял их, и ему казалось, что этого он достигает: людям — страшно. Однако он видел: страх не долго живет в людях, убежденных, что они могут изменить действительность, приручить ее.

«Какое легкомыслие», — думал он и озлоблялся против дерзких.

— Я поражена, Клим, — говорила Варвара. — Третий раз слушаю, — удивительно ты рассказываешь! И каждый раз новые люди, новые детали. О, как прав тот, кто первый сказал, что высочайшая красота — в трагедии!

Слушая ее похвалы, Самгин делал равнодушное и усталое лицо.

— Это не дешево стоит мне.

— Я думаю, — соглашалась Варвара.

(Окончание следует).

Легкая служба.

(Рассказ).

Пантелеймон Романов.

К заведующему государственным ювелирным магазином зашел приятель.

— Степановна, дай-ка нам чайку, — сказал заведующий и, очистив место для чая за столом, пригласил приятеля присесть.

— Что, ай мало работы? — спросил приятель, ища, куда положить шапку.

— Малость.

— Так что служба не тяжелая?

— Служба, можно сказать, приятная, — сказал заведующий. — Только и вздохнул, когда в государственный магазин перешел. А вот когда молодым еще у Мозера работал, так не дай бог.

— Известное дело — хозяйчики, умели соки из нашего брата выжимать.

— Да... уж это что там... Бывало весь день смотришь в оба глаза, да еще ночью проснешься, весь потом обольешься, вдруг вспомнишь, что отпустил часы с непроверенным ходом, или, скажем, какую-нибудь вещицу с браком. А теперь принесут обратно часы негодные — я-то при чем, такие мне присланы, магазин казенный. Вон идет какая-то мадам, она вчера у меня часы покупала, — наверное, обратно несет.

В магазин вошла дама в котиковой шубе и сказала, подавая заведующему коробочку с часами:

— Какие же вы часы отпустили, они в день на полчаса отстают!

Заведующий, не вставая, посмотрел на посетительницу и сказал:

— Что ж делать... Охотно верю, гражданка, я не могу за них отвечать, — магазин не мой, а государственный: что мне присылают, то я и продаю. Оставьте, проверим. — Фокстрот танцуете?

— При чем тут фокстрот? — сказала, испуганно покраснев, дама.

— При том, что трясете их очень, а часы еще новые, не обошлись. Оставьте, проверим.

— А когда можно будет притти?

Заведующий, прищурив глаз, посмотрел в окно, подумал и сказал:

— Приходите через неделю.

— Только, пожалуйста, чтобы были как следует.

— Так будут, что лучше и быть не может, — сказал заведующий, галантно поклонившись.

Дама ушла, а он посмотрел на часы, покачал, усмехнувшись, головой и сказал:

— Если бы это у Мозера она так пришла, что бы тут было! Вот бы пыль-то поднялась! От такой штуки десять ночей бы не спал, да, глядишь, со службы еще турнули бы: как так, у Мозера часы на полчаса в сутки отстают! А теперь ко мне в день по пяти человек таким манером ходят. Ну, конечно, повежливей скажешь, что отдам на проверку, она уж и рада. А вот тебе вся и проверка, — сказал заведующий, отправляя часы в свой ящик. — А вот еще одна идет.

В дверях показалась какая-то женщина в беличьей шубе и застряла в дверях, зацепившись за ручку двери своими покупками.

— Что же вы мне часы исправляли, а они опять вперед бегут?

— Не может быть, гражданка, целую неделю выверяли. Вы, может быть, их стукнули обо что-нибудь?

— Обо что же я их стукнула?

— Ну, мало ли обо что стукнуть можно... — сказал заведующий, хитро улыбаясь, — позвольте-ка мне часики.

Он мягко взял своей сухой рукой золотые часы и открыл крышку.

— Признайтесь, что стукнули.

— Да уверяю вас — нет. Может быть, как-нибудь слегка, я не знаю..

— Ну, вот видите, слегка, а для таких часов и слегка вполне достаточно. И какие вы беспокойные... Ну, что такого, что бегут?

— Как же «что такого?», когда их на пятнадцать минут каждый день приходится назад переводить, — прямо никакой возможности нет.

— А вы сразу их на сутки назад поставьте, вот вам на целых два месяца хватит. Оставьте на две недели.

— Послушайте, ведь я уж на две недели их оставляла.

— Тогда — на три, — сказал заведующий.

— Но нельзя ли скорее?

— Мадам, — сказал заведующий, — если бы был частный магазин, где к делу относятся спустя рукава, то я сказал бы вам на другой день приходить, а это магазин — государственный, где все делается как следует.

— Ну, хорошо, только, пожалуйста, как следует сделайте.

— В лучшем виде будет, — сказал заведующий. И когда дама ушла, он, опуская часы в тот же ящик, куда опустил и первые, сказал: — отправлены на проверку.

— А покупателей-то много?

— Нет, теперь много меньше стало. Теперь больше покупают подержанные. Новых что-то бояться стали. По делу магазин можно бы на два часа открывать, вполне было бы достаточно.

— А не опасаешься, что магазин закроют?

— Ну, что же, меня в другой переведут, если я себя честным работником зарекомендовал. А за мной ни одного проступка не числится: на службу прихожу аккуратно, растрат у меня ни разу не было, с покупателями обращение деликатное, сам видал. Чего еще? Ежели бы меня сейчас опять к Мозеру посадили, я бы там через месяц чахотку схватил, ей-богу.

— Не дай бог, — сказал приятель. — Эти умели сок выжимать.

— Степановна, дай-ка еще чайку нам. Да, вот какие дела-то.

В магазин вошел какой-то человек с портфелем.

— Часы готовы? — спросил он торопливо.

— Готовы давно, пожалуйте, — сказал заведующий, — вчера еще из мастерской пришли, — разрешите, я только проверю. Они, что̀, отставали у вас?

— Да, немного.

— Так... ну, теперь не будут отставать, — сказал заведующий, что-то покопавшись в механизме.

И, когда покупатель ушел, он прибавил:

— Точные люди какие, подумаешь, немного отстают, а он уж тащит их. Это, если бы все их в мастерскую отправлять, от них житья бы не было. Ну, ежели уж совсем не ходят, тогда другое дело.

— Теперь городских часов много, — сказал приятель, — захотел узнать время, возьми да повороти рыло: на каждой площади. А у меня так и вовсе перед окном.

Приятели просидели еще с час.

— Да, — сказал приятель, — вот небось завтра этот гражданин проснется, посмотрит на часы, а они, глядишь, махнут минут на двадцать. А тебе горя мало. В крайнем случае скажешь, что, мол, общая разруха, вследствие блокады, частей не хватает. — Да, — заметил гость задумчиво. — Я вот про свое книжное дело скажу: послал в Ленинград печатать книгу, так мне ее там четыре месяца держали, сам ездил, две банки чернил на телеграммы исписал. Ведь за этакую штуку прежде бы неустойку какую содрали, а теперь никак его не укусишь, только и слышишь: через неделю получите. А намедни приезжаю, — говорят уже — через две. И так во всем.

— Да, — сказал заведующий, потом посмотрел в окно и прибавил. — Вон опять еще один идет. Э, чорт их возьми, надоедают с этой проверкой, — надо теперь на месяц оставлять!

Машинка.

(Рассказ).

Пантелеймон Романов.

Курьер одного из советских учреждений, сидя в коридоре на диванчике с решетчатой спинкой, вертел в руках какой-то пакет и говорил с раздражением:

— Ну, вот, где его черти душат? Уж часа два, знать, как ушел, и все нету, а тут пакет срочный к двум часам надо доставить.

Сидевший рядом с ним человек в рваном пиджаке и больших сапогах, очевидно дожидавшийся, когда откроют кассу, повернул к нему голову и спросил:

— С народом беда, все норовят прогулять.

— Он, чорт, гуляет, а дело из-за него стоит, — сказал курьер, не оглянувшись на говорившего. — И все, ровно мухи, сонные ходят! А наших, вон, барышень возьми, нешто это работа! Все только в бумаги смотрят сидят.

Он махнул с раздражением рукой и откинулся на спинку диванчика, потом повернулся к собеседнику.

— А все потому, что строгости настоящей нет. Бывало, начальник войдет, так дрожат все, а нынче начальник — не пищи, а то сам вылетишь, вот и идет все дуром. Ну, чорт его возьми! Ведь в одиннадцать часов ушел! Где может пропадать человек?

Из кабинета напротив вышел служащий в пиджаке и косоворотке и, наткнувшись глазами на курьера, удивленно сказал:

— Товарищ Анохин, ай уж снес?

— Какой чорт снес — не ходил еще! Сухов кудай-то запропастился, отойтить нельзя. Ведь вот сукины дети!..

— Ты смотри, опоздаешь так. В такую лужу тогда посадишь, что и не выпутаешься.

— Да нет, опоздать не опоздаю, еще полтора часа времени есть, — только досада берет, что головы пустые, ничего с ними делать нельзя.

Служащий ушел, а курьер продолжал:

— Сейчас кажный против прежнего вдвое меньше прежнего работает. У нас уж чего только ни делают: и номерочки придумали, чтобы

все во-время на службу приходили, и расписываться заставляли — ни черта не выходит. Вот этот Сухов пошел — там всего на десять минут и дела, а он второй час где-то путается, — пойди его учти. Конешно, человек рассуждает таким манером: «Прохожу я час или десять минут, все равно я больше того, что получаю, не получу».

— Я вот кассира второй день дожидаюсь, — сказал человек в пиджаке, — вчерась сказали, что в банк ушел за деньгами, а покамест он ходил, четыре часа подошло, кассу закрыли. Сейчас тут сидит, а кассу все не открывает, потому что, говорят, счета какие-то проверяет.

— А у тебя у самого, небось, там дело стоит! — сказал курьер.

— А как же! Меня там двадцать человек десятников дожидаются, а тех своим чередом кажного, небось человек по пятьдесят рабочих ждут. Я тут папироски вторые сутки курю, а они, небось, там тоже покуривают... Беда... А вот уж на серый хлеб перешли.

— С таким народом — и на черный перейдешь, — сказал курьер и вдруг вскочил с места. — Вот он, лихоманка его убей! Где тебя черти душили? — крикнул он на вспотевшего малого в картузе, который показался в дверях с разносной книгой.

Малый снял картуз, утер рукавом лоб и, огрызнувшись, сказал:

— Где душили!.. Нешто их, чертей, поймаешь. Один придет, другого нет. Накладную выписали, — подписать некому. А тут — глядь, закрыли. Там до часу только принимают.

— Э, чорт!.. Ну, сиди тут, сам понесу, — вам, чертям, поручи — и не обрадуешься.

Курьер снял с гвоздя картуз и пошел к двери.

— Пойду и я, видно, — сказал человек в пиджаке.

— Отдать бы нас на выучку к немцам, — сказал курьер, когда они вместе вышли на улицу, — вот это был бы толк. Вон, погляди, пожалуйста, как работают, — сказал он, указав на стройку, по которой ходили мужики в фартуках, — ты погляди, как он идет: вишь нога за ногу заплетает.

— Что ж, он строит не себе, — вот и ходит так.

— Да он и себе-то стал бы строить, все равно то же было бы. Вишь, теперь вовсе остановился, зевает на прохожих.

Когда курьер с человеком в пиджаке повернули за угол, в углублении около стены дома они увидели толпу: стоявшие сзади приподнимались на цыпочки, стараясь заглянуть в середину.

— Чтой-то там? — сказал курьер.

— Так на что-нибудь глазеют, — сказал его спутник.

Курьер поднялся на цыпочки. Там стоял человек и показывал машинку для резки овощей. Он брал морковь, всовывал в трубочку, вертел ручку, и из машинки выскакивали фигурные кружочки моркови. Все стояли и смотрели, подходили новые зрители и, приподнявшись на цыпочки, замирали на месте, глядя, как выскакивают кружки.

Покупать никто не покупал, — очевидно, машинка никому не была нужна.

Некоторые, бежавшие очень поспешно, очевидно, по срочному делу, тоже вдруг останавливались и стояли довольно долго, с сосредоточенным молчанием глядя на выскакивавшие кружки.

— Купить, что ли, хочешь? — сказал спутник курьера, дернув его сзади за рукав.

— Нет, так посмотреть. Куда ж мне ее? И чорт их, — придумают тоже. Вот людям делать-то нечего. Заместо того, чтобы полезное что выдумать, они вон фигурки из морковки выдумали резать. Ой, мать честная, как бы не опоздать, — сказал испуганно курьер и хотел отойти, но в это время продавец сказал:

— А теперь я переставляю эту пружинку сюда, беру яблоко, кладу об это место и что происходит...

Курьер остался на месте, чтобы посмотреть, что произойдет. Но у машинки что-то испортилось, и продавец, сконфузившись, стал исправлять ее, а из публики стали доноситься иронические замечания:

— Села... — сказал кто-то.

— Покамест на машинке настругаешь, без машинки уж пообедать успеешь.

Остальные стояли и покорно ждали, когда будет исправлена машинка.

— Ну, это никогда не дождешься, — сказал курьер, повернувшись, несколько человек тоже отошло было, но в это время машинка оказалась исправленной.

— Теперь смотрите, что̀ будет, — сказал продавец.

— А, будь ты неладен! — сказал курьер, — простоишь тут, потом сломя голову бежать придется. — И стал смотреть, как яблоко начало вертеться на машинке и с него длинной полосой сходила кожица.

Иронические возгласы замолкли, повернувшиеся было уходить — остановились опять.

— Ведь что глупей этого, — сказал курьер, покачав сам с собой головой, — машинка мне эта ни на чорта не нужна, самому спешить нужно, а вот стоишь и смотришь. Вишь сколько народу собрал, а у людей, небось, дело поважней его машинки. У, сукины дети!..

И он хотел было уходить, но в это время сзади кто-то сказал:

— Старичок, посмотрел, — отходи, дай место другим, — ведь все равно не купишь.

— Тут места не заказанные, — сказал курьер обиженно и упрямо продолжал заслонять собой дорогу хотевшему посмотреть человеку.

— Вот чорт-то, — сказал человек, желавший увидеть машинку, — старый человек, а недотрога.

— Они тоже старые всякие бывают, — отозвался кто-то.

Курьер упрямо продолжал стоять, не оглядываясь, не обращая внимания на выпады против него.

— Теперь кладем сюда репу!..

Курьер машинально взглянул на городские часы, бывшие напротив, и вдруг, расталкивая толпу, бросился чуть не бегом по улице.

— Что̀ он очумел, что ли? Вот чумовой чорт! — говорил какой-то человек, прыгая на одной ноге, так как курьер отдавил ему ногу.

— Так и знал, что опоздаю, — говорил курьер сам с собой. — Закрыто!

Когда он через полчаса вернулся измученный назад, служащий в косоворотке стоял в коридоре и с нетерпением поглядывал в окно на улицу. Увидев курьера, он бросился к нему.

— Где тебя черти душили?

— Где душили... нешто их чертей на месте найдешь! Один придет, другого нет. А тут два часа подошло — глядь, закрыли.

Аджарские рассказы.

Глеб Алексеев.

I.

Сады земли.

Сердце мое — не скатерть, чтобы раскрывать его перед прохожими, и у меня нет бороды, чтобы слова мои имели значение, но ты, путник, присевший к костру, хочешь знать о девушках из Кобулет, забывших — о, Иншала! — чему учит Коран. Ухо не растет от того, что много слышит; — но, отдаваясь идущей ночи, день уже прячется под широким ее халатом, а вымершее небо не осветит твоего пути. Садись и слушай, пока заря не подкрадется, как волк к сладкому пастушескому костру.

Их звали Мамед, Мурад и Демурчи, и дни их жизни — по воле Аллаха — бежали одинаковые, как пузыри из-под мельничных колес. Все трое владели пышными садами, были в меру милосерды и правоверны, ожидая каждый по заслугам своим блаженства в садах Аллаха. Но знаешь ли ты, путник, о блаженных садах Аллаха? Глаза твои, пустые, как летний дом курда, выдают твое незнание. У входа в рай покоится озеро, прозрачная вода которого стекает в него из рек, плещущих в саду. Отпив из озера и тем глотком на вечные времена утолив жажду, достойные милости Аллаха проходят к дереву таба, прикрывающему тенью весь сад. Таба так велика, что ничей взор не смеет охватить ее вершины. Ветви ее под тяжестью плодов наклоняются к земле, и нет труда правоверному достать прекраснейший плод, чтоб насытиться. В ветвях табы не умолкает пение птиц, пению птиц вторит каждая ветка, каждый лист и серебряные колокольчики, подвешенные к ветвям. Под сладостную тень табы к правоверному сходят его жены, с которыми прожил он земную жизнь, но на земле жены старятся с быстротой голубиного крыла, а в садах Аллаха они пребывают вечно молодыми. Но велика щедрость Аллаха! — кроме жен каждому достойному его милости посылает он семьдесят гурий — дев необыкновенной красоты и прелести; гурии услаждают своего господина пением и плясками и вечно пребывают в девственности, даже после того, как отдаются своему господину.

Быстро бежит стадо волков от лихих охотников, но еще быстрее бегут дни человеческой жизни, и все трое — Мамед, Мурад и Демурчи — поджидали заслуженного их трудами блаженства со спокойствием, с каким я не смею ждать рассвета у своего костра. Их бороды становились белее с каждым годом, пока не сделались белыми, как морская пена, их походка становилась все медленнее, пока не стала отставать от шага самого ленивого буйвола. Тогда они пришли в кофейню Садык Айваза и сели за нарды, чтобы в мудром ожидании старости вопрошать о счастьи изменчивую кость.

И вот однажды трое дочерей их пришли сказать отцам, что они снимают чадры и едут учиться в Батум.

— Хафиза, — спросил Мамед (старейший и самый мудрый из трех отцов) свою дочь (красивейшую из трех девушек), — что̀ случилось, во имя Аллаха?

— Нас — трое, — отвечала девушка, — и мы хотим научиться жить так, как живут рыжеволосые женщины Севера, приезжающие к нам, когда теплеет море. Нам нужны сады жизни, а не сады небес.

— Хафиза, — спросил, удивляясь, Мамед, — да ниспошлет тебе бог твою долю счастья, но с каких пор сады земли лучше садов великого Аллаха?

— С тех пор, — отвечала Хафиза, — как свеча в руке слепца стала светить ему самому...

И этот мудрый ответ так понравился старейшему из отцов, что все трое отпустили своих дочерей пастись в садах жизни, чтобы опыт земных садов они принесли с собой в вечные сады Аллаха. Тогда девушки сняли чадры и уехали в Батум, а старцы закончили прерванную партию в нарды в кофейне Садык Айваза.

Быстро бежит стадо волков от лихих охотников, но еще быстрее бегут дни человеческой жизни. Прошел год, и опять наступило лето, и опять приехали с Севера женщины с волосами сгоревшей горной травы. О, путник, я никогда не был в Батуме, но многое слышал я о женщинах прохладной советской земли! Что гурии в садах Аллаха, когда сотни прекраснейших гурий на батумском берегу ласкают взор каждого прохожего, даже если он — грешник и недостоин склонить голову в тени великолепной табы? Что̀ звон серебряных колокольчиков и пение райских птиц, если голоса московских женщин звучат незабываемой даже во сне мелодией. «Пение песен и слушание их порождают в душе лукавство, как сырость порождает сорные травы», — так учил правоверных Магомет. Но, путник, я — пастух и знаю, что козы и овцы, дающие правоверным молоко, питаются сорными травами. И, слыша говор прохожих о том, что три девушки из Кобулет купаются вместе с московскими женщинами и так же прекрасны лицом и телом, как они, и, может быть, еще прекраснее, я благословлял прохладный ветер советов, сорвавший с них чадру. Но я — пастух, у меня нет ни садов, ни мандаринов, и потому я был храбр осторожной храбростью собаки, храброй у ворот своего

хозяина, и никогда не пытался возражать юношам из Кобулет, которые приходили спрашивать стариков: — кто возьмет в жены их дочерей, если не только лицо, но и тело свое они открыли каждому мужскому взору? Девушка как молоко: — оно скисает от жаждущего взора; — поэтому девушек и прячут под чадру. И вот, наконец, отцы увидели, что, уступая женихам, которые тем больше снижали цену выкупа, чем дольше оставались девушки в Батуме, — они не получат даже того, что стоило им воспитание дочерей, что цена выкупа не согреет их старости, не поправит провалившейся крыши, как хотел того благочестивый Мурад, не приведет новых буйволов, как хотел того благонравный Демурчи. Посоветовавшись, они послали сказать в Батум, чтоб возвращались дочери к родным очагам, ибо ждут их — во имя Аллаха! — отцы и мужья.

Но девушки надели на головы красные платки и отвечали отцам, что немудрые плоды из садов земли вкуснее великолепных плодов табы. Старый Мамед улыбнулся: в их ответе признал он острый язык Хафизы.

Но старый Мамед был не только мудр, он был добр, а доброта — пресное и неутоляющее питье для того, кто жаждет напиться из озера садов Аллаха. Он оставил дочь в Батуме. Но тогда пришли к старцам родичи их и спросили: — как они, старейшие, блюдут честь своего рода? И самый молодой из рода Мурада, отважный контрабандист Сабид, не однажды проносивший на себе духи, пудру и тонкое сукно из Трапезонда и не однажды отведавший горькую соль советских пуль, спросил старейшего и мудрейшего Мамеда о законах Шариата, нарушенных преступной Хафизой, открывшей лицо свое и душу чужому ветру, приносящему с Севера любящих пудру женщин и пули для юношей, которые добывают пудру для светловолосых, но любить умеют только своих, прикрытых чадрою.

И от этих слов замолчали все родичи, ибо они знали, что трижды приходил Сабид предлагать Мамеду богатый башлук за дочь, каждый раз уменьшая, однако, цену: женщина — не вино, чтобы выдерживать ее в годах.

— Я бы желал, — усмехаясь, добавил Сабид, — чтобы ты, мудрейший из мудрых, был постоянно окружен дочерьми...

Старший сын Мамеда ухватился за кинжал, но Мамед отвел сыновью руку и, указав обидчику на порог, отвечал голосом тихим, со всей учтивостью старейшего в роде:

— Я хочу, чтобы бог послал тебе счастье в полной мере, как ты заслужил того, а, послав, чтобы тут же отнял, чтобы ты отведал его сладость, а насладиться им не успел...

Но, уступая законам предков, стерегущих честь рода, Мамед в тот же вечер призвал к себе старшего сына и сказал:

— Ты — храбр, Мемет, и дай тебе бог тысячу рук, чтоб каждая из них поразила обидчика, оскорбившего мою старость... Но сегодня я, твой отец, прошу у тебя лишь одну для Хафизы.

Сказав так, он наклонил голову, и все видели, как чистая слеза мудрейшего, всей своей жизнью заслужившего лучший плод табы, скатилась в его бороду. Тогда все замолчали и разошлись каждый по своим делам: в свои сады, чтобы подрезать мандарины, к своим буйволам или в горы искать новых путей за тонким сукном в Трапезонд. И так же мудро поступили друзья Мамеда — Мурад и Демурчи, призвавшие к себе старших своих сыновей.

Но, путник, — вот взошла луна, пусть светит она тебе в лицо, как твое счастье, — что может еще сказать тебе пастух, стерегущий чужих овец? Ты так же светел волосами, как те, что стерегут храбрых юношей, проносящих сукно, и я не знаю твоих мыслей. Ты помнишь сам праздник в Батуме, когда девушки и юноши с Севера шли по городу, а с ними были Хафиза и ее подруги. Они несли флаги и пели северные, известные тебе, песни. И ты знаешь, что к вечеру Хафизу и ее подруг нашли мертвыми на берегу.

Быстро бежит стадо волков от лихих охотников, но еще быстрее бегут дни человеческой жизни, и уже недалек тот день, когда дрожащие руки Мамеда и его друзей (каждый из них потерял по сыну и по дочери) выпустят нарды, чтобы взяться за плоды прекрасной табы в гостеприимных садах Аллаха. Еще дальше, еще пышнее расцвела на аджарских холмах слава мудрейшего Мамеда Оглы Дервича, когда, выслушав весть о смерти Хафизы, он выпустил из руки пытающие счастье кости и сказал:

— Но сама себя свеча не освещает....

У меня нет ни садов, ни мандаринов, я лишь — пастух, стерегущий чужих овец на проклятых Магометом травах, но если бы Хафиза пришла ко мне разделить скудную мою трапезу и мой труд, я бы не прикрыл — о, Иншала! — ее лица: — если свеча в руке слепца не светит ему самому, тем ярче светит она другим... Но иди, путник!.. Опасны тропы Аджаристана, а волк всегда приходит туда, где много о нем говорят...

II.

Сисхлис Агеба.

Ты будешь меня судить, товарищ, но я — стар, и ты — стар, наши жизни перегнали наши желания, и желания уже не ведут нас, а влекутся за нашими плечами. Кто не думает, когда сидит — тот удивляется, когда встает, но я думал всю жизнь, и возмездие, которое отогреваешь ты в своей руке, не удивит меня суровостью.

Ее звали Айше, как младшую жену пророка, и ей было семь лет, когда в последний раз я видел неприкрытое ее лицо. Но женщина в семь лет бывает лицом такая, какой будет она в семнадцать, и я решил взять ее в жены и стал копить башлук для ее отца. Триста рублей золотом захотел отец ее, и триста рублей золотом я скопил, как один рубль, когда к отцу ее пришел Мемет Хаджи и дал ему триста пятьдесят. Гнев мой

был так велик, что когда счастливый жених прислал мне пирог, приглашавший на свадебный пир, я спрятал в рукаве кинжал и принял приглашение. Мы танцовали свадебные пляски, а в соседней комнате танцовали женщины, и, слыша смех Айше, до рассвета кружился я в паре с женихом, лицо которого пылало, будто начищенный кофейник. Десять раз моя рука ловила в пляшущем рукаве кинжал, но десять раз я останавливал свою руку:

— Безумная, — говорил я, — ты хочешь поразить его. в утре, не отведавшего спокойного блаженства дня... Он умрет с улыбкой счастья и, принеся ее в сады Аллаха, с нею проживет вечную жизнь...

Я пил с ним из одного кубка, а по окончании пира он протянул мне руку дружбы и оставил ночевать в своем доме. Я бодрствовал всю ночь, оберегая его сон, — с той ночи его враги стали моими врагами, его друзья стали друзьями мне, ибо ненависть моя была так велика, что вместила в себя всю силу дружбы и любви.

И с той ночи прошло двадцать лет. Они пролетели, как один день, заботливо освещенные солнцем моей ненависти. Они зажигались один от другого, горели все ярче, как звезды, сверкающие тем ослепительнее, чем глубже становится над миром ночь. Каждое утро я начинал с мысли, что сегодня пришел, наконец, день моего торжества, и каждое утро я откладывал, чтоб насладиться моим торжеством завтра, ибо было оно так велико, что выпить его до дна сегодня у меня не хватало решимости. Ты знаешь, товарищ, как много жизни утекло за эти двадцать лет. Ты знаешь, что аджарские холмы посетило великое несчастье войны, и в тот день, когда с Чороха ударили турецкие пушки, нас угнали в Сибирь, чтоб мы не мешали великой войне народов, ибо мы были русскими по земле и турками по вере. Наших жен — Мемета и мою — оставили в Махинджаури, но я не печалился о судьбе женщин: — Мемет был болен, и я, как собака, ходил за ним в холодных минусинских степях. Я проклинал смерть, грозившую вырвать усладу из-под руки, и день, когда Мемет очнулся от тифа и сказал: «Видишь, я не ушел от тебя... Аллах не хочет лишить тебя справедливого счастья...», был счастливейшим в моей жизни. Твердо решил я ждать конца войны, — в минусинском снегу Мемет не проклял бы, а благословил мой кинжал. И все те годы, что для блага отечества твоих отцов, товарищ, мы просидели в сибирских снегах, я заботился о Мемете, как о родном сыне, отдавая ему свою бурку в холодные ночи и свой хлеб в голодные дни. Он принимал мои жертвы без благодарности, он привык к ним и не видел их, как не видит человек заботливости отца и любви матери, он стал требователен и зол. Он издевался надо мной, заставлял выносить свою парашку, дежурить за него по ночам, и никогда в глазах его не таяло колкое облако насмешки: — он хорошо знал, что мой кинжал поразит его в минуту наиболее полного его счастья, а не в минуту наиболее горькой его беды.

А когда пробил великий час освобождения твоей и моей родины, товарищ, — Мемет и я вернулись к опустошенным нашим садам, в кото-

рых под женской рукой ничего не росло, кроме лука и чеснока, к развалинам наших домов, в которых гнездились лесные совы, распуганные стуком пушек. Я не узнал жену — старо и горько стало лицо ее; Мемет сказал мне, что он не узнал Айше, когда по возращении снял с нее чадру, чтобы приблизить к себе. Но еще долго мы не могли вкусить радости освобождения и не раз всем селением уходили в горы, пока спорили твои братья: кому из них владеть свободой? Наконец, с Севера пришли решительные люди советов, дали нам землю, заверив нас, что отныне мы будем не только копать сады, но и пользоваться их плодами. И снова прошло пять лет, пока насаженные яблони и мандарины вложили в наши руки теплый плод, а на крышах наших домов засветилась новая черепица. Наши сады — мой и Мемета — были по желанию моему рядом, и Мемет, облокотясь на общий забор, часто говорил мне, что ближний сосед лучше дальнего родственника; наши сыновья росли вместе, как стадо молодых козлят; — и дня возмездия я ждал со спокойствием ловца, напавшего на след: недолог был час ожидания, а терпение — ключ к радости.

И, видя спокойствие мое, Мемет стал подсмеиваться надо мной, превратя ожидание мое в шутку, и смех его звучал благодушно, как затерявшийся в горах гром.

— Мустафа, — спрашивал он, смеясь, — что ж ты будешь делать, когда убьешь меня?

Эти слова приносились ветром его беспечности или беспечностью он прикрывался, как буркой.

— Ты умрешь со скуки, как покинутый хозяином пес, — продолжал Мемет.

Но я не удостаивал его ответом, и молча мы шли играть вечернюю партию в нарды в кофейне уважаемого Садык Айваза.

Я холил ненависть мою, как редчайший цветок, ибо сказано мудрейшими: «кто сильно полюбит — оттолкнет, а слишком оттолкнет — полюбит». И всякое утро начинал с благодарности великому Аллаху за то, что он — мудрейший из мудрых — наполнил мою жизнь единой заботой, прикрыв неутолимостью единой заботы иные человеческие дела. Посылал ли Аллах урожай Мемету, — я радовался его урожаю больше, чем своему, ибо недорога жизнь тому, кто, поднимаясь от порога, уносит с собой все имущество. Рождался ли у него сын, — я радовался рождению сына, на ресницах которого уже висела слеза, оплакивающая мертвого отца. Я желал ему удачи и счастья на каждый день, — легко расстаются с жизнью те, в прошедшие дни которых упала печаль. И так молился я Аллаху в час вечерней молитвы:

— Дай ему счастье, милосердый, такое, чтоб не уложилось оно в нем от сапогов до шапки, чтоб било фонтаном из глаз его, из уст, из ноздрей его... Чтоб возлюбил он жизнь неистовей блаженства в волшебном твоем саду. Чтоб, умирая, кричал, как раздавленная кошка, но не от боли, а от жалости за то, что теряет, и в жадности скреб землю ногтями... Кто много пьет, — тот жаждет еще больше.

Все дни мы проводили вместе. Возросшие сыновья освободили нас от трудов, а старость вложила в наши руки кости нард, а в уста табак и кофе, чтобы мы охотнее вспоминали прошлое и делились опытом жизни с теми, кто должен уберечь наше имя в веках. Мемет, свыкшись с двадцатилетней дружбой, уже не верил в мой гнев. И я дал ему насладиться завидным плодом презрения: я поднимал оброненную им кость, подвигал к нему наргиле, отгонял мух, когда он дремал, высказывал вслух его мысли, если ему было лень, ибо сыновья наши, уже накопившие башлук, готовились привести жен и порадовать наши сердца неиссякаемостью рода. Но ты — чужеземец, и не знаешь, что для правоверного нет слаще дня, в который внуки его сядут к нему на колени, чтобы играть его бородой.

И вот приблизился день, в который жена старшего его сына легла, чтоб родить Мемету внука. И в тот день я призвал моих сыновей, призвал жену, с которой был так счастлив, что состарился на одной подушке, — чтоб объявить им волю старшего в роде: — отныне навсегда останутся совам сады, и на развалинах дома пышно разрастутся лук и чеснок, но час гнева моего пробил. И в ту же ночь сыновья мои ушли за Чорох, оставив мне младшего Сабида, которого послал я к дому меметова сына, чтоб первому мне принес весть: — кого дарует в утешение Мемету великий Аллах: внука или внучку? Утром Мемет подошел к забору и, увидев опустение на дворе и покинутый мой дом, горько вздохнул.

— Мустафа, — сказал он, — двадцать лет ты был мне другом, и был мне ближе, чем брат...

— Я был тебе другом, — подтвердил я, — и был тебе ближе, чем брат...

— У меня — пятеро сыновей, Мустафа, они крепки и полны жизни, как яблоки наших садов...

— И у меня, Мемет, пятеро сыновей, крепких, как яблоки из наших садов.

— Они продлят наши роды, и наши роды разрастутся от них пышно, как таба в саду Аллаха... Зачем ты хочешь отряхнуть преждевременные плоды?

— Сладость земных плодов, — отвечал я, — не утолит жажды того, кто всю жизнь пил вино своей мечты... Но да продлит бог твои дни, если старший твой первенец принесет тебе девчонку, чтоб пасла твою старость хворостиной, как пасут гусей...

И в дерзости своей я так развеселился, что предложил ему бросить кости и испытать счастье. Тогда мы пошли в кофейню уважаемого Садык Айваза и потребовали кофе и нарды. И трижды бросал кости Мемет, и трижды они предрекали ему сына. И он уже занес руку, чтоб бросить кости в четвертый раз, когда вернулся Сабид и, вызвав меня из кофейни на двор, первому мне возвестил о великой милости Аллаха, даровавшего сына в первенцы Мемету.

— Воистину ты счастлив, — сказал я Мемету, — бог послал тебе дочь, чтоб ты расцвел и дал новые ростки... Дай же тебе бог тысячу рук,

чтоб удержать счастье, грядущее тебе в лицо, а не в затылок... И да ниспошлет тебе Аллах от всех твоих сыновей прекрасных дочерей, за которых ты двадцать раз вернешь башлук, что сам заплатил за Айше...

Все сидевшие в кофейне громко засмеялись моей шутке и смущению Мемета, и я насладился его позором в полной мере. Он встал и вышел, чтоб оседлать коня и ехать к сыну, не оправдавшему надежд его старости. А я шел за ним и считал последние шаги его жизни, как прежде считал годы. Я смеялся изо всех сил, боясь выдать свой обман, и утешал его, когда слеза обиды мочила его бороду. Подвязывая стремена, он нагнулся к лошади, — и тогда я вынул кинжал и, сделав свое дело, отер руки об его одежду и привязал лошадь, чтоб она не билась, чувствуя мертвеца.

Я сказал тебе все, что должен сказать. С сегодняшнего дня моя жизнь принадлежит мне, и вот я вижу, что моя жизнь лишилась вкуса, как пища соли, и я знаю, что завтра, проснувшись за твоей решеткой, я начну длинный день с зевоты. Двадцать лет по капле я пил выдержанное в годах вино моей ненависти, и в нем выпил всю свою жизнь и готов отдать Аллаху пресный ее остаток с благодарностью за то, что дал мне судьбу, натянутую, как тетива, и ненависть, вместившую в себя и великую силу любви, и настойчивую преданность дружбы...

Емарай Емаревич.

(Повесть).

Леонтий Раковский.

I.

Ни у кого в местечке не было стольких прозвищ, как у торговца со Стеклянной улицы, Шендера Фикса. И притом все его прозвища отличались от остальных местечковых прозвищ.

Обычно мещане прозывали друг друга за какой-либо недостаток. Так, например, портного Исера Драпа все звали «локшен», потому что он, в самом деле, был худ и длинен, точно макароны. А булочника Тевеля, толстяка и коротышку, наоборот, прозвали — фарфелем [1]).

В наружности же Шендера Фикса никто не нашел бы изъяна. Он не был ни хромым, ни косоглазым, не обладал ни заячьей губой, ни грыжей. Шендера Фикса все в местечке знали только как большого поклонника женской красоты. Оттого смолоду его звали — Шендер-Огонь. Потом, когда Шендер Фикс женился, но влечения своего не оставил, его начали звать иначе: Шендер-Паскудник. И, наконец, уже будучи отцом целого семейства, Шендер Фикс получил еще одно имя.

Тетка Гита, известная в местечка своей добродетельной жизнью и трактиром «распивочно и на вынос», однажды в сердцах назвала Шендера Фикса совсем по-иному: Емараем Емаревичем.

Случилось это в тот давнишний памятный год, когда местечко остро переживало два чрезвычайных события: дело Дрейфуса и назначение нового акцизного надзирателя.

Все эти неожиданные местечковые треволнения были сущим пустяком по сравнению с ежедневной тревогой Соры-Леи, жены Шендера Фикса. Сора-Лея не могла быть ни секунды спокойной за своего распутного мужа.

Шендер Фикс тогда еще не разъезжал с товарами по деревням, а просто торговал на базаре рыбой. И Соре-Лее не нравилось это мужнино занятие. Она отлично знала, что ее мужа больше интересует свежесть какой-либо ничего не стоящей торговки, чем десятифунтовой щуки.

[1]) Фарфель — крупа домашнего приготовления из муки и яиц.

И Сора-Лея не ошибалась: Шендер Фикс целый день только то и делал, что заигрывал с торговками, да рассказывал анекдоты покупателям.

Это и было всегдашней причиной семейных ссор. И на такую ссору попала однажды в субботу тетка Гита, пришедшая навестить родственников.

Шендер Фикс в сюртуке и соломенной шляпе сидел у окна, с грустью поглядывая на Стеклянную улицу, по которой праздной походкой проходили мещане, а главное — мещанки. Шендер Фикс ждал удобного случая, чтобы как-либо улизнуть от жены и не итти на прогулку вместе с ней. А Сора-Лея, которая только в субботу могла видеть своего мужа целый день дома, пользовалась этим и сводила с ним счеты за всю неделю.

Несмотря на то, что Шендер Фикс как будто бы сохранял спокойствие и даже вполголоса напевал «Крутится, вертится шар голубой», но минута была все-таки горячая.

И вот в эту минуту явилась расфранченная тетка Гита.

Тетка Гита была весьма представительной женщиной. Высокий рост, дородность, а главное отвисшая, красная от родимого пятна нижняя губа делали ее лицо чрезвычайно внушительным. Тетка Гита знала это и потому, едва переступила порог, как тотчас же взяла на себя роль третейского судьи. Она села посреди комнаты, поджала насколько могла свою непомерно толстую фиолетовую губу и, сложив руки на животе, внимательно слушала излияния Соры-Леи.

— Посмотрите, ребецин, на этого паскудника! Посмотрите, пожалуйста, на этого гицеля! Как ему не хочется посидеть хоть один денечек дома со своей женой! — говорила раскрасневшаяся Сора-Лея, указывая тетке на мужа.

— А зачем, в самом деле, париться в этой каморке, когда теперь, слава богу, на дворе — как в дворянской бане? — ответила неожиданно тетка Гита, которой за неделю надоело сидеть в своем трактире. — Пойдемте все вместе на прогулку.

И она уже хотела было подняться со стула, но в это время к ней подскочила Сора-Лея и, тряся своей старой камлотовой юбкой, затараторила:

— В чем же я пойду, в чем, скажите? В этих трантах, в этих лохмотьях? У меня же нет ни одной целой юбки!

И Сора-Лея обернулась, чтобы посмотреть, какое впечатление произвели на мужа ее слова.

Но Шендер Фикс попрежнему невозмутимо глядел в окно.

Тогда Сора-Лея подскочила к мужу, дернула его за рукав сюртука, и, распустив перед ним свою дырявую юбку, точно флаг в табельный день, закричала:

— Что же ты не хочешь глядеть, паскудник? Смотри вот, на, смотри, любуйся, чтобы ты любовался так своими похоронами, мошенник!

Шендер Фикс поднял вверх брови, но продолжал молчать.

— Ну, почему же ты молчишь, а? Почему ты ничего не скажешь? Вот скоро я останусь совсем без юбки, так, может быть, ты и тогда будешь молчать? — не унималась Сора-Лея, подступая к мужу.

И вдруг Шендер Фикс поднялся и, улыбаясь, спокойно сказал:

— Успокойся, Сора, успокойся! Ведь, ты же знаешь, что я тебя без юбки еще больше люблю.

Если бы Шендер Фикс мог предполагать, что̀ получится из его шутки, он, безусловно, не стал бы шутить в такую неподходящую минуту.

Сора-Лея даже поперхнулась от негодования. Но тут ей на смену поднялась сама тетка Гита.

— Как, и ты можешь еще смеяться, паскудник? Сам нарядился — фу ты, боже мой, — точно какой-нибудь ассесор, точно какой-нибудь пориц [1]), а жена, как ходила шлюн ой целую неделю, так должна ходить и в субботу! Ах ты, латрыжник, ах ты, хазер, ах ты, араштант! — на все лады честила она племянника, точно пробуя, которое же слово больше подходит к Шендеру Фиксу.

И, наконец, это слово было найдено:

— Ах ты, Емарай Емаревич, — крикнула тетка и тут же прибавила: — Вон!

И гордо указала пальцем на дверь, совсем позабыв, что здесь не трактир и что Шендер Фикс не пьянчужка Адольф, которого тетка Гита имела обыкновение выгонять из трактира семь раз в неделю.

Шендер Фикс пожал плечами и, не обращая внимания на плач жены и ругань тетки, преспокойно вышел из дому: он только этого и ждал.

Речь тетки Гиты не произвела на Шендера Фикса никакого впечатления. Шендер Фикс тотчас же забыл бы о ней, если бы не одно непонятное имя — «Емарай Емаревич». Это имя заинтересовало его, и Шендеру Фиксу теперь непременно хотелось у кого-либо узнать, что̀ оно значит.

И уже в первой встрече он удовлетворил свое любопытство. Дойдя до водяной мельницы, Шендер Фикс увидел меламеда Гузика, который стоял на мосту, с восхищением глядя, как купаются в пруду мальчишки.

Шендер Фикс поздоровался с меламедом и тоже облокотился на перила.

— Взгляните, реб Иегуда, какой ловкач вон тот, черноглазый, — обратился он к меламеду, указывая на одного мальчишку, нырявшего отчаяннее других. — Ух, как он ныряет, как он только ныряет, точно полфунтовый окунь! Вот молодец! Что вы скажете, реб Иегуда, он прямо Емарай Емаревич!

— Что ты, Шендер, что ты городишь? — изумился меламед Гузик.— Ну, какой же он там Емарай Емаревич? Он — ребенок, хороший ребенок, и только.

— Я пошутил, — сконфузился Шендер Фикс.

---

[1]) Барин.

Он секунду помолчал, плюнул с моста в воду и потом, как бы невзначай, спросил:

— А скажите все-таки, реб Иегуда, что же значит это — Емарай Емаревич?

— А зачем же ты говоришь то, чего не знаешь? — удивился меламед.

— Я слышал — другие евреи говорят. А чем же я хуже других? Что, разве это очень плохое что-либо?

Меламед Гузик лукаво посмотрел на Шендера Фикса и, улыбаясь, сказал:

— Ох, Шендер, Шендер, ты, наверное, сегодня хорошенько повздорил с Сорой-Леей и она изругала тебя Емараем Емаревичем?

— Нет, нет, — замахал руками Шендер Фикс. — Разве у такой глупой бабы хватит на это ума? Она уже если ругается, так ругается, как самая последняя водоноска!

— Положим, чтобы обозвать Емараем Емаревичем, для этого большого ума не надо. Ты целые дни проводишь с женщинами, так неужели же тебе никогда не случалось видеть амулета от нечистой силы?

— Нет.

— В мое время их носили очень многие женщины. Ручаюсь, что и до сих пор какая-либо тетка Гита, несмотря на свои шестеро ребят, не расстается с ним.

— Ну, а что было бы, если бы я его видел? — допытывался Шендер Фикс.

— Что было бы? Ты знал бы, что на амулете написано: «Пусть убегут бесы и всяческая нечистая сила и особенно дьявол-блудник Емарай Емаревич». Дьявол-блудник, — хорошенько запомни это, Шендер!.. А, ей-богу, такое имя к тебе очень подходит, — сказал язвительно меламед Гузик, глядя на широкую рыжую бороду Шендера Фикса, его праздничный сюртук и зеленый галстук. — Ты все бегаешь за женщинами, как жеребец, который еще не видел ветеринара.

— А что же мне делать? — ответил Шендер Фикс. — Ведь, говорят, что на том свете прежде всего спросят: занимался ли ты продолжением рода? Вот я и хочу, чтобы не осрамиться.

И Шендер Фикс пошел прочь от улыбающегося меламеда Гузика.

II.

Сора-Лея давно мечтала о том, как бы удалить мужа от местечковых соблазнов. И, после долгих размышлений и совещаний с теткой Гитой, Сора-Лея нашла одно средство: надо было уговорить Шендера стать «поливником» — развозить по деревням глиняные горшки, миски, кувшины, а с ними и прочий мелкий товар.

Когда тетка Гита, обсуждая вопрос, предупредила Сору-Лею, что она по целым дням не будет видеть своего мужа, Сора-Лея ответила:

— Гори на нем кожа! Зато, по крайней мере, я буду спокойна, что на деревне этому Емараю Емаревичу, этому кабану уже не за кем будет бегать!

Сора-Лея знала, что говорит: Шендер Фикс, при всем своем распутном нраве, был ревностным иудеем и самолюбивым человеком. Он в разговоре никогда не упускал случая напомнить:

— Слава богу, в моем роде нет ни одного выкреста и ни одного ремесленника.

И вот Шендер Фикс стал «поливником».

Но даже перемена работы не избавила Шендера Фикса от прозвища: местечко попрежнему называло его Емараем Емаревичем.

И с этим метким прозвищем Шендер Фикс вырастил детей, состарился сам, пережил войну и увидел Революцию.

Революция — такое, кажется, обыкновенное слово, а сколько необыкновенных событий произошло в местечке благодаря ему.

Кто бы предполагал, например, что когда-нибудь в хоральной синагоге вместо Арон-кодеша [1]) будет стоять знамя физкультурников? И какому местечковому фантазеру могло взбрести на ум, что настанет день, когда никчемный кустарь-ремесленник будет кичиться над торговцем своей работой?

Однако такой день настал.

Меер-Цон, кузнец, Меер-Цон, прозванный так за свои непомерно длинные, уродливые зубы, стал хозяином целой волости — председателем исполкома.

А еврейские дети, которых раньше гнали прочь даже от шагающих на базарной площади пожарных, теперь смело маршировали по всему местечку с барабанным боем. И отцы, глядя на них, не знали, что делать: радоваться или печалиться.

Одним словом, местечко понемногу привыкло ко всем этим сногсшибательным переменам и больше уже не удивлялось ничему.

Оттого постепенное разорение тетки Гиты вовсе не произвело должного впечатления на мещан.

Тетка Гита, пристроившая в последние годы к трактиру «Штаны» заезжий двор, потеряла теперь и то и другое и умерла не столько от своей застарелой сахарной болезни, сколько от горечи этих двух потерь.

Вместо трактира в ее доме поместилась столовая церабкоопа. И единственной памятью о тетке Гите, кроме ее шестерых дочерей, осталось, излюбленное мещанами, название дома. Еще до сих пор можно было услышать, как какой-нибудь исполкомский делопроизводитель говорил по старой памяти своему сослуживцу:

— Ты где сегодня обедаешь, в «Штанах»?

---

[1]) Арон-кодеш — ковчег, в котором хранится свиток Торы; самая священная принадлежность всякой синагоги.

Впрочем, о тетке Гите осталась еще одна память: прозвище Шендера Фикса. Шендера Фикса все продолжали звать попрежнему Емараем Емаревичем, несмотря на то, что он уже дождался внуков.

Жизнь семьи Шендера Фикса с Революцией изменилась так же сильно, как вообще изменилось все вокруг. Прежде всего, наконец-таки, от старости издохла кляча, на которой столько лет Шендер Фикс развозил по деревням «поливу» и прочий, необходимый для деревни, товар. Затем выросли и покинули отцовский дом дети.

Шендер Фикс сгорбился, поседел, руки у него уже тряслись, но, когда к ним в дом иной раз заходили отдохнуть с дороги крестьянки, Шендер Фикс еще вспоминал старое.

Он сластолюбиво чмокал губами и старался покрепче ущипнуть бабу за какое-либо мягкое место, по привычке остряка-ловеласа спрашивая при этом:

— Скажи, молодица, а скольки ты дала за эту обнову?

Сора-Лея не хотела отпускать мужа на базар и уходила туда сама. Она разносила по базару квас и вареные бобы, и все местечко знало ее обычный клич:

— Боб ди грэйсэ, боб ди грэйсэ! Боб, боб, боб!

А Шендер Фикс, оставшись один дома, занимался своим делом. Он не мог сидеть, сложа руки, и торговал исподтишка самогоном, контрабандным латвийским спиртом и разными мудреными польскими водками. Это дело Сора-Лея смело доверяла мужу: Шендер Фикс никогда не питал пристрастия к вину. И потому он торговал водкой не менее бойко, чем его жена хлебным квасом.

В столовой церабкоопа спиртного не держали, а дом Шендера Фикса стоял от пресловутых «Штанов» в каких-либо ста шагах.

И у Шендера Фикса каждый день бывали гости.

III.

Однажды летом Сора-Лея по обыкновению ушла с утра на базар, и Шендер Фикс остался дома.

Сначала старик долго возился в огороде, выгоняя оттуда забравшихся соседских кур, а потом устал и пошел в дом. Он сел на крыльцо и, вытирая свое потное лицо и рыжую бороду, смотрел на Стеклянную улицу.

Стеклянная улица была пуста, и вообще ничего интересного на ней нельзя было увидеть. Все так же нелепо — окнами на огороды, а черными бревнами на улицу — стоял дом меламеда Гузика. И уже примелькалась и не останавливала на себе ничьего внимания новая вывеска «военного и статского» портного Исера Драпа. Когда-то на ней был изображен глупый франт в сюртуке, а теперь живописец нарядил того же самого франта во френч с четырьмя громадными карманами.

И только вдали над крышами домов маячил длинный шест радиомачты, недавно установленной на хоральной синагоге, и Шендер Фикс,

щитком приставив к глазам ладонь, с любопытством разглядывал эту диковинную штуку своими воспаленными, почти безресничными, глазами.

Затем к Шендеру Фиксу подошел сосед-резник и рассказал о новой выходке этих, совсем зазнавшихся, кустарей. Оказалось, что жестянник Фоля вконец разругался с раввином. Он не хотел платить за обрезание сына даже и половины того, что просил раввин, и не постеснялся прямо сказать ему:

— Очень хорошо. Ты говоришь, что тебе не нужны мои деньги. А кто сказал, что мне нужна твоя работа? Сделай милость, пришей отрезанное назад и не дури мне головы! Мой сын все равно будет комсомольцем!

— Я же говорю: слава богу, что в моем роде не было ни одного выкреста и ни одного ремесленника, — с гордостью сказал Шендер Фикс, выслушав возмущенный рассказ резника, и пошел заниматься делом.

Шендер Фикс открыл полутемную каморку, нарочито заваленную разным хламом, достал оттуда несколько бутылок и пошел к себе в спальню.

Здесь, в пустом платяном шкапу, у Шендера Фикса была устроена целая лаборатория: стояли разных величин рюмки, пустые бутылки, лежала жестяная лейка и клок желтой ваты, вырванной из старого одеяла, через которую Шендер Фикс процеживал самогон.

Шендер Фикс слегка прикрыл за собою дверь и принялся за свою обычную операцию. Он так увлекся работой, что не услышал даже, как на крыльце раздались шаги. И только из кухни прямо в спальню с криком примчался, подгоняемый чьими-то шагами, петух, и незнакомый голос окликнул:

— Есть тут кто-либо?

Шендер Фикс поспешно вышел из спальни.

Перед ним, с кнутом в руках, стоял какой-то молодой человек в очках.

— Вы — Шендер Фикс? — спросил он.

— Я, — ответил, несколько струсив, старик, хотя вся фигура незнакомца от его пыльных заплатанных сапог до приветливо улыбающихся глаз не внушала никаких опасений.

— Скажите, это вас зовут Емараем Емаревичем?

— Меня, — сконфузился Шендер Фикс.

Впрочем, теперь ему было ясно, что опасаться этого человека нечего: раз он знает прозвище Шендера Фикса, следовательно, какой-либо из всегдашних посетителей направил к нему своего приехавшего в местечко знакомого выпить рюмку водки перед обедом в столовой церабкоопа.

— А вам какой налить, товарищ? — оживился Шендер Фикс. — Латвийской, кминувки, зубровки или, может быть, простого спирту? У меня есть самогон. Ух, какой самогон! — зажмурил свои красные глаза Шендер Фикс. — Чистый первак!

И старик уже повернулся назад, чтобы итти за самогоном.

— Постойте, постойте, никакой кминувки мне не надо, — вдруг остановил его незнакомец. — Пойдите лучше сюда, я вас чем-то угощу.

И он быстро пошел на кухню.

А сзади за ним в драных шлепанцах семенил недоумевающий Шендер Фикс.

И то, что случилось в несколько следующих минут, врезалось в память Шендера Фикса на всю его остальную жизнь.

На лавке, у окна кухни, сидел большеголовый рыжий мальчик, лет пятнадцати. Он был одет, как все деревенские дети — в единственную посконную рубаху и такие же штаны. На голове сидела истрепанная солдатская фуражка без козырька с нелепым желтым околышем.

А ноги были босы и черны, неизвестно, от чего больше — от загара или от грязи.

Мальчик смотрел куда-то в одну точку и блаженно улыбался.

— Скажите, Шендер Фикс, знаете вы этого ребенка? — спросил незнакомец.

Шендер Фикс приставил ладонь ко лбу, брезгливо посмотрел на мальчишку издали и, еще ничего не понимая, но уже предчувствуя что-то неладное, твердо сказал:

— Чтобы дал бог я так часто видел болезнь, как я вижу его в первый раз!

— Так вот это — ваш сын, — вдруг легко и просто выпалил незнакомец, и, пока вконец ошеломленный Шендер Фикс собрался хоть что-либо возразить, незнакомец проворно достал из широкого кармана своего френча бумажник, вынул оттуда несколько бумажек и сунул их к безресничным красным глазам Шендера Фикса.

— Видите, вот — метрика. Имя ребенка: Митрофан. Фамилия матери: Анна Доменикова. Фамилия отца: Шендер Фикс, по прозвищу Емарай Емаревич. Мать его умерла весной. Ни родственников, ни имущества не осталось. Суд постановил передать его отцу. Я — сельский исполнитель. Распишитесь!

И незнакомец сунул в трясущиеся руки Шендера Фикса химический карандаш.

Все это было так неожиданно, так странно, что Шендер Фикс окончательно потерялся и только смог спросить:

— Писать по-еврейски можно? Я по-русски не умею.

И, получив утвердительный ответ незнакомца, кое-как вывел на бумаге свою фамилию.

— Вот и готово дело. Получайте документы и мальца, — сказал незнакомец, протягивая Шендеру Фиксу бумаги. — Это копии, а все подлинники лежат у нас, в Залесском исполкоме. Ну, будь здоров, Митрофан, — крикнул он мальчишке, хлопнул его по плечу, козырнул Шендеру Фиксу и так же быстро исчез за дверью, как и появился.

Мальчишка за все время не проронил ни слова: он только смотрел вокруг, приятно улыбаясь.

А потрясенный Шендер Фикс застыл на месте с проклятыми бумагами в руках. По сморщенной щеке старика в седую бороду ползла слеза, но он тоже, казалось, не замечал ничего: Шендер Фикс что-то припоминал.

IV.

Пока Шендер Фикс придет в себя, тем временем можно рассказать, как появился на свет этот большеголовый рыжий мальчишка и какое отношение он имел к бывшему торговцу вразвоз, Шендеру Фиксу.

Когда Шендер Фикс, в то время совсем еще нестарый крепкий и довольно красивый мужчина, впервые выехал из местечка со своим незамысловатым товаром, ему понравилась эта новая работа. Оказалось, что «поливником» веселее быть, чем рыбником.

Нравился Шендер Фикс бабам своей покладистостью и в покупке. Покупая тряпье или пеньку, он не боялся прикинуть бабе, недостающий до ровного веса, фунт.

Оттого, когда при расчете за купленную миску или кувшин-горлач Шендер Фикс брал не овсом, а ячменем — с ним мало спорили. И, таким образом, торг оканчивался всегда к полному удовольствию обеих сторон. А Шендера Фикса охотно встречали в каждойдеревне, в которую он, время от времени, наведывался.

Так благополучно Шендер Фикс разъезжал не один год и не два, когда однажды с ним случилось неожиданное приключение. Это произошло незадолго до европейской войны. Шендер Фикс уже успел обзавестись телегой на железном ходу и сменял старого вороного жеребца на буланую кобылицу. А Сора-Лея уже гордилась своей помощницей дочерью Шпринцей и вместе с сыном Ицхоком подсчитывала, сколько лет остается ему до вожделенного дня Бар-Мицва [1]).

Однажды летом Шендер Фикс решил навестить самый отдаленный угол своего района, в котором давно не бывал с товарами.

Местечковые торговцы не особенно любили ездить туда: надо было ехать около пятнадцати верст густым бором по тяжелой песчаной дороге.

Но Шендера Фикса ничто не пугало: ни далекая дорога, ни глухой бор. Он нагрузил телегу разным добром и с восходом солнца выехал из местечка.

Поторговав на пути в нескольких деревнях, Шендер Фикс лишь к вечеру выбрался из бора. Лошадь устала, и Шендер Фикс лениво шел за возом, поглядывал по сторонам.

Уже кое-где жали рожь, и с некоторых, более вызревших, полос на дорогу глядели жнеи, которые рады были тому, что есть предлог лишнюю секунду постоять, не сгибаясь.

Истомленные целодневной работой, бабы не отвечали на шутки словоохотливого торговца.

Но, подъезжая к одной полосе, Шендер Фикс издали услышал девичий говор и смех. С десяток жней неспеша, легко дожинали постать. Полоса была широкая, некрестьянская, и жали на ней, очевидно, не свои жнеи, а наемные.

---

[1]) Религиозное совершеннолетие для мальчиков, исполняющееся в 13 лет.

Когда жнеи заметили приближающуюся к ним подводу, смех разом оборвался. Слышался только шелест соломы да перешептыванье ретиво жнущих девок.

Шендер Фикс отлично знал, что скрывается под этим нарочитым молчанием. Хохотуньи ждали одного: как и что скажет им проезжий. Можно ли будет потом вдоволь посмеяться над ним, если он как-либо неловко скажет «бог-помощь», или, если проедет молча, тут же всласть изругать его вдогонку.

Потому Шендер Фикс приготовился. Он сел на грядку телеги молодецки, наотлет, сбил на затылок свою запыленную фуражку и, стегнув как следует лошадь, фертом подъехал к полосе.

— По ожи, боже! — зычно крикнул он.

И вдруг из-за стены ржи, вместо обычного скромного ответа, чей-то звонкий голос лукаво переспросил:

— Полежим може, говоришь? А ну, давай полежим!

И, при дружном смехе остальных жней, над постатью ржи поднялась рослая ладная молодица.

— Чего глядишь, борода? Бросай свои горшки-миски! — задорно крикнула она, давясь от смеха и оглядываясь на товарок.

Чернобровая, румяная, она была так хороша, что Шендер Фикс в первую секунду даже немного опешил. А потом быстро схватился и в тон ей, так же шутливо, ответил:

— Солнце низко. Боюсь, всю посуду обросишь!

Но молодица не слышала его ответа — она уже пела, притопывая по жнивью:

Не веди меня по поженьке,
Веди меня по дороженьке...

Глядя на нее, все жнеи полосы бросили жать. Более молодые, хотя и поднялись, но еще конфузились и делали вид, что продолжают работу: усердно крутили вя́зло. А остальные бесцеремонно разглядывали проезжего и перекидывались между собою замечаниями на его счет.

Если бы солнце стояло хоть чуть повыше на небе, Шендер Фикс в самом деле остановился бы побалагурить. Но ему приходилось спешить, и он мог только придержать лошадь, чтобы подольше полюбоваться на эту бойкую плясунью. Он ехал шагом вдоль широкой полосы, обернувшись и глядя назад.

— Ну, и девка! Цукер, а не девка! — не вытерпел, с восхищением сказал Шендер Фикс.

— Гануля, Гануля, чуешь? Тобой поливник интересуется! — прыская со смеха, закричала из одного конца постати в другой какая-то курносая жнея.

Но Гануля ничего не слышала. Она продолжала петь, притопывая:

Хоть ты меня на межи положи,
Тольки мойму мужику не скажи!

V.

«От ковалихи — все лихо».
Народная поговорка.

Эта черноглазая хохотунья не выходила у Шендера Фикса из головы даже на следующий день.

Еще в тот же памятный вечер, проезжая через имение, Шендер Фикс подробно разузнал о ней. Оказалось, что Ганулю жила на хуторе, неподалеку от имения, со своим глухонемым мужем-кузнецом, который только весной снял хутор в аренду у пана.

Крестьянин, рассказывавший Шендеру Фиксу о кузнеце и его жене, не хвалил ганулиной жизни.

— Какая там у нее может быть жизнь с немым? Одним словом, сказать испортил коваль посуду.

И это замечание рассказчика еще более подзадорило Шендера Фикса: ему хотелось во что бы то ни стало увидеть Ганулю еще раз.

Шендер Фикс нарочно не торопился объезжать намеченные деревни. Он хотел сделать так, чтобы, возвращаясь домой, завернуть на хутор к кузнецу. Шендер Фикс твердо рассчитывал, что застанет Ганулю дома — на завтра был праздник, Петров день.

И он не ошибся.

Не успел Шендер Фикс въехать на двор хутора, как тотчас же увидел Ганулю. Она стояла на крыльце, глядя, на кого так свирепо брешет их цепная собака. Увидев Шендера Фикса, Ганулю сразу узнала его.

— Что, купец, за новыми песнями к нам или, может, еще за старые расплачиваться? — снова шуткой встретила она поливника.

Отдохнувшая и принарядившаяся, она была сегодня еще привлекательнее, чем на жниве.

— А разве Шендер Фикс когда-либо отказывался от платы? — весело ответил он, слезая с телеги и привязывая лошадь.

Затем Шендер Фикс проворно достал из своей поклажи самый лучший шерстяной платок и, подкрутив усы, пошел к крыльцу.

— Ну, вот Шендер Фикс и платит. Носи на здоровье! — сказал он, протягивая изумленной Ганулe дорогой подарок.

— Что ты, купец, что ты смеяться надо мной вздумал? — удивилась Ганулю.

Но все-таки взяла платок, развернула его и, увидев красные розы по желтому полю, даже зажмурилась от удовольствия:

— Ох, да и пригожий какой!

— Пригожее только пригожему и дарить, — скромно ответил Шендер Фикс, не отрывая глаз от ее дебелых плеч.

— Ну, что ж мы стоим? Пойдем в хату, — пригласила Ганулю. Она усадила Шендера Фикса на лавку под образа, а сама взялась перед маленьким в жестяной оправе зеркальцем примеривать платок.

Красные розы по желтому полю как нельзя лучше шли к черноглазой и чернобровой Ганулe. И она с удовольствием набрасывала пла-

ток на плечи то так, то этак, любуясь собой. А затем, не переставая кокетливо глядеть в зеркальце, спросила:

— Ну, что, сам-пан, молчишь? Разве плохо, скажешь? Прямо— Шейна-марейна, не правда? — желая как-либо подделаться под разговор Шендера Фикса, сказала она.

Шендер Фикс не сомневался в ее красоте. Он был озабочен другим:

— А что же я хозяина не вижу?

— Неужели тебе хозяйки мало? Хозяин в волости. И, подумаешь, нашел о чем говорить. Ты лучше скажи, чем я отплачусь за такой подарок?

— Вот сядем сейчас и будем торговаться? — с деланной укоризной бросил Шендер Фикс. — Такая беда. Пойдем поймаем какого-либо петушка и хватит.

— Пе-етушка за платок? — недоумевая, поглядела на, казавшегося равнодушным, Шендера Фикса.

— А не хочешь петушка, так курочку, — лукаво глядя на Ганулю, ответил он.

Гануля улыбнулась, деловито спрятала подарок Шендера Фикса в сундук и пошла из комнаты.

— Ну, что же, пойдем, авось кого-либо и поймаем, — многозначительно сказала она.

Но едва только она ступила в полутемные сени, как Шендер Фикс, шедший сзади, вдруг схватил Ганулю за плечи и, громко чмокая губами, стал торопливо целовать ее шею и волоса.

Гануля вырвалась из рук Шендера Фикса и, смеясь, отбежала в угол, где стояли разные корыта и лохани. Она не возмутилась ничуть неожиданным нападением поливника и только, вытянув вперед свои полные, но по-мужски крепкие, руки, отталкивала от себя наступавшего Шендера Фикса.

А Шендер Фикс, красный, точно глиняный кувшин, не переставал лезть, повторяя шопотом одно и то же:

— Гануля, Ганулечка, ягодка моя. Я тебе в другой раз брунзулет на руку подарю! Золотой, хворей моя голова, золотой привезу!

Полные плечи Ганули тряслись от смеха. Она, чтобы только хуже распалить поливника, легко била его по рукам или, если руки Шендера Фикса вдруг схватывали очень метко, щипала их, отводя в сторону. И все время не переставала делать вид, что серьезно пытается увещевать его:

— Как тебе не стыдно к чужой бабе лезть? Бородище вон по пояс, а такой ласый!

— Не стыдно, Ганулечка, ей-богу не стыдно, — захлебывался Шендер Фикс.

— Погоди, постой, подумай сам, что ты делаешь? — в какой-либо отчаянный момент говорила она. — Неужели ты трефного не боишься?

— Не хочу думать, ничего не хочу знать, — не унимался Шендер Фикс.

Наконец, Гануле надоело сопротивляться, и взъерошенный и потный Шендер Фикс снова схватил ее в объятия.

Тогда Ганулія вдруг совершенно серьезно сказала:

— Погоди, не будь ты жеребцом, дай хоть от свиного корыта отойти! Пойдем в пуню.

Шендер Фикс, нехотя, выпустил из своих рук добычу и, вытирая потное лицо полой пиджака, пошел вслед за Ганулей.

Но Ганулія, не успев перешагнуть через порог, в испуге бросилась назад в хату.

— Ах, чтоб его. Немой идет!

Шендер Фикс, не доверяя бабе, выглянул сам и увидел идущего к дому высокого, широкоплечего человека.

Поливник хотел было итти к лошади, но Ганулія прикрикнула на него.

— Куды ты, дурень? Иди сюды!

И Шендер Фикс испуганно шмыгнул в хату.

— Садись и сиди. Я все устрою. А как придет муж, проси у него продать щетину,—загадочно скороговоркой бросила она, поправляя волосы.

Шендер Фикс пожал плечами, но сел на лавку и сделал скучающее, равнодушное лицо. А Ганулія тем временем выбрасывала из запечья на середину хаты разное тряпье, как будто собиралась продавать его Шендеру Фиксу.

В такой позе застал их кузнец.

Кузнец был немного навеселе. Увидев поливника, он заулыбался, промычал что-то и со всего маху хлопнул ладонью по протянутой Шендером руке.

Шендер Фикс немного пришел в себя. Он предложил кузнецу папиросу, как мог показал ему, что сегодня жарко и что кузнец выпил, и тем окончательно развеселил хозяина.

Кузнец сидел и, жестикулируя и тараща свои голубые пьяные глаза, что-то в свою очередь рассказывал Шендеру Фиксу.

— Проси продать щетину, — громко напомнила Ганулія, — все время стоявшая к ним спиной.

Шендер Фикс, забыв, что имеет дело с глухонемым, испугался голоса Гануліи и с тревогой посмотрел на кузнеца. Тот, чему-то улыбаясь, блаженно затягивался папиросой.

Тогда Шендер Фикс окончательно пришел в себя и стал объясняться с глухонемым насчет щетины. Он жестикулировал больше, чем следует, и снова упустил из виду, что кузнец глух: чтобы нагляднeй изобразить свинью, завизжал по-поросячьи.

Но кузнец только морщил лоб и ничего не понимал.

Ганулія, давясь от смеха в своем углу, наконец, не выдержала: она подошла к мужу, дернула его за рукав и несколькими привычными жестами сказала все.

Кузнец одобрительно закивал головой, хлопнул по плечу Шендера Фикса так, что тот даже поморщился, и, пошатываясь, пошел в сени. Там он поправил приставленную к стене лестницу и полез на чердак.

И только его шаги раздались над головами Шендера Фикса и Ганули, как она выскочила в сени, проворно отняла лестницу от стены и, положив ее на пол, так же быстро очутилась на лавке рядом с Шендером Фиксом.

— Ну, торопись, — сказала она, сама целуя его. — Да сними хоть шапку, греховодник!

VI.

И с тех пор Шендер Фикс зачастил к Гануле.

Встречи происходили вечером у опушки леса за кузнецовой баней. Шендер Фикс незаметно приезжал сюда со своим возом глухой лесной дорогой, ставил буланку в кусты и свистом давал знать Гануле.

Однажды Шендер Фикс расположился в стогу сена и мог бы, пожалуй, навсегда остаться лежать в нем, если бы не счастливая случайность. Он встал подбросить сена стоявшей в кустах буланке и вдруг неожиданно увидел в нескольких шагах от себя озверелого кузнеца.

Кузнец с налитыми кровью глазами крался вдоль стогов с железным ломом в руках.

Шендер Фикс только успел крикнуть Гануле:

— Гануля, немой!

И в два прыжка очутился на своему возу.

Воз был нагружен одной поливой, но Шендер Фикс не обращал на кладь никакого внимания. Он изрубцевал кнутом все буланкины бока, мчась не по узкой лесной дороге, а напрямки по лугу, по пару, через кочки и межи.

От испуга он не слышал, как взбешенный кузнец пытался что-то кричать ему вдогонку, причем у немого получалось только нечленораздельное:

— Пт-т-пт-т.

Не слышал, как с каждым скачком лошади в возу трещали, бились друг о друга горшки, миски.

И тем более не слышал, как, разрумянившаяся в стогу, Гануля храбро кричала своему мужу, забыв, что он глух:

— Что тебе мало было? Мало? Когда я тебе отказывала? А что лишки у меня остаются, — сам виноват. Что хочу, то с ними и делаю!

Солнце вставало над местечком, когда Шендер Фикс на измученной исхлестанной буланке привез домой воз битой поливы. Он солгал, что в бору на него напали волки и он еле унес ноги.

Сора-Лея плакала, подсчитывала убытки и верила и не верила мужу.

А Шендер Фикс закаялся ездить в Залесье.

Затем, через несколько дней, была объявлена война, и новые события и новые люди захлестнули Шендера Фикса. И до сегодняшнего дня он ничего не знал о судьбе Ганули.

О глухонемом кузнеце он случайно узнал раньше во время польской оккупации. Однажды знакомый крестьянин из Залеской волости рассказал ему, как легионеры застрелили глухонемого кузнеца. Он не остановился на окрик часового и был убит наповал.

А о том, что где-то растет его сын, Шендер Фикс и не предполагал. И теперь, глядя на эти бумажки, Шендер Фикс припоминал все: и чернобровую Ганулю, и озверелого кузнеца, и свои ушедшие годы.

VII.

Когда Шендер Фикс, ошеломленный случившимся, наконец, пришел в себя, он сперва опрометью кинулся на крыльцо, думая нагнать этого злосчастного сельского исполнителя. Шендер Фикс хотел упасть перед ним на колени, плакать, биться о землю — только чтобы он избавил Шендера Фикса от такого позора на старости лет.

Но, выбежав на крыльцо, Шендер Фикс увидел, что сельского исполнителя и след простыл. Стеклянная улица из конца в конец была повсегдашнему пуста.

И тут, на воздухе, Шендер Фикс как-то сразу отрезвел. Ему вдруг стало ясно, что так просто, как он решил в первую минуту, поправить дело нельзя.

Шендер Фикс всю свою жизнь боялся власти. Раньше он почтительно снимал шапку перед всеми местечковым начальством, будь то судья-помещик, выскочка-пристав или даже обыкновенный крестьянин, волостной старшина. Шендер Фикс считал, что все они, при желании могут причинить ему неприятность, хотя судья у него одного покупал рыбу для своего любимого кота; пристав-ловелас, при встрече с Шендером Фиксом, со скабрезной шутливостью расспрашивал о последних похождениях Емарая Емаревича, а волостного старшину Шендер Фикс однажды зимой спас от смерти, подобрав на дороге мертвецки пьяным.

Теперь же Шендер Фикс плохо разбирался во всех чинах. Для него было неясно, кто, например, старше: председатель исполкома кузнец Меер-Цон или начальник волостной милиции, бывший почталион Сковорода?

И, несмотря на то, что этот мальчик принес ему самое большое несчастье, какое только мог себе представить Шендер Фикс, но в старике вдруг проснулось любопытство.

— Как твое имя? — спросил он, подходя к мальчику и в первый раз внимательно разглядывая его.

Мальчик ничего не ответил, только искоса поглядел на Шендера Фикса и улыбнулся.

«Вот деревенщина, — подумал Шендер Фикс. — Ицхок в одну минуту уже наговорил бы с три коробка, а этот конфузится даже сказать слово».

— Что, ты глухой? Как тебя зовут? — переспросил старик.

Мальчик припомнил, как ребята в деревне называли его, и, наконец, выдавил:

— Ми-итрополит.

Шендер Фикс в недоумении заморгал своими безресничными глазами. Он помнил, что у русских есть какое-то, очень похожее на это, имя, чувствовал, что оно произносится не так, как сказал мальчик, но поправить его не мог. Имя, которое несколько минут назад называл сельский исполнитель, вылетело у Шендера Фикса из головы.

— Ну, Митрополит, а сколько тебе годов?

— Не знаю, — уже охотнее ответил мальчик. — Мальцы говорили, что мне много годов. В красноармейцы скоро заберуть.

И его лицо снова расплылось в улыбку.

Шендер Фикс пристально посмотрел на его голубые, уставленные в одну точку, глаза, на скривленный всегдашней улыбкой рот и с тревогой задал другой вопрос:

— Слухай, Митрополит, а ты знаешь, какой сегодня день?

Мальчик обернулся к Шендеру Фиксу и с манерой обычного словоохотливого собеседника, который не слушает другого, а говорит только о своем, оживленно сказал:

— А Егор мне в гаи гнездо берестяночки показал. Во и яечко!

И мальчик проворно достал из-за пазухи довольно большое, голубое с черными крапинками, не зяблика, а явно воронье яйцо. Он повертел яйцо в своих тонких, длинных пальцах и сунул назад.

— А учора Григориха мне блин дала. Сма-ачный, — сказал мальчик и завертел своей рыжей головой от удовольствия.

Но Шендер Фикс уже ничего не слышал. Он встал и с тревогой глянул в окно, не идет ли кто-либо за водкой. Для Шендера Фикса стало ясно, что, в довершение ко всему, мальчик придурковат.

Убедившись, что на улице никого нет, Шендер Фикс подошел к мальчику и, тронув его за плечо, с таинственным видом сказал:

— Пойдем, Митрополит, я тебе что-то покажу.

Мальчик послушно встал и, смешно вывертывая колени в стороны, какой-то старческой неспешной походкой пошел вслед за Шендером Фиксом.

Шендер Фикс привел его в коридор черного крыльца и усадил у маленького окошка, заставленного старыми бутылочками от лекарств и прочим хламом.

— Вот посиди тут, а я скоро приду, — сказал старик и, закрыв дверь на крючок, ушел. Шендер Фикс боялся, что сейчас кто-либо придет за водкой и увидит на кухне мальчишку.

И он не ошибся: тотчас же стали приходить всегдашние клиенты, и Шендер Фикс понемногу, забыв о своем горе, торговал до вечера, пока не вернулась с базара Сора-Лея.

Сора-Лея вошла в коридор черного крыльца поставить на холодок оставшийся хлебный квас и остолбенела: на полу коридора, раскинув босые ноги, спал какой-то деревенский мальчуган.

Сора-Лея от неожиданности чуть не выронила из рук четверти с хлебным квасом и побежала к мужу.

— Что это такое? Кто это там лежит?

— Где? — забыв о мальчишке, спросил Шендер Фикс.

— Как, ты не знаешь? На крыльцо забрался какой-то пьяный мужик и храпит.

— Какой пьяный, что ты выдумала? — раздраженно ответил Шендер Фикс. — Откуда могут быть пьяные на моем крыльце, если я за целый день не продал и трех бутылок?

И Шендер Фикс пошел посмотреть, в чем дело.

— Нет, нет, не сюда, — остановила его Сора-Лея, увидев, что муж направился к другому крыльцу. — Кто это вон тут спит? — указала Сора-Лея на коридор черного хода.

— А-а, — как бы разочарованно ответил Шендер Фикс и сконфуженно затеребил бороду, не зная, что̀ сказать жене.

— Что же ты смотришь? Говори, что̀ это такое? — подскочила к мужу Сора-Лея, предчувствуя недоброе. — Что это?

— Это — сумасшедший Митрополит, — спокойно ответил Шендер Фикс.

— Су-умасшедший, — изумленно протянул Сора-Лея. — А зачем же он здесь? Что, у нас больница для сумасшедших? Что, у нас вторая Вилейка? Я его сейчас же выгоню вон!

И Сора-Лея энергично направилась к спящему мальчику.

— Постой, ты сама — сумасшедшая, — испуганно остановил жену Шендер Фикс. — Что ты хочешь сделать? Ты знаешь, что мальчишку привел к нам этот, как его... — остановился старик, вспоминая название.— Этот судебный пристав и сказал, что мальчуган должен у нас жить. Так присудил суд!

И Шендер Фикс, вынув из кармана документы, протянул их Соре-Лее, хотя она не умела читать.

Тогда Сора-Лея шагнула в коридор и, нагнувшись над спящим мальчишкой, впилась в его лицо глазами. А затем выскочила на кухню к мужу и, тряся перед его носом кулаками, пронзительно закричала:

— У-у, Емарай Емаревич! У, кошерная свинья! Это — твой сын! Он похож на тебя, как две капли воды!

И Сора-Лея взялась за свою привычную работу: она плакала, сморкалась и ругалась.

Шендер Фикс не отвечал ни слова. Он только бегал от одного окна к другому, боязливо глядя, не идет ли кто-либо к ним.

А злосчастный Митрофан, несмотря на крики Соры-Леи, продолжал безмятежно спать.

VIII.

Пока Сора-Лея припоминала мужу всю свою несчастную, а его распутную жизнь, пробило одиннадцать. Тогда Сора-Лея спохватилась:

вытерла слезы, перестала клясть мужа и, только продолжая попрежнему неистово сморкаться, стала варить бобы к завтрашней продаже.

Потому Сора-Лея легла спать в этот раз очень поздно. Но назавтра она проснулась даже раньше обычного.

Сора-Лея одевалась и прислушивалась, что делается в доме: спит ли мальчишка, или, может быть, к ее счастью, вдруг исчез куда-нибудь.

Этот полоумный мальчуган вчера не проснулся и остался спать на полу коридора так, как улегся сам. И теперь Соре-Лее было жалко ни в чем не повинного ребенка.

Но все сострадание Соры-Леи к несчастному улетучилось вмиг, когда она, одевшись, глянула на кухню. На полу, возле котла, в котором Сора-Лея сварила бобы, мирно спал, пустив слюни, мальчишка. Очевидно, изголодавшись, он встал утром, нашел котел с вареными бобами и съел в один присест весь дневной заработок Соры-Леи. Котел был пуст: только на дне его валялась бобовая шелуха.

Сора-Лея пришла в такую ярость, что, если бы мальчишка лежал как-либо повыше, она непременно дала бы ему затрещину или, хоть в крайнем случае, выдрала бы за уши. Но Сора-Лея сдержалась и выместила свою злобу на муже. Она подскочила к постели безмятежно — ничком — спавшего Шендера и стала колотить кулаками по его тщедушному телу, приговаривая:

— Ой, зарезал! Ой, сумасшедший зарезал!

Разбуженный таким странным образом и в то же время испуганный, Шендер Фикс вскочил с постели.

— Кого он зарезал? Кого он зарезал? — спросил Шендер Фикс, почесываясь и глядя сонными глазами на жену.

— Посмотри там, — смогла только указать на дверь Сора-Лея.

Шендер Фикс выскочил в одном белье на кухню и осмотрелся: нигде ничего страшного не было. Наоборот, мальчишка проснулся и сидел возле котла румяный и веселый.

— Я не понимаю, что тут случилось? — вбежал назад в спальню Шендер Фикс.

— Старый дурак, старый о́гер! Ты прожил с девками все свои мозги и уже не понимаешь, что этот сумасшедший Митрополит сожрал все мои бобы. Сожрал столько, сколько съедают за день оба рынка — Коровий и Конский.

Шендер Фикс больше из любопытства вернулся назад на кухню.

— Митрополит, это ты съел бобы? — спросил он.

— Я.

— Все съел?

— Не-е, — ответил мальчишка и, запустив руку за пазуху, достал оттуда вместе с невредимым вороньим яйцом и какой-то медной пуго́вицей горсть измятых вареных бобов.

Шендер Фикс при всей неприятности не мог не улыбнуться

— Что же ты хочешь, чтобы человек жил не евши? — сказал он, возвращаясь в спальню. — Но от него надо все прятать, ведь он — полоумный.

— Прячься от него сам хоть в могилу, Емарай Емаревич! Прячься, несчастная тряпка, если тебе так хочется! А я найду средство избавиться от этого байстрюка, от этого проклятого мамзера! — кричала Сора-Лея, завязывая платок.

Затем Шендер Фикс не успел опомниться, как она достала из его пиджака бумаги мальчугана и, утирая на-ходу слезы, вышла из дому.

План Соры-Леи был чрезвычайно прост: она решила посоветоваться с Залманом Наперстком, о котором все местечко говорило, что хотя он и мал, как буква «юд», но зато хитер, как Лаван. Наперсток считался лучшим в местечке адвокатом.

Наперсток посоветовал, как обойти все законы и избавиться от Митрофана.

Уловка его была несложна, но понравилась Соре-Лее. Наперсток советывал Фиксам как-нибудь отвезти подальше от местечка Митрофана и где-либо у деревни просто оставить его. Полоумный мальчишка никогда не скажет, кто и откуда его отец, тем более что Митрофан, может, и не отдает себе отчета в том, почему его привезли в местечко к Шендеру Фиксу.

IX.

Шендер Фикс не находил себе места в целом доме.

Он бродил из комнаты в комнату, поджидая возвращения жены.

А Митрофан сидел на полу, разложив все свое добро: пуговицу, воронье яйцо, какие-то камешки и прочую дрянь.

Наконец, Шендеру Фиксу надоело ходить от одного окна к другому. Он сел и, опустив голову на руки, задумался над своим несчастным положением.

И вдруг что-то холодное коснулось его затылка. Шендер Фикс испуганно поднял голову и увидел перед собой Митрофана. Мальчик неслышно подошел к Шендеру Фиксу и теперь ласково глядел на него своими голубыми глазами, протягивал воронье яйцо.

— На тебе яечко, не плачь, — сказал Митрофан.

Шендер Фикс невольно глянул на его красивые длинные пальцы и вспомнил, что такие же руки были и у Ганули и что Шендер Фикс однажды сказал ей:

— Ой, Ганулечка, твоими руками на органе играть, а не капусту полоть!

Но теперь это воспоминание только хуже разбередило Шендера Фикса, и он, топнув ногой, сердито закричал:

— Пошел вон, сопляк!

Митрофан, отдернув руку, испуганно зажмурил глаза, точно ожидая удара, а потом повернулся и, смешно расставляя ноги, побежал к своему углу у печки.

Там он, глядя исподлобья недобрыми глазами на обидчика, собрал с пола свое имущество, а затем, не переставая боязливо оглядываться, пошел на вчерашнее место в коридор.

И когда Сора-Лея прибежала домой, все было по-старому: Шендер Фикс с досады процеживал самогон, а Митрофан, переволновавшись, спал в коридоре.

Сора-Лея больше не бранила мужа — ей было некогда. Она лишь вкратце рассказала Шендеру, что говорил Наперсток, и, позавтракав на скорую руку, побежала за балагулой Довидом. Соре-Лее не хотелось откладывать дела в долгий ящик, тем более что бобы были съедены и торговый день у нее все равно пропал.

Довид не имел работы и охотно согласился на поездку с Митрофаном.

Перед отъездом решено было накормить Митрофана, чтобы привести его в хорошее настроение.

— Митрофанчик, вставай есть, — ласково сказала Сора-Лея, — расталкивая храпевшего мальчугана.

Митрофан, проснувшись, дико вытаращил глаза и, под влиянием недавнего окрика Шендера Фикса, хотел было уже заплакать. Но, увидев на скамейке миску с вчерашними супом и возле него такой ломоть хлеба, который старики Фиксы не съели бы в три дня, — Митрофан без дальнейших приглашений принялся за еду.

Наевшись, он подошел к окну и стал разглядывать пыльные разноцветные склянки, стоящие на подоконнике.

А в кухне в это время шло серьезное совещание: кому и как заманить мальчугана в телегу.

Наконец, после долгих споров, решили, что это следует сделать Довиду. Довид поедет один с Митрофаном, и ему надо приучать мальчишку к себе. И Довид, здоровенный мужчина, с загорелым красным лицом и голосом заправского извозчика, приступил к сложной роли дипломата.

Довид вошел в коридор и, состроив такую мину, как будто он собирается уговаривать важного пассажира ехать с ним со станции, стал увещевать Митрофана прокатиться. А старики Фиксы, стоя на кухне, изо всех сил подсказывали Довиду, чем бы прельстить Митрофана.

Но Митрофан почуял что-то неладное и, сидя в своем углу, точно затравленный зверек, не трогался с места.

И напрасно Довид — по мысли Шендера — перечислял Митрофану разных диковинных зверей и птиц, которых Митрофан увидит во время поездки. А Сора-Лея — грубым голосом Довида — напрасно соблазняла Митрофана каким-то красивым садом с яблоками, грушами и вишнями.

Митрофан не хотел и слышать о поездке.

Тогда Довиду надоела вся эта комедия. Считая себя ответственным за переговоры с Митрофаном, он решил действовать энергичнее.

Довид шагнул к Митрофану и, ни слова не говоря, схватил мальчика за плечи и поволок его к двери.

В первую секунду Митрофан растерялся и только мычал, упираясь ногами и руками. Но, когда на помощь Довиду подскочили старики Фиксы, Митрофан вдруг дико взвизгнул, забился в сильных руках Довида и закричал истошным голосом:

— Ратуйте, режуть!

Довид, при всей своей храбрости, сразу бросил мальчугана и, плюнув с досады, пошел вон.

— А провались он, сумасшедший, мамзер! С ним еще в милицию попадешь! — сказал он и поехал домой, несмотря на все мольбы и уговоры Фиксов.

Митрофан скоро оправился от неожиданного нападения: уже через минуту он, как ни в чем не бывало, храпел, свернувшись калачиком у окна.

А старики Фиксы никак не могли успокоиться. Они не могли простить грубому Довиду его оплошности.

— Что ты от него хотела? — говорил Шендер Фикс жене. — У него голос — голос Якова, а руки — руки Исава. Этого коновала можно испугаться и взрослому!

X.

Итак, все-таки Митрофан пока что остался жить у Фиксов.

Шендер Фикс, убитый горем, потерял всю свою последнюю энергию и не думал о том, как бы сплавить Митрофана. И в ежедневных бесконечных беседах с женой по этому поводу он на все радужные планы Соры-Леи отвечал одно и то же:

— Это будет тогда, когда на ладони вырастут волоса!

А Сора-Лея не оставляла надежд.

Кроме Наперстка и Довида никто в местечке еще не знал о позоре Шендера Фикса. Соседям, которые видели Митрофана на дворе Шендера Фикса, Сора-Лея безразличным тоном говорила, что это мальчик-сирота, приблудившийся к ним.

Она думала постепенно приручить Митрофана, а потом снова попытаться увезти его из местечка.

Сора-Лея кормила Митрофана, и он уже понемногу слушался ее.

Так Митрофан согласился проводить целый день в пустом сарае Фиксов, который стоял у дома.

Митрофан перетащил туда все свои склянки и то спал на соломе, то забавлялся со своими игрушками.

Появляться в доме днем или выходить за ворота Митрофану было запрещено. Митрофан пока что не нарушал этих правил, и Фиксы удивлялись, как может мальчишка целые дни сидеть на одном месте.

Но старики, занятые каждый своим делом, не знали того, что у Митрофана неожиданно появился товарищ. Однажды, когда Митрофан сидел в огороде у забора и ел щавель, с ним свел знакомство сын водоноски Катрины, Васька.

Васька был немного моложе Митрофана, но уже видал виды: хорошо курил, пил водку и отлынивал от работы, в которую мать ежедневно пыталась его запрячь. Васька предпочитал швырять камнями в местечковых коз, бить из рогатки по воробьям и выпрашивать окурки у посетителей столовой ЦРК.

А в базарный день он непрочь был стянуть что-либо с крестьянского воза.

Конечно, Митрофан не годился по многим причинам Ваське в товарищи. Но Васька живо смекнул, как можно использовать нового знакомца.

Прежде всего Васька облюбовал сарай Фиксов. В нем хорошо было прятаться от гнева матки и от ее надоедливых приставаний с работой.

А, кроме того, постепенно осмотревшись на новом месте, Васька пришел к одной чрезвычайно любопытной мысли. Ради нее Васька не прекращал знакомства с дурачком, как называл он Митрофана.

И за все это Васька научил Митрофана некоторым несложным прелестям жизни, которые даже Митрофан постигал быстро. Так, например, Васька в один день научил приятеля курить и делился с ним выпрошенными окурками. А иной раз, после удачного базарного дня, Васька приносил Митрофану, любившему сильно поесть, какой-либо гостинец: белый хлеб, баранку или кусок селедки.

И однажды, прельстившись угощением приятеля, Митрофан нарушил несколько правил своего поведения.

Раз вечером Ваське повезло: возращаясь из столовой ЦРК, с целой горстью окурков для себя и своего приятеля, Васька на Стеклянной улице столкнулся со стариками Фиксами. К удивлению Васьки, Сора-Лея не несла с собой ни корзинки, ни бутылки, а на Шендере был надет пиджак и сапоги вместо всегдашних шлепанцов. Ясно было, что старики шли за чем-то в местечко.

Васька раздумывал недолго: наконец-то, его заветная мечта могла быть осуществлена. Не теряя ни минуты, он забежал домой и ловко стибрил у матери последний кусок сала. А затем, не чуя под собою ног, бросился в сарай к Митрофану.

Васька хотел уговорить Митрофана, чтобы он выкрал у старика бутылку самогонки. За вся эту работу Васька посулил приятелю кусок сала, до которого Митрофан был большой охотник.

Митрофан сначала не соглашался, несмотря на то, что с тех пор, как поселился в местечке, он не видел сала и в глаза.

Митрофан мотал рыжей головой и говорил, как попугай:

— Не можно, дед дасть. Дед будет бить!

Но Васька не перест. вал его искушать. Он лизал сало языком, вертел лакомым куском перед жадно следящими за салом глазами Митрофана, а когда Митрофан в тоске закрывал глаза, чтобы не видеть соблазна, Васька совал вкусно пахнущее сало в нос Митрофану, и тот слышал

вожделенный запах. Наконец, бедный Митрофан не выдержал такого искуса и вошел с незапертого черного хода в дом.

Он знал, где помещается у старика самогон, потому что несколько раз видел, как Шендер Фикс, стоя у шкапа, возился с бутылками.

Васька сидел в сарае, как на иголках. Он не отрывался от щели, глядя, когда же покажется Митрофан.

Но Митрофан почему-то не приходил.

Тогда Васька не выдержал. Он боялся, что вот-вот возвратятся из местечка старики и все дело лопнет. Проклиная дурака Митрофана, он шмыгнул вслед за ним в дом.

В коридоре не было никого. Зато в кухне он увидел Митрофана. Митрофан, как-то неестественно качаясь на своих тонких ногах, стоял у стола. Он ел краюху хлеба и улыбался во весь рот. На столе стояла бутылка. Очевидно, Митрофан соблазнился и попробовал самогона, а теперь с аппетитом закусывал.

Васька хотел было схватить бутылку, но Митрофан заслонил ее собой.

— А с-сало где? — заплетающимся языком спросил он.

Васька оглянулся, чем бы отрезать себе на закуску сала, увидел на полке нож, отрезал кусочек сала, а остальное передал Митрофану.

Митрофан оставил хлеб и, икая, принялся за сало.

А Васька схватил со стола наполовину пустую бутылку и опрометью кинулся вон.

XI.

Старики неспроста отправились вдвоем в местечко: Сора-Лея решила купить себе в кооперативе новые ботинки. И так как представлялся чрезвычайный расход, она взяла с собой мужа. И, возвращаясь домой, старики не предчувствовали никакой беды.

Наоборот, после прогулки в местечко Шендер Фикс немного повеселел: ни один встречный знакомый не заикнулся ему о мамзере и ни один мальчишка не подразнил его из-за угла байстрюком.

А Соре-Лее неоткуда было ожидать неприятности: ботинки она купила, на всякий случай, номером больше и потому надеялась, что они жать не должны.

Но когда Сора-Лея первая пришла на кухню, у нее от испуга потемнело в глазах. На полу лежал мертвенно-бледный Митрофан. Больше Сора-Лея ничего не видала.

Сора-Лея с отчаянным криком бросилась к мужу, но Шендер Фикс с неменьшим испугом сам спешил к ней навстречу. Войдя в спальню, старик увидел, что его шкап раскрыт настежь, пустые бутылки и рюмки опрокинуты, а вместо двух бутылок самогона осталась одна.

Шендер Фикс вбежал на кухню и, не обращая внимания на мертвенную бледность лица Митрофана, нагнулся к нему.

— Ой, негодяй! Ой, мошенник! Он пьян! Он пьян, как Лот! — кричал в диком бешенстве старик.

Сора-Лея только теперь осмелилась подойти поближе к столу. И сразу увидела то, что не смогла увидеть в первый момент.

На столе валялся недоеденный огрызок самого настоящего свиного сала, салом был измазан весь стол, и, очевидно, сало резали ножом Соры-Леи, лежащим тут же.

Сора-Лея с отвращением отскочила прочь и, в отчаянии заламывая руки, заголосила:

— Убери этого ганефа [1]), убери этого негодяя, убери вон этого мамзера, или меня сейчас стукнет кондрашка!

Шендер Фикс схватил бесчувственного Митрофана подмышки и, отплевываясь, потащил в сарай. Там он бросил Митрофана на его солому, усеянную окурками и бумажками, запер сарай на замок и поплелся в дом мыть руки.

Это происшествие окончательно подкосило Шендера Фикса. Он лег на кровать и не слушал, как опять с плачем проклинала его и Митрофана Сора-Лея и как она с остервенением мыла загаженный стол.

Шендер Фикс лежал и перебирал в памяти всю местечковую жизнь за несколько десятков лет. И, сколько ни вспоминал Шендер Фикс, он не мог припомнить, чтобы над кем-либо в местечке стряслось такое несчастье. Такого позора, как Шендер Фикс, еще никто не переживал.

И Шендер Фикс ломал голову над вопросом: что ему делать. Что делать дальше с этим сыном, который растет идиотом, пьяницей и вором? Куда деваться от неотвратимого позора?

Но Шендер Фикс ничего не мог придумать.

И только сон легко и мгновенно освободил Шендера Фикса от всех его бед: старик уснул.

Во сне Шендер Фикс стал молодым и счастливым. Во сне его звали, как когда-то очень давно: Шендер-Огонь.

— Шендер! Огонь! — кричали ему девушки.

— Шендер! Огонь! — кричали ему женщины.

И вдруг Шендер Фикс проснулся. Он понял, что это изо всех сил кричит Сора-Лея. Шендер Фикс вскочил с постели и затрясся: вся комната была залита ярким заревом близкого пожара. Полуодетая Сора-Лея металась по комнате, связывая что-то в узлы и бросая их в раскрытое окно на улицу.

А откуда-то доносился гнетущий хватающий за сердце зов пожарного рожка.

Шендер Фикс выскочил на кухню, и сразу все его волоса стали дыбом: в окно коридора было видно, что горит сарай.

Шендер Фикс в одну секунду вспомнил окурки на соломе у Митрофана и замок, которым он собственноручно запер сарай.

И в один миг все прежние беды заслонила эта одна: Митрофан сгорит! Шендер Фикс выхватил из кармана ключ от сарая и рванул к двери.

---

[1]) Ганеф — вор.

Он опрокинул на пути табурет и сильно ушиб ногу, но не заметил этого: Шендер Фикс тщетно пытался открыть дверь, не замечая, что Сора-Лея заперла ее на задвижку. Видя, что дверь не открывается, Шендер Фикс разбежался, насколько позволял коридор, и ударил плечом в дверь.

Тонкая дверь черного хода подалась, и Шендер Фикс упал вместе с ней на песок ярко освещенного двора.

Ключ отлетел куда-то далеко в сторону, но в нем уже не было никакой нужды: крыша сарая вдруг рухнула, и Шендер Фикс потерял сознание.

Огненная лапа.

(Роман).

Хаджи-Мурат Мугуев.

1.

Итак, я у границ Индии, в самом восточном уголке Месопотамии. Наша «пограничная полоса» отделяет «свободное» королевство Ирак от Белуджистана, за которым сейчас же начинается Индия.

Сюда, после долгого ряда лет бесплодных скитаний, меня забросила моя авантюрная судьба. Сирия, Албания, Каир, затем внезапно Ницца, потом Иностранный легион, бои с арабами, с сенусси, с албанскими четами, с чортом, с дьяволом, — вот мой послужной список последних лет. Я не эмигрант. Я — оставшийся во Франции офицер корпуса Лохвицкого, дравшегося на чужой земле, на чужие деньги и за чужие интересы. Я кондотьер и, живи я в средние века, я бродил бы со своим отрядом по всему свету и честно дрался за того, кто предложил бы мне бо́льшую сумму за работу... Теперь же я — всего-на-всего сержант английской колониальной армии, заключивший договор на восемь месяцев доблестно и беспорочно защищать честь британской короны на берегах Тигра и Диалы.

В моем распоряжении находятся двадцать восемь солдат, из которых двое вдобавок русские. — Один — донской калмык — Бурунтай Кашабулаев, — другой — кубанский казак — Дерибаба. До сих пор не могу понять, как попали сюда эти двое несчастных людей. Дерибаба начинает обычно так: — «Так що, колы мы тикалы спид Ростову, ще за генерала Дэныки, тай и прибеглы до Стамбулу, а тамо менэ и забралы». Кто его забрал и куда, он толком объяснить не может, — однако в контракте его ясно и четко сказано: «сроком на полтора года».

Бурунтай же дружелюбно мычит и все гадает упроезжих гадальщиц, когда он вернется на родину и живы ли его жена и двое ребят.

Оба преданы мне безгранично.

Пост наш стоит при слиянии реки Чарух с Тигром, в небольшой арабской деревне Сади-Кянт. Наша задача охранять берега и реку на расстоянии восьмидесяти километров от частых и не совсем дружелюбных набегов арабов из Ирака и курдских молодцов из Луристана. Дважды в месяц к нам прибывает почтовый пароход, причем навстречу ему обычно

высыпает все население Сади-Кянта. Для сторожевой службы по реке у меня на посту имеется два небольших катера, вооруженных пулеметами. Таковы не обозначенный ни на одной карте мира за исключением английской военной одноверстки пост Сади-Кянт и я — его начальник.

Последние три месяца я усиленно изучаю старый фарсидский язык, единственный по красоте и благозвучию в мире. Благодаря знакомству с Востоком, окружающим меня арабам и индусам, отлично говорящим по-фарсидски, а главное, благодаря отчаянной скуке, я стал очень прилично читать и переводить фарсидские книги... Скоро, очень скоро я буду читать в подлиннике самого Фирдуси, сладчайшего и влюбленнейшего Гафиза, лукавого и томного Саади, и черпать житейскую мудрость из уст Омер-Хейяма. Какая радость! Даже мой, лишенный фантазии, холодный и расчетливый ум искателя приключений зажигается радостью при мысли, что мне станут доступны эти богатства народной мудрости и поэзии. Учит меня старый Бен-Кадыр. Странное существо. Несомненно, он очень умный, начитанный и много видавший на своем веку человек. О его честности говорят далеко за пределами Сади-Кянта, слово его заменяет писаный закон. На меня лично он производит впечатление слегка ненормального человека. Несмотря на это, мы с ним очень дружны, и он называет меня «сыном». — Как ни странно, но любит он меня, главным образом, за то, что я русский и в России революция. По его мнению, все русские — большевики и друзья Востока. Я его нисколько в этом не разуверяю.

Вчера я получил шифрованную телеграмму из Кут-Эль-Амары. Пост наш по каким-то особым соображениям усиливают до шестидесяти человек, и к нам приезжает новый начальник — лейтенант Гильдебрант. Что же, — будет, по крайней мере, больше свободы в моей личной жизни.

Сейчас заходил Бен-Кадыр справиться, когда мы будем продолжать перевод Фирдуси. Я поговорил с ним, угостил его чаем. В беседе старик задал вопрос, на который я не смог ответить:

— Сагиб любит свой народ, — почему же сагиб уехал из России?

Я пробормотал что-то о своем близком отъезде и перевел разговор. Прощаясь, Бен-Кадыр просил меня зайти к нему. В самом деле, я еще ни разу не был у этого славного человека.

Пока я писал эти строки, вошел Дерибаба.

— Борыс Пэтрович, а Борыс Пэтрович!

Я обернулся.

— Хлопцы кажуть, що за селом, до чорта турачу налэтило. Пийдемо з нами на охоту.

У Дерибабы солдаты-индусы остались таким же хлопцами, как и в его Кубанском полку.

После обеда я с Дерибабой пошел на охоту. Мы сели в лодку. Дерибаба взялся за весла, а я, полулежа на корме, бесцельно смотрел на голубое небо и проплывавшие высоко надо мною облака. Река точно уснула,

сонная вода чуть вздрагивала от ударов весла и ленивые круги расходились рябью по воде. Мы плыли к густой заросли камыша, в пяти-шести верстах от Сади-Кянта. Где-то надо мной пронеслась ласточка и, чертя крылом круги в воздухе, исчезла из глаз. Лень и истома охватили меня. Я лежал, стараясь ни о чем не думать, и только полной грудью вдыхал чуть сырой, прохладный воздух. Дерибаба направил лодку к камышам. Берег вырастал перед нами... Еще несколько взмахов веслом, и лодка вошла в камыши, разрезая густые заросли. За нами неширокой колеей лег приникнувший камыш.

— Трошки не уснулы, — услышал я над собой голос Дерибабы и, перекинув двустволку, соскочил на островок. То был один из многочисленных, зеленых островков, образуемых Тигром. Они всегда полны дичи, зелени и цветов.

— Токи вы нэ уходьте далэко, бо я вас шукать нэ буду. Визьму та одын поплыву домой, — пошутил Дерибаба, привязывая лодку к одинокому кусту аллисавы.

Не успел я пройти и тридцати саженей, как из камыша взвился целый выводок уток и, резко кинувшись назад, взметнулся в сторону Дерибабы. Одновременно звякнули оба ствола централки кубанца, и три утки тяжело шлепнулись в камыши. Я пошел дальше. Дичи было, действительно, много, и через час до десятка уток висело у меня на поясе. Мне стало скучно... Я присел у берега, в густой тени расцветавшего шиповника. Прошло несколько минут. Знакомая лень охватила меня. Темная тень проплывала надо мною. Я поднял голову. Низко, саженях в пяти, распластавшись в воздухе, парил красивый фламинго. Солнце слегка золотило один его бок и яркое, красно-желтое оперение сияло в лучах. Я быстро вскинул ружье и выстрелил. Когда я опустил ружье, фламинго жалко и беспомощно, быстро-быстро, бил крыльями по воде и замирал. Почти одновременно с выстрелом я услышал слабый вскрик и увидел между кустами красивое, смуглое лицо девушки. Не успел я вскочить, как оно исчезло в кустах, но я отчетливо заметил два ярких, черных глаза и копну разбросанных кудрей под красным платком. «Лесная наяда», — улыбнулся я.

— Борыс Пэтрович... Эге... гэ... гэ... гэ... — услышал я. Это Дерибаба, которому наскучило расстреливать уток, торопил меня. Я вышел на берег и, аукаясь, дошел до казака. Мы сели в лодку; кубанец налег на весла и затянул какую-то заунывную песню, из которой можно было понять только первые слова: — «Ой, да не из тучушки», — дальше пение переходило в заунывное бормотанье.

— Максимыч, — окликнул я его.

Дерибаба очень гордится, когда я называю его по имени. Он сразу поперхнулся песней и быстро, по-военному, спросил:

— Чего изволите?

— Слушай, Максимыч, ты не знаешь, что это за девушка была там на острове?

Дерибаба с изумлением взглянул на меня, сплюнул в воду и медленно протянул:

— Яка дивка? Та там нема никого, хиба вона скаженна, чи що.

Я промолчал. Прождав еще минутку, казак снова затянул песню. Когда мы проплывали мимо того места, где я видел «наяду», я привстал и посмотрел на кусты. Остров был мертв. Убитого мною фламинго не было видно на воде.

Оставив лодку и подходя к селу, я увидел, что там царит волнение. Арабы группами, важно шагая, направлялись к пристани. Женщины суетливо торопились туда же, неся в руках кислое молоко, финики и прочую снедь. Босоногие мальчишки с криками проносились по улице. «Идет монитор, а с ним и почта», решил я. «Странно, ведь сегодня не пятнадцатое число. Вероятно, какое-либо особенное происшествие вызвало экстренный рейс. Тем лучше, монитор простоит здесь до утра, и мы будем иметь почту, газеты и новых людей». Когда я переоделся и вышел на пристань, монитор был совсем близко, километрах в двух, но извилистое течение Тигра скрывало его, и только изредка рев гудка и черный, тяжелый дым, обильно шедший из трубы, показывали его приближение.

Весь Сади-Кянт был на берегу. Мои индусы, чистые и нарядные, стояли группой, свысока поглядывая на суетившихся арабов. Дерибаба нетерпеливо всматривался вдаль, вниз по реке и несколько раз, захлебываясь, вскрикивал:

— Ото ж и он, — но сейчас же, сочно выругавшись, добавлял: — ни, це байдара.

Наконец, из-за островка показался крупный, точно обточенный нос судна, через минуту, пыхтя и дымя, вынырнул и весь монитор. Пароход все приближался. Уже можно было разглядеть публику, облепившую палубу его. Еще пять минут, и, сделав полукруг прямо перед Сади-Кянтом, монитор подошел к берегу и пришвартовался у пристани. Это было ново и совершенно неожиданно. Как только был переброшен трап, сейчас же на пристань сбежал небольшой, юркий человечек в военной форме и, подойдя ко мне, спросил по-английски:

— Вы начальник этого поста?

— Да, — ответил я, глядя на него.

— На этом мониторе прибыл начальник сектора майор Коутс и лейтенант Гильдебрант. Вам необходимо сейчас же быть у них. Они вас ждут.

Затем юркий человечек прошел дальше, и через секунду его голос слышался среди кучи арабов, где он возмущенно требовал чего-то. Оправив френч, я быстро прошел на пароход, предварительно крикнув Дерибабе, чтобы он предупредил моего помощника о приезде начальства.

На капитанском мостике, рядом с капитаном, держа в руках большой военный бинокль, стоял высокий худой майор, с типичным англий-

ским лицом. Я неловко поднялся к нему и отдал обычный рапорт. Майор любезно поздоровался со мной и медленно сошел вниз. Я последовал за ним. Монитор, между тем, окончательно пристал к берегу, и с него группами стали сходить солдаты. Помимо них на пароходе прибыло несколько штатских с тремя дамами.

Замелькали матросы и носильщики-арабы с багажем вновь прибывших. Одна из дам навела на меня лорнет и сказала остальным что-то, чего я не расслышал. Вся группа обернулась и сдержанно улыбнулась, видя мой взгляд. Это обо мне. Отлично. Мне одинаково безразличны и эти вытюженные лорды, и их очаровательные дамы. Хотя та, что смеялась, была очень хороша.

Новое и весьма неприятное дело: мне предстояло разместить всех приехавших гостей. Оказывается, помимо лейтенанта и его солдат, нас соизволила посетить экспедиция лорда Паркера, совершающая научную орнитологическую поездку по Тигру. В задачи экспедиции входит двухнедельная стоянка у нашего поста и затем обратное путешествие в Бомбей. Приятная прогулка, и ничего больше. Помимо двух настоящих натуралистов и орнитолога, в поездке принимают участие, как пишет «Бомбей-Дейли-Ньюс», «мистер Хьюз, глава банкирского дома в Калькутте, со своей супругой мистрисс Хьюз, французский генеральный консул в Бомбее, мосье Вильбуа, корреспондентка «Таймса» мисс Эвелин Джойнт и русский князь Строганов с супругой, являющиеся гостями лорда Паркера в Индии». Всю эту компанию сопровождает, разумеется, целая серия слуг, индо-китайского и английского происхождения.

С помощью Бен-Кадыра и его родных я кое-как разместил всю экспедицию. Сэр Хьюз, которому я был представлен вчера, оказался очень милым и добродушным стариком, не интересующимся ничем, кроме виски и «Таймса». Супруга его, высокая, моложавая англичанка, энергично пожала мне руку и удостоила двухминутным разговором. Весь разговор вертелся на особенностях арабской лошади, ее экстерьере и способах выучки ее. Супруги Хьюз и корреспондентка «Таймса» размещены в одном доме. Майор Коутс и лейтенант Гильдебрант, вместе с юрким человечком, расположились у пристани, в доме муллы; человечек оказался русским эмигрантом, из армии Врангеля. Он весьма начальственно держится со мной и удивлен, что я не служил в белых армиях. Фамилия его Слепцов. Что он делает — пока не знаю, хотя часто вижу его при особе майора. Орнитологи расположились в палатке на площади, а симпатичный француз-консул со мной. Князь Строганов, пожилой, седоватый брюнет, как о нем говорит Вильбуа, — «весьма большой русский аристократ, едва убежавший из рук большевиков», поместился недалеко от меня, в доме кятхуды [1]. Кстати, дама, смеявшаяся надо мной на пристани, княгиня Строганова — жена этого высокого, молчаливого и важного человека.

---

[1]) Кятхуда — старшина села.

Только что ушел Бен-Кадыр. Принес «Гюлистан» Саади, просидел у меня с час. Внимательно и вежливо говорил с консулом и поразил того своей ученостью. Переводчиком был, конечно, я.

Уходя, Бен-Кадыр еще раз просил меня зайти к нему. Как видно, он что-то хотел мне сказать, но не решился в присутствии третьего лица, хотя консул и не понимает по-персидски.

Сегодня едем осматривать местность и знакомить гостей с окрестностями Сади-Кянта. Майор очень интересуется положением на посту, состоянием солдат, их подготовкой и настроением. После возвращения из поездки он думает осмотреть пост и поговорить с моими солдатами. Между прочим, весь Сеистанский округ, на двести верст в диаметре, уже знает о приезде «большого начальника» и усилении гарнизона. Воображаю, какие слухи и догадки родятся в головах арабов и курдов, живущих по ту сторону Сиад-Куха. В три часа ко мне зашел Слепцов и важно процедил о том, что «майор через пять минут может ехать». Странный субъект. В нем как-то неприятно слились два начала. Одно — угодливое и приниженное в присутствии майора; он мне напоминает давно знакомый армейский, скорее даже штабной тип «чего изволите», другое — хамски-самодовольный, нагловатый со мною и теми, кого он считает ниже себя. Я сел на коня, поданного мне Дерибабой, и поехал рысью к дому майора. Казак рысцою затрусил за мной. У ворот стояло несколько оседланных коней, двое из них под дамскими седлами. Опять увеселительная прогулка, хотя присутствие дам меня даже радует. Здесь, в этой глуши, вдали от города, музыки и женщин, я огрубел и отвык от общества.

Майор очень любезно и приветливо представил меня дамам, находившимся в комнате. Кроме натуралистов, в поездке вокруг Сади-Кянта принимает участие княгиня Строганова, мисс Эвелин, лейтенант Гильдебрант и, конечно, сопровождающий всюду Коутса Слепцов. Обменявшись несколькими незначительными фразами, мы вышли из дому и сели на коней. Поодаль ехали Дерибаба и трое солдат вестовых.

Проехав деревню, мы крупной рысью проскакали мост и свернули вправо, в сторону Джебель-Хамрина. На мой вопрос, куда вести экспедицию, Коутс, смеясь, ответил, что он тут ничего не знает и полагается на мой вкус. Я взял направление к роднику Биссетуна, отстоящему милях в пяти от Сади-Кянта. Кони с рыси перешли на крупный галоп. Пыль широкой стеной загородила нас и закрыла несшихся сзади вестовых.

Мы скакали уже около получаса, и я, боясь утомить дам, оглянулся, сдерживая горячившуюся Касатку, но вся кавалькада, увлеченная быстрой ездой, не заметила моего движения и понеслась вперед.

— Не останавливайте коня. Скачите вперед! — услышал я резкий возглас, и мимо меня пронеслась княгиня Строганова, прекрасно и уверенно сидевшая на высоком, сильном австрийском гунтере. Я слегка пришпорил Касатку и стал нагонять ускакавших вперед. Лошади шли полным галопом, и вся кавалькада растянулась цепью, как перелетные журавли. Впереди всех неслась княгиня, на довольно большом расстоянии от нее

галопировал майор, у его правого стремени подпрыгивала в седле корреспондентка и позади трое в ряд скакали, сдерживая коней, натуралисты и Слепцов. Кавалькада стала сдерживать бег и перешла на рысь. Нас уже догоняли вестовые, и только княгиня все удалялась, дав волю своему гунтеру, несшему ее широким карьером по дороге прямо к Биссетунскому роднику. Не зная, насколько опытна княгиня, как наездница, я пустил Касатку, и она стала быстро настигать ее.

Мы неслись уже несколько минут. Постепенно я стал обскакивать гунтера, чтобы, сдержав Касатку, остановить этим и его. Неожиданно княгиня вызывающе взглянула на меня, задорно гикнула и понеслась вперед. Этот вызов и весь ее вид — молодой, прекрасной валькирии, с дикими глазами и выбившимися из-под шляпы прядями волос — отрезвил меня. «Ведьма, — подумал я. — Великосветская ведьма, вроде тех, в которых верит Дерибаба, рассказывая о существовании их на Кубани».

Я сдержал горячившуюся лошадь и, вместо бесцельной скачки вперегонки с княгиней, повернул кобылу и медленно подъехал к трусившей на рысях кавалькаде.

— Не смогли догнать, — смеясь, крикнул майор.

— Да, не смог, — ответил я, — гунтер княгини очень силен на карьере.

Бедная Касатка. Первый раз в жизни я сам охаял тебя и притом заведомо ложно. В самом деле, почему это я должен скакать за всякой взбалмошной женщиной, будь она даже трижды аристократка!

Мы продолжали путь. Через полчаса вдали показались шпили Биссетуна, и еще через десять минут мы въехали в широкую тень, бросаемую горой. Кони, мягко ступая, по бабки увязали в густой пыли улиц. Собаки с отчаянным лаем преследовали нас. Встречавшиеся персы, низко кланяясь, спешили мимо, а из глубины низеньких домов, через щели дверей и ветви граната, смотрели прикрытые чадрой черные глаза женщин.

Княгини все еще не было. Корреспондентка стала беспокоиться, и я, чтобы успокоить ее, послал вперед Дерибабу с приказанием разыскать княгиню и быть неотлучно при ней. Проехав деревню, мы въехали в огромный, крытый караван-сарай, весь украшенный пестрыми, цветными надписями и художественно отделанный мозаикой. Это был 999 караван-сарай, построенный шахом Аббасом Великим в 1618 году, как гласила надпись над воротами здания. Я прочел и перевел эту надпись, весьма заинтересовавшую всех.

Как только я кончил рассказ, карандаш корреспондентки вновь забегал по белым листкам блокнота.

Осмотрев караван-сарай, мы проехали дальше, к самым камням Биссетунского родника, — родника, поившего своей холодной ключевой водой полчища Дария Гистаспа, и стройные фаланги македонцев великого Искандера, и робкие толпы изгоняемых из Персии евреев, и железные когорты, огнем и мечом прокладывавших путь Риму, его могуществу и его железной тяжелой культуре. Самое главное и интересное я оставил напо-

следок. Вестовые взяли коней, и мы нетор опливо стали обходить родник и, наконец, подошли к самой Биссетунской скале, тысячелетнему памятнику великой, угасшей культуры Востока.

Подойдя ближе, я увидел довольно странную и неожиданную картину. Несколько оборванных персов окружили сидевшую на камнях княгиню, которая вела с ними какой-то странный разговор. Коверкая русско-английские слова и жестикулируя, княгиня силилась что-то узнать от них. Персы, изумленные необычным для них видом женщины в полумужском одеянии, с глупым любопытством и слегка нахальством разглядывали ее. Наше появление спугнуло их, они моментально рассыпались в разные стороны и, поглядывая издали, провожали нас малодружелюбными взглядами.

— Очень вам благодарна за опеку в лице вашего вестового, но просила бы впредь избавить меня от нее, — не глядя на меня, как бы вскользь, сухим и злым голосом бросила княгиня в мою сторону по-русски.

— Слушаю-с, но здесь я не при чем. Вестовой был послан по желанию ваших друзей, — ответил я также по-русски.

— Я очень благодарна им, но подчеркиваю, что не желала бы подобных услуг от вас.

Она встала и, сбивая стэком пыль с амазонки, пошла в сторону корреспондентки, с восторгом рассматривавшей барельефы Биссетуна.

«Странная женщина. Что с ней? Ясно одно — она зла и в данное время злится на меня». Я недоуменно пожал плечами и пошел к группе. Прямо из-за камня, мне навстречу, вынырнула фигура Слепцова. Против обыкновения у этого господина был весьма смущенный вид, и он без причины улыбался мне. Мы разошлись. Мне было неприятно, что он случайно стал слушателем нашего не совсем любезного разговора с княгиней.

У скалы шел самый оживленный и увлекательный спор. Один из ученых зарисовывал в походный альбом барельеф, высеченный на скале. Корреспондентка громко читала французскую надпись, вырезанную на мраморной доске, вделанной под клинописью, прямо над нашими головами.

— Вы подумайте, ведь эта скала видела мощные полки Александра, преследовавшие расстроенные толпы бегущих персиан. Здесь, у этой самой скалы, македонские воины в медных шлемах утоляли свою жажду, — захлебываясь от волнения, говорила мисс Эвелин, обращаясь ко всем сразу.

— Да, сударыня, история повторяется. И вот, через две тысячи с лишним лет здесь же прошли не менее храбрые, британские войска, для того чтобы окончательно и навсегда присоединить эти исторические места к территории британской короны, — проговорил Коутс.

— Ура, гип, гип, ура! — подхватил громко Слепцов, делая восторженно почтительное лицо.

Лейтенант молча приложил руку к козырьку.

Майор продолжал:

— Как ни странно, но здесь, именно здесь, далеко на Востоке, заложена наша мощь, наше будущее и сама жизнь нашей славной Британии. Чем больше внедряемся мы в глубь Азии и чем ближе знакомимся с бытом и особенностями этих народов, — тем прочнее становится положение Англии. И каждый из нас, стоя вот тут, у этой великой стены, у которой проходили десятки могучих полководцев с сотнями тысяч солдат, должен знать, что на нас лежит высокая задача сохранить и упрочить жизнь нашей страны, нашей нации и нашей короны, держа в своих руках опасные подступы к самой дорогой жемчужине — Британской Индии.

Майор умолк. Все стали пожимать ему руку, и даже один из мирно настроенных натуралистов громко выкрикнул что-то в честь британской армии. Слепцов мелким бесом вился между лейтенантом и Коутсом, успевая и тому и другому наговорить кучу приятных любезностей. Расстроганная корреспондентка в патриотическом волнении наскоро записала речь майора и успела дважды щелкнуть солидным фотоаппаратом, сняв нас на фоне живописной скалы.

— А вы почему не восхваляете доблесть британской армии, сержант? — внезапно услышал я голос княгини.

Подняв глаза, я встретил ее презрительный взгляд. Впечатление было таково, как если бы она смотрела на пустое место.

— Потому, ваше сиятельство, что и помимо меня найдутся другие почитатели, — сказал я, указывая глазами на отчаянно жестикулировавшего Слепцова, в азарте превозносившего доблесть англичан.

— А мне кажется, что, служа за деньги, вы обязаны хвалить ваших хозяев, сержант.

Я решил быть неуязвимым. Чорт знает, чего хочет от меня эта женщина.

— Я продаю свою ловкость и силу, княгиня, и только. Большего моим хозяевам не надо.

— Потому что большего, как видно, нет, — злобно, почти резко, проговорила она, продолжая в упор смотреть на меня.

Я усмехнулся и спокойно ответил:

— Возможно.

К нам подходил лейтенант Гильдебрант. За все это время он не сказал со мной почти ни одного слова; даже когда ему необходимо сказать мне что-либо, он говорит со мной кратко и в третьем лице. Он явно меня не взлюбил, — впрочем, я, кажется, отвечаю ему тем же. Высокий, холеный, красивый мужчина, Гильдебрант только недавно прибыл из Англии, где он учится в военной академии и сейчас отбывает шестимесячный практический курс здесь, на Востоке. Между прочим, он не будет принимать от меня поста, так как в его обязанность входит только произвести ревизию. Мы разбрелись у подножия скалы. Я и мисс Эвелин поднялись по камням и утесам довольно близко к самому барельефу и стали разглядывать его. Представьте себе огромную, высокую скалу саженей в сто вы-

шины, выпирающую шпилем вверх и тянущуюся грядою на несколько верст вдоль.

Скалу эту как будто бы какой-то неведомый великан рассек гигантским мечом пополам и одну половину забросил куда-то далеко в сторону; оставшаяся половина повисла над притаившейся под ней деревушкой и глядится в хрустальный родник, вытекающий из-под ее основания. На середине этой плоской скалы неизвестным скульптором, жившим много веков назад, выбит огромный барельеф, изображающий Дария Гистаспа, чинящего суд и расправу над восставшими вассалами и армянским царем. Царь изображен в высокой тиаре, сидящим на троне, за ним стоят воины с оружием и слуги с опахалами. На земле распростерт удушенный армянский царь, а возле него стоят перепуганные вассалы-бунтовщики. Весь барельеф выполнен необыкновенно художественно, не упущена ни малейшая мелочь. Копье в руке воина, тиара на голове Дария, его ассирийская в завитках голова — все это шедевры, поражающие своей красотой и выразительностью. Время пощадило скульптуру и только чуть-чуть тронуло скалу, давшую несколько продольных трещин, появившихся от нестерпимого, почти тропического зноя. Самый барельеф, конечно, пропитан какими-то снадобьями, предохраняющими его от быстрого разрушения. Ниже и вокруг барельефа скала исписана клинописью и какими-то странным узорами. Здесь же на трех языках — мидийском, древне-персидском и ассирийском — рассказывается о победах царя над Вавилоном. Я, не отрываясь, смотрел на эту реликвию старины. Сбоку от меня на двухсаженной высоте повисла мисс Эвелин, тщетно старавшаяся найти точку опоры для ног, чтобы снять барельеф возможно ближе. Внизу, на довольно большом расстоянии от нас, расположилась остальная компания. В стороне у родника стояли кони с вестовыми, а поодаль виднелся караван-сарай. Солнце уже заходило, и отсюда сверху была видна вся долина с причудливо извивавшейся рекой, горбатым персидским мостом и кривой дорогой, уходящей за скалу. Снизу нас окликнули, приглашая спуститься к завтраку, который уже стали раскладывать на траве вестовые. Как вдруг я услышал характерный, хорошо знакомый мне сухой и тонкий, чуть шелестящий свист. Похолодев от ужаса, я стал оглядываться и в ту же секунду увидел помертвевшее от страха лицо мисс Эвелин, она пыталась что-то сказать или крикнуть. Прямо перед ее головой, из расселины скалы выползала и уже свернулась в кольцо, готовясь прыгнуть, самая гнусная и ядовитая змея Ирака — Гюрза, внушающая ужас не только людям, но даже и диким животным.

Редкий кабан, несмотря на свою толстую шкуру, не сворачивал в страхе в сторону, видя потревоженную, разозленную Гюрзу. Ее шелестящего свиста было достаточно, чтобы целые караваны обходили то место, откуда слышался этот страшный свист. Змея все сильнее сжималась в кольцо. Ее серо-грязное тело пружинилось, маленьк я головка с острыми, злыми и противными глазами все шире и шире раскрывала пасть и тонкий длинный язык почти касался головы обессилевшей от страха, гото-

вой упасть в обморок, женщины. Не имея ничего в руках, я машинально выхватил из рук корреспондентки тяжелый фотографический аппарат и со всего размаха швырнул его в напружинившееся для прыжка кольцо змеи. В ту же минуту на руки ко мне упала потерявшая сознание женщина. Я поднял ее и, еще дрожа от пережитого волнения, осторожно сошел по камням вниз, к ничего не подозревающим спутникам. Разорвавшаяся бомба не произвела бы того волнения, какое вызвало мое появление из-за камней с обессилевшей мисс Эвелин на руках. Не отвечая на вопросы и возгласы, я положил ее на траву и, растерев коньяком ей виски, быстро привел ее в чувство. Отпечаток пережитого страха еще не сошел с ее лица, когда, волнуясь и спеша, она восторженно стала рассказывать о моем «героическом» поступке и «гигантских» размерах змеи. Все шумно поздравляли нас, и только один майор, старый индийский служака, хорошо знавший качества Гюрзы, молча пожал мне руку, коротко сказав «благодарю». Гильдебрант сухо, хотя и очень корректно, поблагодарил меня, приложив руку к козырьку.

Натуралисты сейчас же занялись змеей, находя в ней сходство с европейской гадюкой и индийской коброй-капеллой.

Когда мы садились на коней, мисс Эвелин, смеясь, сказала мне:

— Придется приехать снова, с новым кодаком, — на что княгиня, ни разу за все время не удостоившая меня взглядом, намеренно громко проговорила:

— Но только без сержанта, иначе вы рискуете остаться снова без снимков.

Всю дорогу я молчал и отставал от кавалькады. Уже вечерело, когда мы въехали в Сади-Кянт.

2.

— Слава богу, — радостно встретил нас успевший порядком соскучиться Вильбуа.

Оказывается, оставшись один, он весь вечер проскучал, сидя у князя. Словоохотливый, добродушный француз, несмотря на все усилия, не смог вызвать на длительную беседу корректного и чопорного князя, воспитанного в чисто петербургском стиле восьмидесятых годов.

— Вы не поверите, за целый вечер он сказал не больше двадцати слов, — жаловался добряк. — Если б не жара, я ушел бы от него гораздо раньше. Подумать только, что у такого сухого, скучного человека такая красивая и обаятельная жена. О, я знаю толк в женщинах, уверяю вас, — прибавил он, — и всегда считал, что ваши соотечественницы и вообще славянки самые очаровательные женщины в мире. Кстати, — совсем разболтался француз, — знали ли вы их у вас, в России?

— Не имел чести.

— Говорят, — продолжал Вильбуа, — но это между нами, что княгиня совсем не любит бедного князя. О ней было много разговоров еще задолго до их приезда в Бомбей. Ведь она так же эксцен-

трична, как и красива. Вы знаете, конечно, о чем я говорю? —— спросил Вильбуа.

Я вновь уверил его в своем полном неведении.

— О ее последнем увлечении раджой Нишапу́ра и о великосветском скандале, разразившемся в голубом парке Бомбея.

— Ничего не знаю, — уже с любопытством сказал я.

Вильбуа сел на любимого конька.

— Как вы уже знаете, князь и княгиня приглашены в гости лордом Паркером, бывшим британским посланником при дворе царя Александра. Лорд Паркер и князь Строганов — большие друзья... В свое время князь в России оказал лорду какую-то важную услугу... Сейчас, когда эти возмутительные большевики отняли у князя его имение, ему с трудом удалось бежать в Англию, откуда он и был приглашен лордом гостить в Индию. Несмотря на секвестр имущества, князь и сейчас достаточно богат, — кажется, в Британском банке у него солидный текущий счет.

Француз забыл основную тему и готов был с большей точностью рассказывать о богатствах князя.

Я перебил его:

— А княгиня?

— А княгиня очень красивое и очень оригинальное существо. О ней говорят очень много и весьма различно.

Он сделал паузу.

— Из одного, очень достоверного источника мне известно, что она побочная дочь великого князя Михаила, брата Александра III; но кое-кто говорит, — это, конечно, неверно, — что она простая циркачка, поразившая своей красотой старого князя. Второе — разумеется, миф, — поспешил успокоить меня Вильбуа.

— Конечно, княгиня аристократка и очень, очень родовитая, этот миф распространили врангелисты из-за отказа княгини участвовать в благотворительных обществах, помогающих им.

— Вот как, — перебил я Вильбуа. — Странно. Что же вызвало этот отказ?

— Княгиня — большая патриотка и так ненавидит этих варваров-большевиков, что армия Врангеля, не сумевшая отстоять Россию и отступившая за границу, вызывает в ней презрение.

«Ах, вот оно что, — подумал я. — Не этим ли вызвано такое странное отношение ко мне?»

— Да, итак, я продолжаю. Княгиня эксцентрична, как настоящая аристократка. О ее увлечениях и любовных экспериментах ходят легенды. Ни один мужчина, которым хотела владеть эта женщина, не ушел от ее чар. Но она оставляет их так же быстро и легко, как и берет. Вы помните бедного Роджерса и его трагическую смерть, — это один из эпизодов на пути княгини. А Стэнли Джонс... Ведь он тоже очередная жертва ее темперамента. Инцидент, о котором я начал говорить, произошел за несколько дней до нашего отъезда сюда. Раджа Нишапура был пред-

ставлен княгине за вечерним чаем у Паркеров. Не прошло и двух дней, как она уже овладела им. А еще через день лейтенант Гильдебрант... — Я широко открыл глаза. — Да, да, вот этот самый, в порыве ревности дал пощечину радже и на следующий же день, во избежание скандала, был назначен сюда в фиктивную командировку. Раджа заперся у себя в Нишапуре и горит местью, лейтенант здесь, а княгиня, которой еще не наскучил Гильдебрант, захотела ехать в эту... — француз протянул:— «научную поездку».

— Простите меня, — перебил я его, — а вы, зачем вы поехали сюда?

— Я? Отчасти потому, что давно хотел ознакомиться с этой местностью. Ведь мне, генеральному консулу дружественной державы, такая поездка необходима, а отчасти и потому, что я тоже слегка привык к обществу княгини и хотел сопровождать ее.

Француз усмехнулся и добавил:

— Из нас, мужчин, только двое не влюблены в нее; этот первый — ее муж, князь Строганов, а второй, и то пока, это — вы...

В эту минуту вошел Дерибаба.

— Борыс Пэтрович, разрешите доложить...

Нужно сказать, что Дерибаба по старой своей привычке в присутствии посторонних принимает казенно-официальный вид и «докладывает» по-военному, — нужды нет, что его никто, кроме меня, не понимает.

— В чем дело, Максимыч? — спросил я.

— Там с пароходу пришлы. Прикажете пустить?

В комнату вошел слуга с парохода и, объявив, что ужин готов, пригласил нас к столу. Столовая с общего согласия была выбрана у сэра Хьюза, в доме кятхуды. Мы с консулом вышли на улицу. Ночь уже спустилась над пустыней. Было темное, темное небо, и яркие точки звезд вспыхивали на его опрокинутом куполе. Дневной, нестерпимый зной спадал, и от реки подул прерывистый, прохл дный ветерок. Над пустыней всходила полная луна. Ее круглое лицо несмело показывалось за Тигром, и пока только камыши и часть джунглей были осеребрены бледным, неясным светом. Ровная, спокойная, блестящая полоса Тигра отсвечивала, как широкий, кривой турецкий клынч [1]). Было тихо, тихо... Только где-то на окраине Сади-Кянта жалобно заблеял козленок и прокричала сова. Мы подходили к ярко освещенному дому кятхуды. Чуть поодаль и влево, причудливо чернея и мигая огнями иллюминаторов, стоял монитор.

Когда мы вошли, общество было уже в сборе. За ярко освещенным длинным столом сидела вся экспедиция. Дамы в нарядных, вечерних туалетах, мужчины в легких элегантных костюм х. У стены и у входа стояли слуги. Стол по английскому обычаю был заставлен массой закусок и мясных блюд. Нас шумно приветствовали. Француз уселся между мистером

---

[1]) Сабля.

Хьюзом и майором, я же сел на оставленное мне место между мистрисс Хьюз и княгиней. Прерванный нашим приходом разговор возобновился. Слуги вносили блюда и подливали в бокалы вина. Богатая сервировка, освещение, элегантные костюмы дам, обилие слуг и самый стиль ужина заставляли забыть о том, что мы находимся вдали от города и цивилизации. Я давным-давно не сидел за тонко сервированным столом в обществе прелестных лэди и корректных джентльменов и, отвыкнув от вина, цветов и благоуханной атмосферы женского общества и уюта, был несказанно рад случаю, хоть на миг вернувшему меня в лоно цивилизации, оставленной мною со дня прибытия в Сади-Кянт. Мистрисс Хьюз, дама лет сорока, с энергичными, живыми глазами, вновь завязала разговор со мной. На этот раз темой нашей беседы была археология, в которой почтенная лэди оказалась очень сильна. Она много и интересно говорила о Биссетунском барельефе, о храме Эсфири и Мардохея в Хамадане и о развалинах Персеполиса, находившихся где-то около Шираза. Признаюсь, хотя я внимательно слушал мою собеседницу и живо поддерживал разговор с нею, но мысли мои были направлены к соседке слева — княгине Строгановой.

Информация француза не выходила из моей головы. Кто она? Действительно ли сильная и властная женщина, подчиняющая всех своему влиянию, или обыкновенная светская, распутная женщина, разнузданная и бесстыдная, такая, каких много встречал я и у нас в России и по Европе. Какой-то незначительный вопрос, заданный мною из учтивости, втянул княгиню в наш разговор. Слуги усердно подливали вино, и веселое настроение за столом расцветало все сильнее и ярче. Майор и француз сказали пару коротких спичей в честь нашей веселой и радостной компании. Мисс Эвелин подняла бокал за «своего спасителя», и глаза всех присутствующих и их бокалы обратились в мою сторону. Я поблагодарил за внимание. Легкое опьянение начинало возбуждать меня. Несколько раз я замечал на себе насмешливые и любопытные взгляды княгини. Вино развязало мне язык. Воспользовавшись моментом, когда мистрисс Хьюз увлеклась с одним из натуралистов разбором фресок на стенах собора святого Петра, я обратился к княгине со стереотипным вопросом об удовольствии поездки по Тигру. Она как будто ждала моего вопроса. Разговор завязался, подогретый вином и веселой атмосферой стола. С общих тем я перевел тему беседы на Россию. Маневр удался. Княгиня не только любезно отвечала мне, но стала даже расспрашивать о моей службе в Сади-Кянте.

— Кстати, Борис Петрович, — ведь, вас так, кажется, зовут? — у вас презабавный вестовой, ваш милый и дурашный казак, — смеясь, сказала она. — Он в течение десяти минут рассказал мне о вас больше, нежели вы смогли бы сказать о себе за весь вечер.

Я был удивлен.

— Скажите, княгиня, чем я мог вызвать вашу немилость, впродолжение вот уже двух дней? — улыбаясь, спросил я.

Княгиня внимательно взглянула на меня и, растягивая слова, искоса поглядывая в мою сторону, спросила:

— Вы помните Чехова, да? А его «Жалобную книгу» тоже? Вот там, мой милый сержант, есть одна очень хорошая фраза: — «Хоть ты и седьмой, а... а...».

— ...а дурак, — добавил я.

— Да, кажется, так, — быстро проговорила княгиня. — Итак, повторяю, ваш милый Лепорелло рассказал мне о вас, о ваших увлечениях арабами и, словом, обо всем.

— Но он мне ни звука не сказал, — удивился я.

— И не скажет, — уверенно проговорила княгиня, смеясь одними глазами.

Между прочим, глаза у нее большие, большие и синие, как васильки, а сама она темная шатенка, высокого роста с красивой, словно точеной фигурой. Голос у нее грудной, и, когда она говорит, впечатление таково, как будто говорит не женщина, а юноша, у которого только что сформировался мужской голос.

«Странно... Я уделяю особе княгини как будто больше внимания, чем следует».

Ужин подходил к концу. Разговор стал общим, и я перекинулся через стол несколькими фразами с Вильбуа. Француз был весел и трещал без умолку. Майор был любезен, как всегда, он развлекал сидевшую рядом с ним корреспондентку и рассмешил всю компанию, рассказав несколько забавных военных анекдотов из времен великой войны. Лейтенант молча пил и только изредка вскидывал на княгиню будто бы случайный, но несомненно внимательный, наблюдающий взгляд. Раза два он посмотрел тяжелым взглядом мне в глаза и задержал взгляд больше, чем следует. Теперь мне после откровений Вильбуа ясно все, я начинаю понимать этого мрачного, корректного и неразговорчивого человека. Он любит княгиню и не только любит, он обожает ее мутной, звериной страстью и боится минуты, когда потеряет ее. А он ее потеряет, это видно по княгине, да он и сам это знает.

Странные люди, странная экспедиция. И все же я благословляю случай, занесший их в Сади-Кянт.

Ужин окончился. Мы ели фрукты, кое-кто курил. Ночь совсем окутала пустыню, и полная луна осветила Тигр, камыши, джунгли и Сади-Кянт. Сэр Хьюз и князь Строганов, извинившись и спросив у дам разрешение, ушли на покой. Мисс Эвелин предложила перед сном устроить маленькую прогулку за село. Все согласились, и наша небольшая группа вышла на улицу. Лейтенант, подойдя к княгине, предложил ей руку, — она окликнула меня:

— А вы, сержант, ведь с нами?

Дух противоречия и упорства снова завладел мной.

— Извините, княгиня, но я должен рано утром объехать посты, и мне необходимо лечь спать.

Француз разинул рот от удивления и превратился в карикатурный, вопросительный знак. Я попрощался со всеми. Когда я целовал руку княгини, она внятно по-русски проговорила:

— Хоть ты и седьмой, а дурак.

Через полчаса я уже спал у себя на кровати. Под утро пришел француз и своим оханьем и кряхтеньем разбудил меня. Уже светало. Зонты пальм четко вырисовывались на фоне серого рассвета, и темные силуэты кактусов безобразной массой серели вдали. Чуть поблескивала река. Огни монитора погасли. Было тихо и только изредка завывали бродившие за селом и в камышах шакалы.

Надо было ехать на посты.

Пустыня приветливо встретила меня. Свежая утренняя прохлада бодрила отдохнувшее за ночь тело. Песок поскрипывал под копытами Касатки, широкой рысью шедшей по направлению к Энги-Имаму. Сзади на-рысях скакали двое солдат. Туман редел и, клочьями отрываясь от земли, тихо плыл вверх, гонимый утренним ветерком. Пустыня еще спала, и только одинокие шакалы перебегали дорогу и прятались в густом кустарнике низкорослого кизила.

Через полчаса показался стоявший на горе Энги-Имам. Часовые не спали, и, когда я подъезжал к воротам крепостной стены, ко мне навстречу выехал начальник поста Риза-Абдур-Рахман, высокий и красивый афганец, уже третий год служащий в нашем пограничном полку. Пост был в порядке. Оружие и кони держались в надлежащей чистоте. Провиантом и припасом люди были обеспечены на неделю, и телефонная связь с Сади-Кянтом была в исправности. Ствол пулемета черной точкой смотрел из амбразуры башни и наблюдал за порядком в пустыне. Следующий пост был в семи верстах от Энги-Имама в летней резиденции курдского главаря, Али-Мардахана, только год назад признавшего «де-юре» власть Англии. Правда, и посейчас наша агентура давала нам самые точные сведения о хане, всегда изобличавшие его в двойственной политической игре. Признав и получая от британского резидента в Багдаде мешки с рупиями [1]) и туманами [2]), Али-Мардахан остался ярым врагом англичан, беспрерывно ведущим переписку с турками и по достоверным данным нашей агентуры являющимся главным инициатором набегов луров [3]) на прилегающие к Ираку окрестности. Несмотря на льстивые речи и английское золото, Мардахан предпочитает вести беседу с нами на расстоянии и еще ни разу, несмотря на все уговоры и посулы, не спустился с гор, хотя он весьма аккуратно через своего дядю, Вали Пуштеку, получает английское содержание. С того момента, как пост расположился в его резиденции, Али-Мардахан, «друг и сторонник Англии», как он себя рекомендует в офи-

---

[1]) Рупия — индийская монета около 50 коп.

[2]) Туман — персидская монета около 2 руб.

[3]) Луры — обширное горское племя, очень воинственное.

циальных переговорах, перенес свою резиденцию еще глубже в горы, почти в неприступное ущелье Хорем-Абада. Несмотря на его явную ненависть к нам, нам строго приказано не обижать никого из его племени и во что бы то ни стало воздерживаться от каких-либо инцидентов, могущих вызвать открытую борьбу с нами Мардахана.

Часов в девять я осмотрел последний пост и повернул коня к Сади-Кянту. Был уже день, как всегда, жаркий и душный. Усталая Касатка, чуя близкий отдых, нетерпеливо рвалась домой, и мне приходилось сдерживать горячившуюся лошадь. Скоро показались сады, разбросанные вокруг Сади-Кянта. Еще через минуту я въехал в село. Отпустив солдат и передав им кобылу, я пошел по улицам, разыскивая дом Бен-Кадыра. Встречавшиеся арабы вежливо и степенно приветствовали меня. Резвившиеся ребятишки не пугались меня и, не обращая на меня внимания, продолжали играть на песке. Один из мальчуганов взялся проводить меня к Бен-Кадыру; мы пошли через проломленное в стене отверстие и, ступая по грядам винограда, вышли к небольшому домику, обнесенному глиняной стеной. Мальчик, проводивший меня, постучал ручной скобой в дверь, — за дверью послышались чьи-то шаги. «Худаафиз» [1])! — крикнул мне мальчуган и исчез за поворотом улицы. После минутного разговора через дверь мне осторожно открыли. Я вошел по коридору в прохладную чистую комнату и в ожидании хозяина присел на мутаки. Прошло несколько минут, — никто не входил. Я оглядывал стены, на которых висело несколько изречений из корана, портрет персидского шаха Музаффер-Эддина и большой литографированный в красках портрет Энвера-паши. На полу был разостлан густой, отличный султан-абадский ковер и поверх него два маленьких, изящных саруха [2]). В нишах стен стояли сундуки с постелями, а на них лежали книги, бумага и какие-то большие, писаные от руки, свитки. Чувствовалось, что в комнате жил человек, близкий к науке и тесно связанный с народной мудростью. Дверь тихонько приоткрылась, и в зеркале, вделанном напротив в стене, показалось хорошенькое, смуглое, полудетское личико, с большими черными глазами. Почувствовав, что они обнаружены, глаза скрылись так же внезапно, как и появились.

— Не бойся, сестра, — крикнул я по-персидски, — не бойся, скажи, дома ли учитель мой и отец, Бен-Кадыр?

Несколько секунд за дверью молчали, затем послышался нежный, детский голос, не знаю почему, но воскресивший передо мною детство и мою давно забытую и растерянную семью.

— Я не боюсь, сагиб, — только закон не велит говорить с чужими мужчинами.

— Но если ты ничего не скажешь мне, тогда я просижу еще столько же и не буду знать, дома ли Бен-Кадыр, — сказал я, глядя в сторону от двери.

---

[1]) Худаафиз — нечто вроде «до-свидания».

[2]) Сарух — местность в Персии, где выделывают небольшие отличные ковры.

— Сагиб говорит правду, только сагиб знает, что нашим женщинам закон совсем не позволяет говорить с мужчинами, — повторила она.

— Ну, хорошо, — засмеялся я. — Ты не говори сама, а только отвечай на мои вопросы. Хорошо?

Я снова отвернулся к стене, не упуская из поля зрения предательского зеркала, сиявшего в стене.

— Хорошо, так можно, — послышалось из-за двери.

Дверь снова приоткрылась, и снова пара ярких глаз стала с любопытством разглядывать меня.

— Ты, наверное, дочка Бен-Кадыра? — спросил я.

— Нет, я его племянница, дочь его брата.

— Дома ли Бен-Кадыр?

— Нет, сагиб, его нет, но он скоро должен притти. Он пошел к мулле, у которого сидит приезжий человек из Багдада, рассказывающий новости.

— А кто еще живет здесь, кроме тебя?

— Моя сестра Зикра. Ей всего восемь лет, сагиб, — зазвенел голос за дверью.

— А как тебя звать, сестра?

— Мадинэ, сагиб.

— У тебя хорошее имя, красивое, наверно, такое же, как и ты сама.

Голос ничего не ответил, но дверь все шире и шире раскрывалась. В квадрате зеркала я видел красивые глаза, смуглое лицо с копною черных волос и серебряной серьгой в ухе.

— Сестра, я очень хочу пить. На улице жарко и воздух, как огонь. Дай мне воды или айрана, — обратился я к смуглянке.

— Сейчас, сагиб.

Голова, уже наполовину бывшая в моей комнате, исчезла и через полуотворенную дверь я увидел, как ее тень мелькнула на фоне второй двери, ведшей на двор. Через секунду, она внесла мне в большой круглой чашке, полной до краев, холодный и густой аб-джу [1]). Помня, что перед мужчиной нельзя показаться без чадры, маленькая кокетка набросила на себя не по фигуре длинную чадру, влачившуюся шлейфом сзади.

Поставив передо мной айран, она отошла к двери, но уже не вошла в нее, а присела на корточки и стала смотреть, как я с жадностью, не отрываясь, пил холодный напиток.

— Спасибо, Мадинэ, — сказал я, ставя пустую чашку на пол.

— Пей, сагиб, на здоровье. Может, хочешь еще?

— Нет, спасибо, пока довольно, — успокоил ее я.

Лед был сломлен, доверие завоевано, и мы мирно завели разговор с Мадинэ.

— А я знаю сагиба, — сказала она.

— Наверное, тебе говорил обо мне Бен-Кадыр?

---

[1]) Аб-джу и айран — вода, смешанная с сывороткой от кислого молока.

— Говорил и он. И много говорил. Только он сказал, что ты добрый и хороший русс, не похожий на энглизов и прочих фаренги, но он ошибся, ты тоже плохой, еще хуже их, — вдруг быстро и обиженно сказала девушка.

Я удивился. В ее голосе была такая искренность и звучало столько настоящего горя, что я невольно почувствовал себя виноватым в чем-то перед ней.

— Скажи, Мадинэ, разве я сделал тебе что-либо плохое, или обидел тебя?

Мадинэ вскинула голову. От этого резкого движения чадра спала у нее с лица и поползла по плечам. Глаза ее смотрели прямо на меня, строго и внимательно.

— Сделал, сагиб, сделал. Ты меня забыл, а я тебя помню. Зачем ты убил там, на острове, этого красивого джеру [1])? Разве он тебе сделал плохое? Он тебе поверил и летел, не боясь тебя, а ты его убил. Я тогда столько проплакала над ним, — тут голос ее стал опять детским и добрым. — Ведь, сагиб не знает, я его забрала к себе и похоронила его у нас в саду, дядя тогда пожалел меня.

Я был смущен. Мне было и жаль эту девочку, которую я так неожиданно для себя огорчил, и неприятно, что я ей показался злым и дурным. Увлекшись разговором со мной, она больше не покрывалась спавшей с плеч чадрой и сидела против меня такая юная, яркая и красивая, что я невольно залюбовался ею.

На мгновение передо мной пронесся образ княгини, — властный, холодный и зовущий, и так же быстро был вытеснен этой наивной смугленькой девочкой с большими черными глазами и доверчивым добрым взглядом. Что-то давным-давно забытое, схороненное где-то в тайниках души вместе с первой любовью и гимназическими грезами, пробудил во мне этот ласковый девичий взгляд...

— Бен-Кадыр говорит, что сагиб очень добрый и очень любит наш народ. И это правда. Разве энглиз говорил бы со мной так, как сагиб, или я бы сама заговорила с ним? А как зовут сагиба?

— Борис.

— Бо-ри-с, — протянула она и засмеялась. — Мадинэ лучше. А что, сагиб, все руссы такие, как ты?

— Какие такие? — удивился я.

— Такие добрые, и любят всех мусульман?

— Да, все, — подтвердил я и улыбнулся, вспоминая Дерибабу и его нелестные эпитеты по адресу «рыбьих глазов» индусов.

В дверь постучали. Моя собеседница вскочила. Ее лицо приняло озабоченный вид; волоча за собой чадру, она кинулась к входной двери. Послышались голоса. Дверь открылась и спустя минуту вошел Бен-Кадыр. Старик был очень растроган моим визитом и, главное, длительным

[1]) Джеру — фламинго.

ожиданием его прихода. Чудак не подозревает, какое удовольствие я получил от его отсутствия. После первых минут традиционных приветствий и обоюдных справок о здоровьи и настроении Бен-Кадыр крикнул в дверь, чтоб принесли чай, и стал расспрашивать меня о новостях, о приезде экспедиции, о том и о другом. Я кое-как поддерживал разговор, не отводя глаз от двери, и с трудом сдерживался от нетерпеливого желания опять увидеть Мадинэ. Умный старик заметил это. Не знаю, понравилась ли ему моя невоспитанность, но с чисто-восточной любезностью и тактом он сказал:

— Ты, сын мой, видел мою Мадинэ. Вот она и ее сестра Зикра — утешение моей жизни. Давно, уже семь лет, как Аллах взял их отца, а моего брата к себе, и они остались в моем доме. Я до сих пор благословляю судьбу, давшую мне таких хороших и чистых детей. Ты видел Мадинэ, она мне сказала об этом. Скажи, сын мой, есть ли еще женские глаза такие же чистые, как у нее?

Я снова вспомнил княгиню и потупился. Старик опустил голову. Я молча слушал его. Вошла Мадинэ, внеся на подносе два маленьких стакана чаю, блюдечко с колотым сахаром, финики и сухой инжир.

— Мадинэ, — подозвал ее Бен-Кадыр, — вот тот сагиб, который мне после тебя и Зикры дорог и близок, как родной сын. Для него, Мадинэ, дом мой, когда я дома или когда я в пути, всегда открыт, и в этом доме он такой же хозяин, как и мы. Помни это, Мадинэ, и будь ему сестрой, потому что у него чистое сердце и он любит наш народ.

Я был растроган словами доброго старика и стал его целовать. В эту минуту мне стало стыдно себя. Мне было стыдно этого бедного старика, принимающего меня за кого-то другого, желающего освободить Восток. Слезы показались у Бен-Кадыра, и он отвернулся, желая их скрыть. Несколько минут длилось общее молчание, но мы, трое, чувствовали, как безмолвно, но искренно, мы сближались сердцами и роднились друг с другом.

— Из Б. гдада приехал Измаил-Бей-Субхи, торговец фруктами. Он едет в Ханекен, за партией сушеных фиников, — успокоившись, стал рассказывать Бен-Кадыр. — Он говорит, что энглизы провели дорогу до самого Керманшаха и будто бы посылают туда войска против большевиков.

Бен-Кадыр выговаривает не «большевик», а «бальшави». Во время нашей беседы Мадинэ с любопытством присматривалась ко мне. Мое присутствие, как видно, нисколько не стесняло ее, — наоборот, она иногда сама обращалась к Бен-Кадыру с тем или другим вопросом. По ее заботливому виду и по тому, как она внимательно ухаживала за стариком, можно было судить о ее любви к Бен-Кадыру. В конце нашей беседы дверь из другой комнаты внезапно отворилась и в ней показалась маленькая девочка, с комичным видом разглядывавшая меня. Мадинэ вскочила и, схватив ее на руки, закружилась по комнате.

— Это, сагиб, Зикра, моя сестра, — она пришла посмотреть на тебя.

Мадинэ стала целовать девочку, щекоча ее. Обе барахтались, заливаясь радостным, детским смехом. Бен-Кадыр с улыбкой глядел на эту картину и, как бы извиняясь, сказал:

— Не сердись, сын мой. Хоть одна коза и старше другой, но разум у них один.

Я взглянул на Мадинэ. Она фыркнула и залилась еще более звонким смехом. Так просидели мы до полудня. Уже пора было итти домой, я стал прощаться со своими новыми друзьями. Уходя, я в сенях попрощался с Мадинэ и, провожаемый напутствиями Бен-Кадыра, вышел на улицу.

3.

Майор вместе с лейтенантом обходили моих солдат. Я сопровождал их, поясняя расположение постов и отвечая на вопросы. Старый служака, знавший, как пять пальцев, все трудности индийской службы, майор главное внимание обращал на строевую подготовку, правильное и здоровое питание солдат и, больше всего, на стрелковое дело.

Вопросы, которыми интересовался Гильдебрант, вроде устава гарнизонной службы или окопного дела, вовсе не занимали майора. Он отлично знал, что в пустыне и джунглях жизнь и покой человека зависят не от фортификационных талантов солдата, а от во-время пущенной и метко направленной пули. Сытый солдат, умеющий отлично стрелять, был идеалом майора. Пробная стрельба, произведенная нами, умилила майора, и, очень довольный результатами обследования, он пришел в веселое настроение. Лейтенант сохранял спокойный вид и по обыкновению молчал.

Возвращаясь домой, мы проходили через базар. Несколько ужасных нищих, лохматых, грязных и всклокоченных, провожали нас. Это были бродячие дервиши [1]), главным занятием которых было ничегонеделание и бродяжничество. Майор бросил им несколько серебряных монет, и они с хриплыми криками благодарности, а может быть, и ругани бросились поднимать их. Из одного чай-хане, расположенного тут же у деревни, нас окликнули. Мы остановились. В дверях показалась круглая фигура француза, махавшего рукой и приглашавшего нас войти внутрь. Мы увидели следующую картину. На широких и длинных цыновках полулежало и сидело несколько арабов и персов в самых разнообразных позах. Перед некоторыми стоял чай, другие, опустив голову и раскинув руки и ноги, спали или грезили с открытыми глазами. Почти все присутствующие курили опиум, тяжело, со вздохами, втягивая его глубоко в себя. Синеватый, густой и пряный, кружащий голову дымок навис в комнате. Прямо, среди кучи разбросавшихся тел, сидела на широкой подушке княгиня и курила свою трубку, от которой у нее побледнело лицо и большими синими кружками раскрылись зрачки. Француз, разводя руками, обратился к нам:

[1]) Дервиши — религиозная секта воинствующего ислама, ныне выродившаяся в бродячих странников-богомольцев.

— Господа, ради бога, уговорите княгиню перестать курить. Мне лично это не под силу вот уже в продолжение получаса.

Майор, превращая все в шутку, стал что-то говорить княгине, мягко силясь взять из ее рук трубку с дымившимся опиумом, как вдруг Гильдебрант, все это время молчавший и не двигавшийся с места, стремительно бросился вперед, в самую гущу перепутанных, одурманенных опиумом тел и, яростно вращая белками глаз, стал изо всей силы избивать тяжелым стэком эти полумертвые, ничего не чувствующие в опьянении тела. Хриплые звуки вылетали из его груди. Несколько секунд длилось это избиение, затем стэк сломался, и пришедший в себя, оцепеневший от удивления, майор, крепко положив руку на плечо лейтенанта, коротко и строго крикнул:

— Лейтенант Гильдебрант, опомнитесь!

Лицо лейтенанта, красное и возбужденное перед этим, стало бледнеть. Глаза принимали обычное выражение, и весь он как-то сразу посерел и потух. Между тем, избитые им люди, приведенные в нормальное состояние таким необычным образом, силясь выбежать на улицу, в страхе жались к двери, у которой стояли мы. Шум упавшего буфура привлек мое внимание. Княгиня резко отбросила от себя трубку и встала с подушки. Лицо ее, за минуту до этого бледное и одурманенное, сейчас исказилось ненавистью. Судорога мешала ей говорить. Глаза ее были устремлены на лейтенанта.

— Вон, сейчас же вон! — вырвалось из уст княгини, и ее рука сделала жест к двери.

Съежившись, с низко опущенной головой, Гильдебрант исчез в дверях.

— Пойдемте, господа, — спокойно, как будто бы ничего не произошло, через минуту проговорила княгиня, подавая майору руку.

Мы вышли из курильни, провожаемые примолкшим французом. У стен жались фигуры испуганных людей. Пройдя до площади, майор откланялся и пошел домой. Француз последовал за ним.

— А вы тоже сбежите от меня? — спросила книгиня.

— Я совершенно свободен и нахожусь в вашем распоряжении, — ответил я.

— Тогда пойдемте со мной.

— Куда?

— Не знаю. Идемте прямо. Я не хочу сейчас возвращаться домой, тем более, что наша публика вся в разброде. Мисс Эвелин с ученым уехала вниз по реке, а другие сидят по комнатам и боятся показаться на солнце.

Солнце действительно палило немилосердно. Мы молча дошли до реки. Несколько сонных от жары каюкчи [1]) лениво предложили нам лодки. Я посмотрел на княгиню, она утвердительно кивнула головой. Мы сели в лодку. Лодка была маленькая, двухвесельная. Я сел за весла.

[1]) Каюкчи — лодочники.

Мы оба молчали. Я греб, а княгиня, полулежа на носу лодки, молча смотрела поверх меня, на уплывающий берег и удалявшийся Сади-Кянт. Не знаю почему, но я направил лодку к тому островку, на котором совсем недавно так неудачно охотился с Дерибабой и где произошла первая встреча с Мадинэ. Лодка вошла в камыши и мягко уткнулась в берег. Я помог княгине сойти на землю и, втянув на песок каик, пошел за ней. Безмолвие окружило нас. Вокруг не было ни души. С того момента, как я был здесь, еще ярче и пышнее поднялась трава и яркие цветы глядели из зелени. В кустах порхало множество разнообразных птиц. Мелькали какие-то зеленые птички, а над ними проносились быстрые ласточки и, широко распластав крылья, плыли фламинго. По заводи с глупым видом ходили важные пеликаны и чопорные марабу.

— Какая прелесть, посмотрите, Борис Петрович, какие красивые птички! — сказала княгиня, указывая на них. — Вероятно, у вас имеется немалый запас различных забавных рассказов о них.

— Мой учитель, старый араб Бен-Кадыр рассказывает мне почти все сказки и поверья Востока, которые знает сам. А знает он их множество.

— Часто вы встречаете его?

— Почти каждый день, за исключением, конечно, последних. Но завтра я думаю навестить его.

— Я хочу пойти с вами, если, конечно, не помешаю вам?

— Нисколько, княгиня. Наоборот, милый старик будет очень рад вашему визиту.

— Скажите мне на-память какое-нибудь восточное стихотворение, — попросила она.

Я подумал и продекламировал «Страсть» Гафиза:

Страсть имеет огненную лапу, о, моя дорогая...
Я задыхаюсь прохладной ночью от любви к тебе.
О, мой солнечный луч, не уходи из моего сердца,
Потому что с любовью кончится и жизнь...

— «...с любовью кончится и жизнь», — раздельно и вдумчиво повторила княгиня. — Да, без любви умирает жизнь. Ну, спасибо вам, дорогой Борис Петрович, — внезапно просто и радушно проговорила она. — Спасибо за стихи и за компанию. А теперь домой. Завтра же я с вами к вашему учителю. Ладно? — спросила она.

— Ладно, — так же просто ответил я и пожал ее протянутую руку.

Она взглянула мне в глаза каким-то особым, любопытствующим взглядом.

— А Чехова вы все еще не забыли? — уронила она, когда мы садились в лодку.

— Нет, не забыл, — ответил я и помог ей перейти к корме, слегка поддержав ее за талию.

Она, не отодвигаясь, снова взглянула мне в глаза и тихонько усмехнулась. Я заработал веслами, рассекая нагревшуюся воду. Всю дорогу я чувствовал на себе ее упорный взгляд.

4.

Натуралисты привезли из поездки несколько ящериц в фут величиной, каких много водится в песках пустыни Кара-Лют. Кроме того они поймали несколько редких видов птиц и огромную змею, аршина в два длиною. Орнитолог, сопровождавший их, наловил целую кучу различных бабочек, жучков, червей и ядовитейшее из тропических насекомых — стоножку, которой он особенно был рад. Словом, первая их поездка удалась на-славу, и они были очень довольны результатами ее. Мисс Эвелин, вооруженная новым «кодаком», неотступно сопутствовала им и добросовестно вносила все детали поездки в свой блокнот.

К обеденному столу собрались все, за исключением лейтенанта, который не вышел к обеду, отговорившись головной болью. Обед прошел так же шумно и весело, как и вчера, и так же весела была княгиня, находившаяся в особенно хорошем настроении. Слепцов поместился напротив меня, на месте Гильдебранта, и, как мне показалось, незаметно наблюдал и прислушивался к моему разговору с княгиней. Часам к одиннадцати все встали из-за стола и, откланявшись, разошлись по домам.

Вильбуа, закурив толстую манилльскую чируту и сев поудобнее в плетеное кресло, залился тоненьким, добродушным смехом. Я никак не реагировал на это, терпеливо ожидая окончания приступа веселья у симпатичного француза. Это продолжалось минуты полторы, затем француз сказал:

— Итак, теперь остался только один мужчина, не влюбленный в княгиню, и этот мужчина — ее муж.

— Ничего подобного. Этот мужчина — я, — ответил я, не желая больше говорить на эту тему.

— Давай бог, — вздохнул добряк, — но только, дорогой друг, вы разрешите мне называть вас так, только помните, что в лице этого ревнивца лейтенанта вы приобретаете опасного и сумасшедшего врага.

— Я снова говорю вам, дорогой Вильбуа, что если это так, то лейтенант, как и вы, глубоко ошибается в моих чувствах к княгине.

Француз поглядел внимательно на меня, потом подумал и удивленно развел руками.

— Но ведь, чорт побери, она ищет вас. Неужели же вы сами этого не видите?

— Нет, не вижу. Мне кажется, что княгиня со всеми одинакова в обращении, и, по правде сказать, дорогой Вильбуа, мне не очень хочется говорить на эту тему.

Я ласково и мягко пожал руку французу.

— Ну, хорошо, хорошо, не буду. Может быть, вы и правы, — заторопился добряк и, уже раздеваясь и ложась в постель, сказал. — Но вы понимаете, дорогой мосье Борис, что вас я считаю другом и искренно успел полюбить вас.

Через минуту он уже спал, слегка похрапывая во сне. Я взялся за Гафиза и до утра с наслаждением читал его. Когда я дошел до его «Страсти», я дважды перечел ее и, неожиданно для себя, громко повторил:

Страсть имеет огненную лапу...

Проснулся я от легких толчков в спину. Это меня будил Дерибаба.

— Вставайте, Борыс Пэтрович! Та вставайте ж! Тю, ей-богу, развалылысь як тюлэнь какой. Та вставайтэ ж.

Я поднял голову. В комнате играли лучи давно взошедшего солнца. Был уже одиннадцатый час. Я умылся, причем Дерибаба, поливая на меня воду, рассказывал новости. Оказывается, вчера ночью двое матросов учинили дебош в селе и сегодня были арестованы майором. Во время моего сна приходил...

— Да бодай его бис. Вот забув. Ну, русский, що с полковником приихав.

— Слепцов? — спросил я.

— Во, во, Слепцов.

— Чего ему надо?

— Не могу знать. Походыв, походыв по кимнате, тай и пийшов назад. Вин ще вертается, — успокоил меня Дерибаба.

Через полчаса вошел Слепцов. В последнее время он весьма любезен со мною. Тон, которым говорил этот субъект в начале нашего знакомства, он совершенно оставил и сейчас засыпает меня комплиментами и любезностями. Последнее мне мало нравится. Ясно, что он хитрит и задумал что-то такое, чего надо очень и очень остерегаться.

— А, соня, проснулись! — крикнул он, входя и выражая намерение потрепать меня по плечу. — Я уже второй раз захожу к вам.

Он оглядел комнату.

— А у вас мило. Очень мило. Впечатление такое, как будто бы у вас убирает женская рука.

Мне не совсем приятны были эти разглагольствования и фамильярный тон Слепцова, но делать было нечего, и, по обязанности хозяина, я старался поддерживать разговор возможно любезнее. Несмотря на почти получасовую беседу, я так и не мог понять, с какой целью пришел ко мне этот неприятный господин. Разговор был какой-то неровный, скользкий.

Слепцов старался так, между прочим, задавать вопросы, смысл которых я не мог еще уразуметь. Рассказывая о себе, он несколько раз упомянул о штабе генерала Врангеля, о его свите, о катастрофе с яхтой на Босфоре. Обо всем этом он говорил с такой легкостью и точностью, что было очевидно, что он играл при Врангеле какую-то роль, но какую, этого я еще не понял. Рассказывая о крымских боях, он превозносил доблесть белой армии до небес и ставил ее вождей на пьедестал героев, обожаемых армией и народом. Я позволил себе усомниться в последнем, сказав, что хотя лично я участие в гражданской войне и не принимал,

но, судя по печальным для белых результатам, не видно, чтобы армия, а особенно русский народ обожали белую идею и ее вождей.

Глазки Слепцова радостно забегали по мне, — он, казалось, ощупывал меня.

— Нет, ротмистр, нет. Мне странно даже слышать подобное мнение от офицера русской армии. Но вполне понятно, что ваше отсутствие в деле освобождения святой Руси отдалило вас от народа. Кстати, — быстро спросил он, — где вы были в это время?

Я нехотя, коротко ответил:

— Везде. Главным образом, в Европе.

Глазки Слепцова снова сощурились от удовольствия. Посидев еще несколько минут, он поднялся было, чтобы уйти, но вдруг внезапно сел и стал деланно внимательно разглядывать лежавший на столе «Гюлистан».

Я увидел подходившую княгиню. Не успел я выйти к ней навстречу, как она уже входила в комнату. Мы приветствовали ее.

— Я за вами, Борис Петрович. Пора итти к вашему арабу.

— Я почти готов. Мне нужно только захватить с собой книги.

Через минуту мы уже шли по улице. Слепцов у ворот отстал...

На наш стук вышел Бен-Кадыр, отворивший нам дверь. Милый старик был очень рад приходу княгини, приняв это как знак высшего доверия к нему. Узнав, что княгиня — русская, Бен-Кадыр стал рассказывать ей о своих симпатиях к России. Когда же княгиня сказала, что она очень хочет научиться персидскому и арабскому языкам, — Бен-Кадыр, приложив к глазам ладони, ответил изречением из корана:

— Счастливое пожелание такое же добро, как и исполненный поступок.

Я перевел слова Бен-Кадыра. Княгиня была в восхищении от них.

Здесь в тихой и скромной комнате старого араба она была удивительно проста и обаятельна. Чувствовалось, что ее радость была искренней и полной.

— А где Мадинэ? — спросил я Бен-Кадыра.

— Она ушла к соседке и скоро вернется. Скажи, сын мой, кто она тебе, эта женщина — сестра или жена?

— Друг, — сказала княгиня, поняв смысл спрошенного.

— Это хорошо. Дружба и друзья украшают нашу жизнь. Жизнь без друзей подобна дереву без плодов, — сказал Бен-Кадыр.

В комнату вошла Мадинэ; увидев меня, она радостно улыбнулась, а затем, переведя взор на княгиню, стала с любопытством разглядывать ее.

— Здравствуй, Мадинэ, — сказал я, — ты как будто недовольна нами и не хочешь подойти к нам.

— Нет, сагиб, Мадинэ очень рада видеть сагиба в доме, только я не нала, что с тобой придет эта красивая госпожа, — тут она указала рукой а княгиню.

— Что она говорит?

Я перевел княгине слова Мадинэ.

— А разве ты не хотела бы, чтоб я навестила вас? — спросила княгиня, в свою очередь разглядывая девушку с головы до ног.

— Зачем госпожа говорит так? Все, кого любит сагиб и кого он считает другом, желанные гости в нашем доме.

Бен-Кадыр радостно закивал головой.

— А разве ты думаешь, что сагиб любит меня? — спросила княгиня.

— Да, госпожа. Такую красивую женщину, как ты, должен любить каждый мужчина.

Я добросовестно переводил все, не утаивая ни слова.

— А вот я, если бы была мужчиной, то полюбила бы только тебя, Мадинэ, — обнимая девушку, сказала княгиня.

Мадинэ тихо высвободилась из объятий княгини и прошептала:

— Госпожа смеется над Мадинэ.

Затем она вышла в другую комнату и принялась готовить на ковре какое-то угощение для нас.

— А знаете, сержант, у вас, право, недурен вкус, ведь эта девочка совсем красавица, — насмешливо сказала княгиня. — Теперь я вижу, что теоретические изучения Гафиза и Саади с дядей и практика с племянницей могут отлично скрасить пребывание в этой глуши.

— К сожалению, это не так, княгиня. Если бы я мог любить, это была бы, — тут я подчеркнул, — единственная женщина, которую я полюбил бы, но даже и ее я не могу полюбить.

— Почему?

— Потому что «страсть имеет огненную лапу», княгиня. А отдать себя в лапы, даже самые миниатюрные и хорошенькие, я бы не хотел.

— И вы, дорогой анахорет, уверяете, что из-за боязни лишиться свободы вы не полюбите женщину. Настоящую женщину, не такую глупенькую и наивную, как эта смазливая дикарка, а сильную, властную и гордую женщину, которая захотела бы полюбить вас?

— Да, княгиня. Даже вас я бы не полюбил.

— Хорошо. Я люблю вызов. Хотите пари? Только боюсь, милый сержант, что не пройдет и недели после отплытия монитора в Багдад, как вы или пустите пулю в вашу милую, красивую голову, или...

— Или?..

— ... или дезертируете за мной в Бомбей.

— Что бы со мной ни произошло, княгиня, любить, искать и страдать из-за вас я не буду.

— Пари.

— Пари, — ответил я.

В комнату вошел Бен-Кадыр. Старик, желая быть любезным, предложил княгине осмотреть дом. Княгиня вышла, сопровождаемая стариком.

— Сагиб, — сказала, входя, Мадинэ, — ты любишь эту женщину.

— Нет, милая Мадинэ, я не люблю ее. Я хотел бы любить тебя, если бы ты не была мне сестрой.

Смуглые щеки Мадинэ покрылись ярким румянцем. Она опустила глаза и, теребя платок в руках, смущенно проговорила:

— Сагиб, ты тоже смеешься над бедной Мадинэ. Разве может большой и важный начальник полюбить такую бедную девушку, как я? Сагиб шутит, не зная, что его шутки колют сердце Мадинэ, как иглы кактуса руки.

Внезапно я почувствовал к этому ребенку прилив большой и теплой нежности.

— Нет, моя милая девочка, сагиб говорит правду. Если он полюбит, то только тебя одну и больше никого.

Я взял ее за голову и, притянув нежно к себе, тихо и ласково поцеловал ее в лоб. Когда она подняла на меня глаза, у нее на ресницах были две крупные слезы. Она доверчиво прижала свою кудрявую головку к моей ладони и прошептала, глотая слезы:

— Спасибо тебе, сагиб. Мадинэ знает, что сердце твое не лжет.

На дворе послышались голоса возвращавшихся. Мадинэ еще раз прижалась ко мне и убежала в другую комнату. Я сделал вид, будто усиленно занимаюсь разбором Саади. В комнату вошли Бен-Кадыр и княгиня, тянувшая за собой упиравшуюся Зикру, которая, хныкая, старалась убежать от ее ласк.

— Вот будет прелесть женщина, когда подрастет, не правда ли, мой милый анахорет? Ведь через год-два она будет уже женщиной, и если вы не застрелитесь, то с успехом сможете к тому времени заменить ею, в силу преемственности, вашу черноокую Дульцинею.

— Я думаю, княгиня, что через год-два я буду благополучно здравствовать где-нибудь в Европе или, очень может быть, даже в Петербурге.

— Ой ли! Большевики, сержант, очень живучи.

— Даже с ними, княгиня. Они мне совершенно чужие, а Гафиз говорит, что «дурное делают только близкие».

— Он прав. Только близкие делают непоправимое зло, — сказала княгиня. — Кстати, перестаньте, дорогой Борис Петрович, называть меня княгиней. У меня чисто русское имя — Ирина Николаевна. Ирина — Арина, правда, самое московское имя?

Вошел Бен-Кадыр, внося чашечки с ароматным, черным кофе. На большом подносе, на тарелках была насыпана груда фиников и «гязи», обсыпанных белой, сахарной мукой. Мадинэ принесла бутыль со сладкой настойкой из ягод, вроде нашей ежевики, и слегка провяленные гроздья винограда. Княгиня несколько раз заговаривала с Мадинэ, но девушка, стараясь уклониться от разговора, как-то коротко отвечала ей.

Бен-Кадыр решил, что учение мое должно быть отложено на завтра, так как и он и Мадинэ не допустят, чтобы гостья оставалась в это время одна. На прощанье Бен-Кадыр дал мне «Откровения» Ибн-Сауда.

— Если, сын мой, прочтя это, поймешь все, что хотел сказать этой книгой великий Ибн-Сауд, то в следующий раз мы начнем читать самого Омера-Хейяма и величайшего Шейха Низами.

Уходя, княгиня пообещала зайти еще и при этом посмотрела на Мадинэ. Девушка молчала и, съежившись, как потревоженный зверек, стояла у стены.

(Продолжение следует).

Спекторский [1].

Борис Пастернак.

Двор.

Борису Пильняку.

Неделю проскучал он, книг не трогав,
Потом, торгуя что-то в зеленной,
Подумал, что томиться нет предлогов,
И повернул из лавки к Ильиной.

Он чуть не улизнул от них сначала,
Но на одном из Бальцевских окон
Над пропастью сидела и молчала
Насмешница какая-то, как он.

Она была без вызова глазаста,
Носила траур и нельзя честней
Витала, чтобы не соврать, верст за сто.
Урвав момент, он вышел вместе с ней.

Дорогою бессонный говор веток
Был смутен и, как слух, тысячеуст,
А главное, не делалось разведок
По части пресловутых всяких чувств.

Таких вещей умели сторониться.
Предметы были громче их самих.
А по бульвару шмыгали зарницы
И подымали спящих босомыг.

И вот, порой, как ветер без провесу
Сдавал песок и свирепел и креп,
Отец ее, — узнал он, — был профессор,
Весной она по нем надела креп,

---

[1]) Продолжение романа, см. «Красная Новь» 1928 г., № 1.

И множество чего, — и эта лава
Подробностей росла атакой в лоб
И приближалась, как гроза, по праву,
Дарованному от роду по гроб.

Затем прошла неделя, и сегодня,
Собравшися впервые к ней, он шел
Рассеянней, чем за город, свободней,
Чем с выпуска, за школьный частокол.

Когда-то дом был ложею масонской.
Лет сто назад он перешел в казну.
Пустые классы щурились на солнце.
Ремонтный хлам располагал ко сну.

В творилах с известью торчали болтни.
Рогожа скупо пропускала свет.
И было пусто, как бывает в полдни,
Когда с лесов уходят на обед.

Он долго в дверь стучался без успеха,
А позади, как бабочка в плену,
Безвыходно и пыльно билось эхо.
Отбив кулак, он отошел к окну.

Тут горбились задворки института.
Катились градом балки, камни, пот,
И всюду, сея мусор, точно смуту,
Ходило море земляных работ.

Многолошадный, буйный, голоштанный,
Двууглекислый двор кипел ключом,
Разбрасывал лопатами фонтаны,
Тянул, как квас, полки под кирпичом.

Слонялся ветер, скважистый, как траур,
Рябил, робел и, спины заголя,
Завешивал рубахами брандмауер
И каменщиков гнал на флигеля.

У них курились бороды и ломы,
Как фитили у первых пушкарей.
Тогда казалось, — рядом жгут солому,
Как на торфах, в несметной мошкаре.

Землистый залп сменялся белым хряском.
Обвал бледнел, чтоб опухолью спасть.

Показывались горловые связки.
Дыханье щебня разевало пасть.

Но вот он раз застал ее. Их встречи
Пошли частить. Вне дней. Когда не след.
Он стал ходить в ненастье; чуть рассветши;
Во сне; в часы, которых в списках нет.

Отказов не предвиделось в приеме.
Свиданья назначались: в шуме птиц;
В кистях дождя; в черемухе и громе;
Везде, где жизнь, и двум не разойтись.

«Ах, это вы? Зажмурьтесь и застыньте!»
Услышал он в тот первый раз и миг,
Когда, сторонний в этом лабиринте,
Он сосвежу и точно стал втупик.

Их разделял и ей служил эгидой
Шкапных изнанок вытертый горбыль.
«Ну, как? Поражены? Сейчас я выйду.
Ночей не сплю. Ведь тут что вещь, то быль.

Ну, здравствуйте. Я думала, — подрядчик.
Они освобождают весь этаж,
Но нет ни сил, ни стимулов бодрящих
Поднять и вывезть этот ералаш.

А всех-то дел, — двоих швейцаров, вас бы,
Да три-четыре фуры, и на склад.
Притом пора. Мой заграничный паспорт
Давно зовет из этих анфилад».

Так было в первый раз. Он знал, что встретит
Глухую жизнь, породистую встарь,
Но он не знал, что во второй и третий
Споткнется сам об этот инвентарь.

Уже помочь он ей не мог. Напротив.
Вконец подпав под власть галиматьи,
Он в этот склад обломков и лохмотьев
Стал из дому переносить свои.

А щебень плыл и, поводя гортанью,
Грозил и их впоследствии сглотнуть.
На стройке упрощались очертанья,
У них же хаос не редел отнюдь.

Свиданья учащались. С каждым новым
Они клялись, что примутся за ум
И сложатся и не проронят слова,
Пока не сплавят весь шурум-бурум.

Но забывались, и в пылу беседы
То громкое, что крепло с каждым днем,
Овладевало ими напоследок
И сделанное ставило вверх дном.

Оно распоряжалось с самодурством
Неразберихой из неразберих
И проливным и краткосрочным курсом
Чему-то переучивало их.

Холодный ветер, как струя муската,
Споласкивал дыханье. За спиной,
Затягиваясь ряскою раскатов,
Прудилось устье ночи водяной.

Вздыхали ветки. Заспанные прутья
Потягивались, стукались, текли,
Валились наземь в серых каплях ртути,
Приподымались в серебре с земли.

Она ж дрожала и, забыв про старость,
Влетала в окна и вонзала киль,
Распластывая облако, как парус,
В миротворенья послужную быль.

Тут целовались, наяву и вживе.
Тут, точно дым и ливень, мгла и гам,
Улыбкою к улыбке грива к гриве,
Жемчужинами льнули к жемчугам.

Тогда в развале открывалась прелесть,
Перебегая по краям зеркал,
Меж блюд и мисок молнии вертелись,
А следом гром откормленный скакал.

И, завершая их игру с приданым,
Не стоившим лишений и утрат,
Ключами ударял по чемоданам
Саврасый, частый, жадный летний град.

Их распускали. Кипятили кофе.
Загромождали чашками буфет.
Почти всегда при этой катастрофе
Унылой тенью вырастал рассвет.

И с тем же неизменным постоянством
Сползались с полу на ночной пикник
Ковры в тюках, озера из фаянса
И горы пыльных беспросветных книг.

Ломбардный хлам смотрел еще серее,
Последних молний вздрагивала гроздь,
И оба уносились в эмпиреи,
Взаимоокрылившись, то есть врозь.

Теперь меж ними пропасти зияли.
Их что-то порознь запускало в цель.
Едва касаясь пальцами рояля,
Он плел своих экспромтов канитель.

Сырое утро ёжилось и дрыхло,
Бросался ветер комьями в окно,
И воздух падал сбивчиво и рыхло
В Мариин новый отрывной блокнот.

Среди ее стихов осталась запись
Об этих днях, где почерк был иглист,
Как тернии, и ненависть, как ляпис,
Фонтаном кляксов припалила лист.

«Окно в лесах и, — две карикатуры, —
Чтобы избегнуть даровых смотрин,
Мы занавесимся от штукатуров,
Но не уйдем из показных витрин.

Мы рано, может статься, углубимся
В неисследимый смысл добра и зла.
Но что с того? У жизни есть любимцы.
Мне кажется, мы не из их числа.

Теперь у нас пора импровизаций.
Когда же мы заговорим всерьез?
Когда, иссякнув, станем подвизаться
На поприще похороненных грез.

Исхода нет. Чем я зрелей, тем боле
В мой обиход врывается земля
И гонит волю и берет безволье
Под кладбища, овраги и поля.

P. S. Все это требует поверки.
Не верю мыслям, — семь погод на дню.
В тот день, как вещи будут у Шиперки,
Я вероятно их переменю».

Конец пришел нечаянней и раньше,
Чем думалось. Что этот человек
Никак не Дон-Жуан и не обманщик,
Сама Мария знала лучше всех.

Но было б легче от прямых уколов,
Чем от догадок, бравшихся в прихват.
Несчастия, участки, протоколы?
Нет, нет, увольте. Жаль, что он не фат.

Бесило, что его домашний адрес
Ей неизвестен. Оставалось жить,
Рядиться в гнев и врать себе не зазрясь,
Чтоб скрыть страданье в горделивой лжи.

И вот, лишь к горлу подступали клубья,
Она спешила утопить их груз
В оледенелом вопле самолюбья
И яростью перешибала грусть.

Три дня тоска, как призрак криволицый,
Уставясь вдаль, блуждала средь тюков.
Сергей Спекторский точно провалился.
Пошел в читальню, да и был таков.

А дело в том, что из библиотеки
На радостях он забежал к себе.
День был на редкость, шел он для потехи,
И что ж нашел он на дверной скобе?

Игра теней прохладной филигранью
Качала пачку писем. Адресат
Растерянно метнулся к телеграмме,
Врученной десять дней тому назад.

Он вытер пот. По смыслу этих литер
Он — сирота, быть может. Он связал
Текущее и этот вызов в Питер
И вне себя помчался на вокзал.

Когда он уличил себя под Тверью
В заботах о Марии, то постиг,
Чтó значит мать, и в детском суеверьи
Шарахнулся от этих чувств простых.

Так он и не дал знать ей, потому что
С пути не смел, на месте ж потому,

Что мать спасли, и он не видел нужды
Двух суток ради прибегать к письму.

Мать поправлялась. Через две недели
Очухавшись в свистках, в дыму, в листве,
Он тер глаза. Кругом в плащах сидели.
Почтовый поезд подходил к Москве.

Многолошадный, буйный, голоштанный...
Скорей, скорей навстречу толкотне!
Скорей, скорее к двери долгожданной!
И кажется — да, да! Она в окне.

Скорей, скорей. Его приезд в секрете.
А вдруг, а вдруг...? О, что он натворил!
Тем и скорей через ступень на третью,
Плитой с отлета о пролет перил!

Клозеты, стружки, взрывы перебранки,
Рубанки, сурик, сальная пенька.
Пора б уж вон из войлока и дранки.
Но где же дверь? Назад из тупика!

Да полно, все ль еще он в коридоре?
Да нет, тут кухня. Печь, водопровод.
Ведь он у ней, и всюду пыль и море
Снесенных стен и брошенных работ.

(Конец первой части).

М. Горький как собиратель творческих сил.

Л. Клейнборт.

I.

Появление Горького в среде писательской братии было не единичным явлением. Это не Кольцов, не Шевченко, не Никитин. Уже в девяностые годы — отроческие годы русского марксизма — выдвигаются десятки писателей от сохи и от станка, связывающих свое творчество с судьбами рабочего класса и носящих его образ в своем сердце. Уже в ту пору намечаются Лазарев-Темный, Под'ячев, Семенов, Егор Нечаев и пр. Не выступая еще, как некое целое (в настоящую литературу — за исключением Под'ячева — их еще не пускают), они и качественно и количественно растут до тех пор, пока не прорываются наружу и не занимают «передовые» посты литературы.

Горький был не только предвестником, не только родоначальником этого движения. Он и организатор этого творчества. Примечательна роль его как писателя, впервые обретшего себе читателя-массовика. Но еще примечательнее роль его как собирателя литературных сил народа.

«Каждый раз, когда почта приносит серую тетрадку «грошевой» бумаги, исписанной непривычной к перу рукою, и письмо, в котором неизвестный и знакомый, невидимый и близкий просит «просмотреть» его опыты и сказать: «есть ли у меня талант, имею ли я право на внимание людей», сердце сжимается радостью и скорбью, одновременно вспыхивает в нем великая надежда», — пишет он. Ведь и сам он с жаждой выразить свои ощущения, свои переживания стоял перед Короленко. Дарование, еще неуверенное в себе, рвалось к свету, искало выхода... И Короленко «много сделал», «много указал», «многому научил» его, мастерового малярного цеха. И теперь трудно указать писателя, который так внимательно и так строго припадал и припадает к ключу, ударившему из творческой гущи, из творческих глубин народных. «Если бы можно было собрать все его письма этим затерянным в медвежьих углах париям, — пишет Ф. Гладков, — без сомнения мы пришли бы в изумление от беспримерной способности этого большого человека неотразимо касаться своим сердцем нутра юнцов и волновать их с неотразимой силой». Но роль его не в словах лишь. Это не только «вдохновитель»; это собиратель дарований, подходящий к повседневной работе их, помогающий выявлению их с сознанием всей важности дела, помогаю-

щий им материально на протяжении многих и многих лет. История народного писательства трех десятилетий неотделима от истории деятельности Максима Горького.

II.

Тянет к себе этих людей от полей, от фабрик, желающих овладеть искусством письма, не один Горький. Тянулись они и к Толстому, и к Короленко. И не потому лишь, что им импонирует «знаменитость»; но и потому, что влечет их сущность их взглядов, гармонирующая с их умонастроением и до, и после 1905 года.

Толстой — отпрыск старого барства — воспевает мужицкий век и мужицкий труд, одевается по-мужицки, с мужицкими чертами лица, мужицкой угловатостью в движениях и мысли, выпускает в «Посреднике» произведения Семенова, Савихина, Бондарева, уверенный, что не народ должен учиться писать у нас, а мы — у народа. Не менее, конечно, предан народной нужде Короленко. Если Толстой указал дорогу Семенову, то Короленко ведь вывел в писатели Горького, писательская судьба которого и гипнотизирует их. «Я рад бы не писать, но непреодолимая сила заставляет меня создавать все новые и новые произведения, рождая в моем уме разные планы, — пишет Короленко крестьянин северных губерний. — Неужели все это дано мне напрасно? Посему я осмелился обратиться к вам, В. Г., как к писателю, известному всей читающей России и указавшему дорогу М. Горькому. Если бы вы, В. Г., могли увидеть хоть три-четыре мои поэмы, то и меня спасли бы напечатанием их». «У меня сильные мысли являются писать, даже пишу некоторые рассказы, но одно — нет мне сподвижников, который бы мог мне помочь в моей неутомимой надежде к писательству, — пишет другой, на этот раз нижегородец. — Зная о Максиме Горьком, что он был и что теперь. Читая его биографию жизни, в которой встречаетесь вы, и что вы же были первым его учителем... Я желаю быть вашим учеником. Прошу вас, не оставьте без последствий, напишите хотя что-нибудь».

Но присмотритесь к самому типу писателей из народа, тянущихся к Толстому и Короленко, с одной стороны, к Максиму Горькому — с другой. К Толстому и Короленко тянутся, по-преимуществу, самоучки с отпечатком литературных течений и форм минувших времен, этапов, пройденных народным интеллигентом; к Горькому же — самородки позднейшие, продукт перерождения самой структуры народной культуры, народной психологии. Об этом можно судить уже по составу пишущих. К Толстому шли крестьяне типа Новикова, Сютаева; связывали их с ним, главным образом, вопросы веры. К Короленко шли крестьяне, ремесленники, рабочие, но не пролетарий индустриальный, связанный с рабочей прессой, отграничивающийся от специфической литературы писателей из народа. Этот последний направляет свои стопы к Максиму Горькому.

Ни Клюев, ни Есенин, ни Клычков, ни Орешин не прошли под знаком Горького. Но под его знаком прошли Герасимов, Дозоров-Гастев, Самобытник, Рыбацкий, И. Садофьев, Логинов и т. д. Толстой и Короленко были

для них писатели чужой культуры. Горький же был свой, родной. Ведь самая судьба Горького была прообразом их собственной судьбы, перспективой их будущего. Ведь переживали они все то, что пережил и Горький прежде чем взобраться на ту высоту, на которой он теперь стоял в предчувствии того, что последует за ним.

III.

Теперь уже распределялись авторитеты по мере того, как дифференциация симпатий и антипатий раскидывала по разным лагерям.

И Брюсов, и Вячеслав Иванов извлекли не мало литературных сил. И к Бунину, и к Арцыбашеву тянутся начинающие писатели. Но к ним идут выходцы из интеллигентских слоев, те самые, которых ударила по голове контрреволюция, которые ищут утешения в мистицизме, в неприятии быта, в вопросах смерти и любви. Правда, и Клюева выдвигает Брюсов, Есенина — Блок и Городецкий, Клычкова — все те же модернисты. Но это, без сомнения, случаи, — не более. Все же, что возвышает голос от физического труда, что связано с под'емом деревни, фабрики, ремесленной слободы, все это тянется к Максиму Горькому. Сапожники, дворники, извозчики, солдаты, портные, маляры, стекольщики, приказчики, телеграфисты, солдаты, матросы, трубочисты, учителя народных школ, мелкие торговцы, санитары, больничные сиделки, прачки, ночные сторожа... Даже горничные, проститутки, швейцары... «Сейчас народился новый читатель, который хочет не только читать, но и творить, — цитирует кого-то Горький. — Он не хочет уже больше слушать, что говорят другие; он хочет слушать свою мысль, свое сердце и исполнять призывы их. И вот, мне кажется, сейчас надо собирать эти силы, искать их».

И Горький идет навстречу этим силам, ищет их с первых шагов своих, как литератора. Эта работа его — работа собирания новых строителей печати — длительна, упорна. Развертывается он в этом деле лишь позднее. Однако, говоря о Горьком, как собирателе сил, нельзя не начать с самых ранних попыток этого рода.

Я связан, конечно, материалом, из которого исхожу в статье. Извлекаю я его из писем и записок писателей из народа, полученных мною на протяжении двадцати пяти лет, дополняя их документами печатного характера. Но материал достаточно разнороден, чтобы разбить его по тем рубрикам, которых требует деятельность писателя: начать с тех лет, когда Горький еще сам связан с изданиями в качестве сотрудника и лишь к «Жизни» подходит плотнее; от нижегородских лет перейти к промежутку времени, прожитому им в Москве, в Петербурге, в который создаются сборники «Знания»; далее, заграничный период, когда вырастает партийная школа Горького на острове Капри, и он выступает со статьей о писателях-самоучках; журнал «Просвещение» и сборники пролетарских писателей; далее — «Летопись». Наконец, революционный момент, когда вокруг него создается сеть писателей, близких ему по духу

и происхождению, писателей, вошедших в литературу так, как рабочий класс и крестьянство — в революцию, отмеченных горьковским опытом, которых, как и Горького, нельзя принять, как таковых, а можно принять или отвергнуть вместе с теми социальными пластами, от которых они пришли.

IV.

По возвращении в Нижний — после долгого блуждания Горького по городам и весям — выходят первые два тома его в издании Дороватовского и Чарушникова, сыгравшие такую роль в его дальнейшей судьбе. Нижний-Новгород (да и Нижегородский край вообще) издавна отмечен рядом литературных имен. Здесь родился и провел свои ранние годы Добролюбов. Здесь жили Мельников-Печерский, Боборыкин, позднее Н. Ф. Анненский, Короленко, Елпатьевский, Чириков, Каронин, Елеонский, Рукавишников, Борис Садовской, Чешихин-Ветринский. И было бы странно, если бы и писатели из народа, которыми в то время интересовались независимо от того, что именно писали эти писатели из народа, не зашевелились в этом крае.

Из нижегородцев-самородков того времени можно назвать А. Белозерова, Н. Власова-Окского, Семена Тихого, Н. Трубина, Г. Устинова, Г. Чудова и т. д. И Горький начинает присматриваться к талантам из народа. Интерес к ним ведь был и интересом к явлению общественному, отчасти политическому. Такое произведение Горького, как «Мать», есть плод его сношений с сормовскими рабочими 900-х годов. Павел Власов — это популярный тогда сормовский рабочий с.-д. Петр Заломов, личный знакомый М. Горького. «К этому времени, — писал мне А. Белозеров о конце 90-х годов, — у нас образовался «товарищеский кружок самообразования», в котором, на ряду с идейной литературой, перечитывали и текущую беллетристику и толстые журналы. Особенно нравился Горький. Писали рефераты. Любил я очень стихи, зачитывался Пушкиным, Лермонтовым, Некрасовым и Никитиным, из современных — П. Якубовичем, позднее — Скитальцем. Декламировал на вечерах. А позднее увлекся Фетом. Так полюбил стихи, что самому писать захотелось. И начал примерно с 1900 года. Позднее наш кружок переименовался в экономический. Читали уже Богданова, Каутского, Бельтова, Лассаля... Кое-что раздобывали заграничного. В книгах недостатка не было. В этом отношении еще и раньше нам помогал живший здесь писатель Максим Горький. Редкой души и доброты человек! Бывало, чуть нехватка в книге, сейчас командировка к Алексею Максимовичу. Но — увы! — наши занятия были прерваны. Нас посадили в бест».

Горький выводит Скитальца-Петрова из крестьян села «Новые Костычи», первого «подмаксимчика», как окрестили его, чье имя сплетается с именем самого Горького. «Горький, приехав в Москву из Нижнего-Новгорода, — пишет Ив. Белоусов, поэт из народа, переводчик Шевченко, — сообщил нам, что нашел талантливого писателя.

— Пишет хорошо, но и пьет здорово, — из певчих он — работает в газетах, подписывается Скиталец. Вот я, как поехал сюда, оставил его

в своей квартире, купил ему водки и сказал: сиди и пиши, а зря не болтайся»...

Горький и Скиталец! Это звучало в «нижегородские» годы, как позднее Клюев и Есенин. «Тень Горького», острили по адресу Скитальца, так живописно игравшего на своих гуслях. Даже в костюме подражал он учителю и другу. Горький носил черную блузу с кожаным поясом, а поверх — крылатку. И костюм Скитальца был такой же. Горький входит в литературу буйно и задорно. И Скиталец входит в нее, появляясь на вечерах, где все исполнители одеты нарядно, в рабочей блузе. «Благородные собрания» в первый раз слышат такие слова... Когда Горький садится в первый корпус нижегородской тюрьмы, то вместе с ним попадает, конечно, и Скиталец.

«Известный вам Алексей Пешков, он же Горький, — телеграфирует директор департамента полиции Зволянский начальнику нижегородского жандармского управления в 1901 г., — и нижегородский житель, сотрудник журнала «Жизнь», приятель Горького, некий Петров, приобрели здесь мимеограф для печатания воззваний к сормовским рабочим. Мимеограф отправлен 10 марта через транспортную контору в Н.-Новгород. Желательнее всего было бы взять мимеограф вместе с лицами в самый момент воспроизведения ими предположенных воззваний к сормовским рабочим».

Тогда же Горький печатает первый рассказ Свирского («Преступник»). «Для меня, тогда еще темного и малограмотного, — вспоминает Свирский, — Горький в ту памятную встречу являлся не только учителем, но целым литературным университетом, хотя печататься я начал раньше его».

Уже тогда Горький говорит о главных спутниках писателя: о труде и терпении. По словам Горького выходило, что труд важнее таланта. Правда, с вторым рассказом Свирского вышло уже вот что:

— Уж вы, пожалуйста, меня извините и не думайте, что я учительствую... Мне известно, что вы долгие годы босячили, и жизнь вы знаете не хуже меня. Но в обрисовке босяков вы придерживаетесь старых традиций. Ваши босяки до того принижены, до того ничтожны, что писать о таких микробах не следовало бы.

Горький переделал его «Шатунов» удачными фразами, остроумными поговорками; герои его оказались приодеты, закутаны в такие рыцарские плащи, что сам автор не узнавал своих шатунов-бездельников... Но это уже был Горький, а не Свирский, что провело между ними черту.

На столе у Горького — новая фотография. Значит, новое увлечение. Так появился на нем и глухой нижегородский поэт, писец нотариальной конторы, А. Л. Суслов. «Я давно, давно печатаюсь, — говорит он о себе. — Еще в то время начал, когда Алексей Максимович Пешков здесь жил. Вместе в «Листке» сотрудничали. Он, Горький-то, любил меня. Поощрял все. Не всегда бывал доволен моими стихами, а уважал меня. Говорит, бывало: «что вы все о кустиках да о цветочках пишете, напишите что-нибудь в роде пушкинского «Анчара», тогда осенит вас слава»... Хороший человек Алексей Максимович! Сущий мудрец! Слушаешь не наслушаешься, бывало... А ведь тоже самородок».

Карточка Суслова не сходила с письменного стола Горького, что говорит о немалых симпатиях. Кто же такой этот Суслов? В противоположность Скитальцу, никаких «оказательств» за ним нет и не было. «Я остаюсь как бы «любителем искусства», — писал он мне. — Не стремлюсь в печать и пишу очень мало, отдаваясь этому только в минуты редкого настроения, исключительно лирического характера, редкого, быть может, потому, что неоткуда ему и взяться-то, после ежедневного конторского труда»... Правда, напечатал он стихотворение в журнале «Образование». Но дальше дело не подвинулось, несмотря на расположение Горького. Осталось лишь воспоминание о горьковских временах.

— Хорошее время было, — говорит он Власову-Окскому. — Было у кого чему поучиться... Хороший народ был... И все раз'ехались. Одни в славе, другие — к ней. Только я застрял. Не судьба, значит. Талантишко маленький... Не ко времени... Я как-то и не могу писать так, как нынче пишут... Какие-то все выкрутасы... А я попросту, как Пушкин, Фет и Кольцов пели... Нравятся Дрожжин, Белоусов, Скиталец, а таких, как Сологуб, Белый, Гиппиус и Северянин, не понимаю. Словно китайцы какие! Надоело писать по-человечески, — шут знает, как заговорили! Словно нарочно стараются, чтобы их не поняли... Эх, кабы деньжонок! Уехал бы я в Москву... Авось бы и развернулся. Книгами бы себя обложил... Образование-то у меня подгуляло. А то за всю жизнь никуда из Нижнего не выезжал...

Суслов выпустил даже книжечку свою, из которой В. Д. Бонч-Бруевич взял несколько стихотворений для «Русской поэзии от Пушкина до наших дней». Однако «Анчара» пушкинского он так и не написал. И не осенила его та слава, которой желал ему Горький.

Скиталец был таким же исключением для того времени, как и Горький. На всех нижегородских самородках тех лет лежала та же печать, что и на прочих писателях из народа. Должна была переродиться структура эпохи, должен был переломиться самый облик «писателя из народа», чтобы и личная судьба этих людей, и самая судьба их дарований, так сказать, исторически вошли в созвездие «великого и доброго Максима», как называет его один читатель.

V.

Бытовой перелом этот приближался. Отходил в прошлое Алексей Суслов, тот самый, что когда-то привозил тетрадочки стихов Н. А. Рубакину. Уже все полно предреволюционных предчувствий, рвется из долгих лет застоя и молчания.

И успех Горького получает на этом фоне не только литературный, но и социальный характер. За его деятельностью прячется легенда о его жизни. И его судьбой загипнотизированы выходцы из низовой среды. П. Бессалько пишет мне про то отношение, которое он питает к Горькому с 1903—1904 гг. Каждая вещь писателя является для него «откровением», хотя он не мог еще определить, в чем состояло откровение. О тех же годах — уже девятисотых — Ив. Евдокимов пишет: «Я был в то время телеграфистом на же-

лезнодорожной линии Вологда—Ярославль. На телеграфе подобрался небольшой кружок моих однолеток и постарше. Мы находились буквально под обаянием его творчества, не расставались с зеленоватыми книжками издательства «Знание», зачитывали их, передавали, рвали из рук счастливых владельцев, покупали вскладчину, забирали в библиотеках и передавали с рук на руки. Мы горячо обсуждали каждое новое произведение Максима Горького, волновались, любили и ненавидели вместе с его героями и героинями. Я думаю, кроме Горького, ни одному из писателей, живших за это время, не выпадало столь высокого счастья так революционизировать, так увлекать и так воспитывать своих читателей».

Уже выходят сборники «Знание», в которых так шумят Леонид Андреев, Гусев-Оренбургский, Куприн. Горький выводит здесь Шолом Аша, Кипена, Золотарева, Шмелева, но из писателей из народа Горький печатает здесь пока что одного Скитальца. Однако, чем ближе он к крупным центрам, тем яснее предчувствует, что его выступление не единичный факт, что «пора народу заговорить о себе». И он приникает к потоку рукописей, именно с этих лет приобретающему характер массовый.

С предреволюционных лет завязывается связь Ф. Гладкова с Горьким. «Под влиянием «Мальвы» и рассказа «Двадцать шесть и одна» он написал повесть «На ватаге, на Жилой» и послал Горькому. Тогда Горький был в Кореизе, в Крыму. Он ответил ему скоро, но уже из Нижнего. «Рукопись была испещрена характерными горьковскими строчками, — пишет Гладков. — И в этих строчках, в этих энергичных словах я почувствовал того Горького, который вошел в меня своими легендами. Я долго хранил эту рукопись, возил ее с собою по Руси, как драгоценность, но, к великой моей скорби, она погибла в Сибири во время пожара. В памяти уже изгладились эти необыкновенные слова, но я до сих пор помню кое-какие обрывки из этих четких надписей. Разве это не Горький тех лет! «Писать вам нужно: у вас есть уменье наблюдать жизнь, есть любовь к людям, но нужно...». Что нужно, все стерлось в памяти. Из пометок: «бейте так, чтобы читателя точно палкой по башке» [1]). В повести у меня рабочие «грезят» о своей свободе. Пометка: «вероятно, тоскуют; грезят только поэты и обжоры после обеда, а не рабочие». Дальше: рабочие у меня стремятся «на свою любимую родину». Пометка: «Любить родину нельзя. У русского человека есть что-то в роде тоски по родине, но — любовь... Я никогда не замечал этого». В конце повести вместо фамилии я поставил псевдоним «Страдалец» (вероятно, по созвучию — Скиталец). Пометка: «Нельзя селедку солить — есть нельзя будет». И в заключение: «рукопись переделайте, сообразно с пометками на полях, и пришлите мне: я ее устрою в «Мир божий». С этой рукописью я не расставался и ходил с нею, как одержимый. Я чувствовал, что я уже связан с Горьким, с моим далеким и любимым писателем, живой

[1]) Не изменяет ли здесь память Ф. Гладкову? В своих воспоминаниях о Короленко Горький пишет: «В нем нет ничего общего с угрюмым Сведенцовым-Ивановичем, автором тяжеловесных рассказов, который говорил мне: рассказ должен ударить читателя по душе, как палкой», и т. д.

связью. Мне казалось, что я слышал его голос, теплоту его руки, его стремительную уверенную походку (именно уверенную и стремительную). Я купил редкий теперь его портрет (за столом над толстой книгой, вероятно, с библией) и все смотрел на него бесконечно влюбленными глазами».

Даже в костюме Гладков подражал ему, как и Скиталец. Косоворотка, шляпа, длинные волосы. Однажды даже снялся в позе Горького, но получилось «уродливое чучело»: «Все хорошо — и шляпа, и волосы, и косоворотка, а вот сидит этакий глупый детина и невероятно бычится. Почему именно Горький должен был бычиться — непонятно, но мне казалось, что именно так и должно быть».

Тогда же протягиваются нити у Горького к тем элементам, из которых вышли поэты и беллетристы «Звезды» и «Правды». «И в тюрьме, и на воле М. Горький играл в нашей рабочей жизни колоссальную роль, — вспоминает один из них, С. Малышев. — В 1903 году в Крестах сидела группа большевиков. После голодовки мы завоевали в Крестах кое-какую свободу и начали устраивать доклады, которые читались через окна. Один из первых докладов был сделан М. И. Калининым на тему о творчестве М. Горького и о новых его книгах, которые тогда вышли, — кажется, «Трое» и «Фома Гордеев». Беседы были жаркие... Горький не только помогал нашему развитию своими книгами, своим высоко-художественным творчеством. Ни один из писателей не относился так чутко к нашим писательским начинаниям, как М. Горький. Наша большевистская рабочая группа Питера всюду в той или иной мере поддерживала с ним связь и частенько в тюрьме или ссылке мы получали от него письма не только информационного характера о быте и жизни на воле, но и с описанием и оценкой довольно важных политических событий».

Каковы были эти отношения, рассказал нам Сивачев в своем «Прокрустове ложе», не склонный преувеличивать достоинства литераторов, хотя бы даже и такого, как Горький. Из рассказов Сивачева Горький сразу выносит впечатление, что он «будет писать, как пишут многие». «Ради этого вас поддерживать не стоит». Однако Сивачев — рабочий (да еще ревматичный). Нельзя подходить к нему, как к интеллигенту. Авось, и выйдет из него рабочий писатель!

«Вас надо лечить, — говорит он ему, давая ему письмо к доктору, который будет его лечить. — Денег вам надо?» «Если можно, рублей десять дайте». Горький протягивает ему вдвое больше. Потом дает ему кучу книг, в том числе и сочинения свои:

— Особенно внимательно читайте Чехова. Он изумительно писал. Не подражайте ему в содержании, а вглядывайтесь в него только, как в художника слова. Содержание же у вас должно быть свое: то, что вы на своей шкуре вынесли, и то, что вы видели в своей среде. Этому должны верить.

Когда же Сивачев подлечился в Старой Руссе, Горький предложил ему:

— Я вас устрою в Художественный театр... Но это потом, а теперь следует вас отправить в Ялту. Денька через три вопрос о деньгах у меня выяснится. Тогда я вышлю вам деньги и письмо к одному писателю в Ялте,

чтобы он вас получше там устроил. Писатель должен быть здоровым человеком... В театре вам тоже непременно нужно быть,— добавляет Горький.

Сивачев опасается, что слишком дорого будет стоить тогда Горькому. Н: Горький «весело смеется»:

— Деньги? Что́ деньги? Когда деньги выходят, пожалуйста, не стесняйтесь. С этим обращайтесь вот к Марии Федоровне; деньгами она у меня заведует. А в театре все-таки бывайте.

VI.

Как видите, звание «писателя из народа» не придавало ценности произведению, независимо от его литературных достоинств, в глазах Горького. Народническая традиция не мало поработала над таким взглядом. Многим и многим народолюбивым интеллигентам-самоучкам внушалось такое представление о себе. Но Горький чужд ожиданию особой даровитости, скрытой в человеке из народа, чужд с первых своих соприкосновений с ним.

Как-то Скиталец читал свой рассказ. Руки у героя его были «железные», мускулы — «стальные», жилы, «словно канаты». Прослушав рассказ, Горький подошел к Скитальцу и сказал:

— Ну, брат Степан, и герой же у тебя в рассказе! Словно тигр из мехового магазина...

И с тех пор его звали «тигром... из мехового магазина» [1]. Если же достается от Горького Скитальцу, без которого редкий сборник «Знания» обходился, то тем менее он балует остальных чисто барским снисхождением к «младшему брату».

«Длинно, скучно!» «Есть преувеличения, ходульность, фальшь». «Люди — пестры, нет только черных сплошь и нет сплошь белых. Хорошее и дурное спутано в них — это надо знать и помнить». «А если вы непременно хотите написать идеально хорошего человека — его надо так хорошо выдумать, чтобы в нем читатель чувствовал и плоть, и кровь, и верил бы вам — есть такой человек. Но чтобы хорошо выдумывать, нужно много знать, видеть, чувствовать, нужно уметь из маленьких кусочков реального создать большое идеальное, так, чтобы никто не заметил, что и где вами спаяно, склепано, склеено». «Для меня несомненно, что вы будете писать и должны писать, но теперь вам нужно — учиться. Нужно читать, как можно больше, и — хорошие книги...». Вот образцы ответов тем авторам, которых он поддерживал, чем мог, уже тогда.

«Меня очень радует и трогает каждый раз, когда люди «трудовой жизни» не теряют веры в себя и в людей»,— пишет он Логинову-Тихоплесцу, умершему в 1912 г. Но это не мешает ему предостерегать от самообольщения таких суриковцев, как Леонов, Травин, Шкулев, начинающих свою деятельность еще в девяностых годах.

[1]) Ср. Воспоминания Горького о Леон. Андрееве. «Что такое С.? — спрашивал он об одном литераторе, довольно популярном в ту пору. — Тигр из мехового магазина».

Критерий литературный он не смешивает с критерием общественным, писание стихов и рассказов с заявлениями людей из народа о себе, о своих нуждах. Н. Бродский отмечает, насколько рассказы, напечатанные Горьким в журналах, непохожи на те же рассказы, вошедшие в отдельные сборники, а затем в собрание сочинений. Упорный труд он вкладывает даже там, где другой почил бы на лаврах. И это отношение к себе, как мастеру, технику художественного слова, — давняя черта Горького. С первых своих выступлений он сокращает, шлифует самого себя. И те же требования пред'являет к своим корреспондентам. Ведь найти себя удается незначительной части писателей [1]).

Высокопарность, риторика, стремление наворотить возможно больше слов, дидактизм, нравоучительность тона, — вот дефекты людей, которым не хватает средств выражения. И Горький прежде всего поднимает у них не столько уровень дарований, сколько уровень критического отношения к себе, критического отношения к собственному письму, которое есть первый шаг к искусству, как таковому.

VII.

1905 г., — как и вся эпоха революционного брожения, — дает особый толчок даровитым натурам из народа. Потребность осмысленной жизни сказывается прежде всего в потребности живой книги, но от чужого до собственного мастерства один только шаг. «После славных лет, когда жизнь наша потрясена со всех сторон до глубины, — пишет теперь извозчик Горькому, — требуется нам теперь осмотреть друг друга. Теперь каждому хочется сказать: а я вот как думаю об этом, о жизни». «Меня занимает человеческое, очень хочется об этом рассказывать, ночей не спишь», — пишет токарь ему.

«Зимой уложишь спать жену и ребятишек, сядешь в уголок, к столу и, нанизывая слово за словом на чистенький листок бумаги, приятно позабудешь всю окружающую жизнь, зверски бедную», — пишет ему крестьянин.

И вот — поток рукописей. Кажется, Горького в России уже нет. Узнать заграничный адрес (да и написать его) не так легко человеку физического труда. И, в самом деле, он подчас фантазирует: «Италия, Остров Крит», «Кипр» и т. д. Однако, так или иначе, в течение лишь четырех лет с 1906 по 1910 год у Горького накапливается свыше четырехсот рукописей, присланных этими людьми, жаждущими заявить о себе, о том, что их окружает.

Не подумайте, что большинство авторов городских. Из 348 авторов жили в Петербурге 22 чел., в Москве — 41, в губернских городах — 72, в уездных — 44, остальные же 169 работали на заводах, железнодорожных станциях, в фабричных поселках и деревнях.

---

[1]) «Не считаю себя арабским конем, а только — ломовой лошадью, — говорил он Л. Андреесу. — Я знаю, что обязан успехами моими не столько природной т[illegible]нтливости, сколько уменью работать, любви к труду».

Какая-то «неведомая сила», «неодолимое тяготение», «нечто, сжигающее душу», толкает их к перу, — как пишут они сами. Но, оценивая их, писатель и здесь не признает другого критерия, кроме своего, литературного. В статье своей «Самоучки-писатели», представляющей разработку всего этого материала, он не выделяет ни одного автора. Он отмечает, что в них уже нет того подражания в прозе Тургеневу, Короленко, Чехову, в стихах — Некрасову, Никитину, Надсону, что имело место у дореволюционных самоучек: «В материале почти совершенно отсутствует подражание». Отмечает и другие достоинства. Разве не весело читать, — пишет он,—такие филологические изыскания захолустного елатомского человека: «Просиживаю ночи напролет, изучаю русский язык и чувствую, как душа растет. И как будто открываются тайны жизни». «Понять значение языка это много», это радует Горького. А то поражается он: «Откуда в посаде Снеговом Херсонской губернии или в Осе Пермской знают имена Леббока, Тейлора, Циттеля, Тимирязева — часто спраашивают его чудесную «Жизнь растений», Бельше и Геккеля». Однако — повторяю — на значительное в общелитературном смысле ни намека. Тем не менее, Горький рассылает своим корреспондентам то эту чудесную «Жизнь растений», то десятки и сотни других книг, тщательно разбирает все рукописи в своих ответных письмах, огорчается, если письмо его возвращается за неотысканием адресата. «Я внимательно, как только мог, прочитал все эти тетрадки серой бумаги, экономно исписанные непривычными к перу руками, — подчеркивает он сам, — сделал из них выписки тех мест, которые наиболее поражали меня, сделал выписки из писем авторов и предлагаю все это вашему вниманию, будучи убежден, что делаю не худое дело».

VIII.

Откуда же этот интерес, неустанный, напряженный, вопреки критерию литературному, художественному, с которым Горький подходит к произведениям пролетарских и крестьянских писателей?

Сопоставьте подход Горького с аналогичным подходом Короленко, как он явствует из книги А. Б. Дермана «Писатели из народа и Короленко», написанной по материалам архива писателя. Короленко, не менее внимательный к произведению выходца из народа, чем Горький, все же против писательства, не стоящего на уровне общей литературы, отвлекающего автора от другого труда, не менее почтенного, чем писательство. Настоящий писатель для него лишь тот, кто нашел себя на этих путях, независимо от своего происхождения. «Мы не печатаем плохого, на наш взгляд, произведения, хотя бы автор был светлейший князь, — пишет он рабочему Саввину. — Но не напечатаем его и только потому, что автор крестьянин». Ложное призвание остается ложным, вопреки отупляющему труду, которым живет автор. Без сомнения, иначе подходит Горький к массовому устремлению в литературу уже в те годы. Он видит в этом писательстве то, из чего вырастет новая литература, та, что принесет нам революция.

Помните стихи Самобытника, напечатанные впервые Горьким?

Не говори в живом признанье
Мне слова гордого «поэт».
Мы первой радости дыханье,
Мы первой зелени расцвет.
Придет пора, порыв созреет,
Заблещет солнцем наша цель.
Поэта мощного взлелеет
Рабочих песен колыбель.

«Прошу помнить, что я говорю не о талантах, не об искусстве, а о правде, о жизни, а больше всего о тех, кто дееспособен», предупреждает Горький. Искусство пока что не на стороне людей физического труда. Но все же они идут, писатели от сохи, от станка. «Я мало знаю русскую литературу, — цитирует он Джемса, — но все, что знаю, рисует русских изумительно, бешено талантливыми людьми. Сильный народ у вас». И Горький обращает внимание не только на великоруссов, но и на украинцев, белоруссов, татар. «Очень может быть, что в моем очаровании бодрыми песнями, — пишет он, — которые начинает петь русский народ, я и преувеличиваю значение этих песен». Если это так, строгий и неподкупный общий судья наш — завтрашний день — разочарует его. Но все же наступает время, опровергающее «когда-то правильные утверждения», что в русском народе много суеверий, но нет идей. «Мне кажется, что в русском народе рождается идея и как раз та, которая может духовно выпрямить его», — пишет он. И вот это-то и дает ему право противопоставить то, что еще так первоначально в этих писаниях, но за чем все же будущее, тому, что мы считаем уже признанной литературой.

«Если сопоставить эту их тяжкую жизнь и бодрые голоса с истерическими, капризными выходками признанных литераторов, «уставших от сложности и напряженности современной», как они заявляют, — пишет он, — если это сравнить, — станет понятно враждебное отношение к интеллигенции». «Вы увидите, как велика разница настроений в литературе признанной и в этих тонких книжках, написанных простыми, искренними людьми, которые знают жизнь непосредственно».

Проведя параллель между настроением, темами писателя-интеллигента и писателя из народа, Горький заключает: «Подобных противопоставлений можно привести очень много, и они ставят перед читателем два ряда людей, которые в своих взглядах на жизнь и человека, в своем настроении резко и далеко разошлись. Писатель-самоучка настроен идеалистически, как и следует демократу молодой страны; писатель же интеллигент — скептик, пессимист и нытик. Один ряд людей в самых тяжелых условиях и положениях упрямо ищет и находит нечто ободряющее, человечье; другой явно склонен ощущать мрачное, подчеркивает скотское и зверское». У самоучки заметно вдумчивое отношение даже ко врагу, который завтра же, может

быть, схватит автора за горло. Идеализм этот иногда «слащав, паточен», но вспомнишь условия, в которых это пишется, и «с великим уважением поклонишься этим далеким, новым стойким людям». Когда же рядом с малограмотными рассказами приходится читать плоды творчества людей культурных, «становится тяжко, тошно, досадно и — простите — нестерпимо хочется говорить обидные, злые слова».

«Густота тех выводов», к которым писатель приходит, «смущает» его. Но ему кажется, что именно сейчас — после 1905 года — интеллигент должен с великим и особенным вниманием присматриваться к росту «новых идей, новых сил в массе». Для Короленко, для Толстого вопрос о писателе-самоучке — это или вопрос о писателе, который выходит из рамок специфической литературы и попадает в литературу общую, или вопрос о ложном призвании. Для Горького же это вопрос о новой литературе, литературе новых социальных пластов.

IX.

В 1906—1910 гг. копят капитал — и именно художественный капитал — такие писатели, как Ляшко, бросающийся от Миролюбова к Орловскому, от Орловского к Алексинскому, как Бибик, печатающийся уже в «Мире божием», в «Журнале для всех», всем своим обликом подтверждающие то, что пишет Горький в своей брошюре. По мере того, как Скиталец — «тигр из мехового магазина» — отходит на задний план, около Горького вырастает ряд таких талантов, как Иван Вольный, А. Новиков-Прибой, Ив Касаткин, М. Герасимов и др.

Вот Вольный — автор нашумевшей «Повести о днях моей жизни». «В январе 1911 года, затесавшись на Капри, — пишет он мне, — показал Максиму Горькому то, что я писал в Цюрихе. Все приставал к нему с вопросом, следует ли мне писать дальше. Просил, чтобы «честно» мне ответил. Горький ласково обходил вопрос, щадя мое самолюбие. Все, что я показал ему, было плохо. Но напечатал это в амфитеатровском «Современнике» за 1911 год. Это мои первые шаги. После этого я совсем сорвался с цепи. Думал, испишу всю итальянскую бумагу стихами в прозе. Мучил Горького, таская рукописи на просмотр. Он исправлял, заставлял переписывать и бросать в сорный ящик. Как-то он стал расспрашивать о прошлом моем. Послушал и предложил написать это и именно так, как я рассказывал. Я год писал. Когда окончил, принес Горькому. Понравилось. Он выбросил все лишнее, остальное же составило «Повесть о днях моей жизни». Вплоть до от'езда в Россию в 1913 году Горький возился со мной. Заставлял читать, исправлял рукописи. На Капри встретился с Коцюбинским, Буниным, Андреевым, итальянскими и немецкими писателями, русскими художниками, артистами Художественного театра. Встречи, беседы отесали меня чуть-чуть на время». Вольный сознает, что все, им написанное, — «детский лепет», от которого «краснеет». Главное — впереди. «После Горького много-премного сделал для меня В. С. Миролюбов, — пишет он. — Горький

слишком мягко относился ко мне, часто во вред мне. Теперь я так думаю об этом. Тогда, быть может, это так и было нужно. Учась писать, я был между ласковой матерью — Горьким и суровым, но справедливым наставником — Миролюбовым».

Связав Вольного с «Заветами», где была напечатана его «Повесть», Горький вводит Новикова-Прибоя в «Современник», где появляется первый рассказ его «По-темному». И Новиков-Прибой, вызванный Горьким, живет около Горького с его любовью к литературе, языку, с его учительским подходом к пишущим. О том же пишет мне М. Герасимов тех лет. «Литературных связей почти никаких. Переписывался с Максимом Горьким на Капри. Небольшие, но ободряющие письма».

Однако «бытовая революция» тех дней была ведь революцией самой России. И те же перспективы открываются и здесь, несмотря на мрак, на непогоду. Вот Ив. Касаткин. «Спустя долгое время, — пишет он мне, — надумал послать М. Горькому несколько своих вырезок. В это время я с семьей, влекомый чем-то смутным, забился в глухой край Костромской губ., жил в лесу надсмотрщиком на клепочном заводе. Горький вник в мои дела, некоторые рассказы весьма похвалил, за некоторые наклал по шапке, — словом, завязались отношения, и через годик я был пущен в «Знание». Это лучший из всех моих дней». После Скитальца это первый «писатель из народа», которого Горький стал печатать в сборниках «Знания». Он ведет с ним переписку, в которой учит его работе над собой, технике художественного письма, поддерживает в нем веру в себя, столь необходимую человеку физического труда. К тем же годам относится связь Чапыгина с Горьким. Даже Под'ячев, обязанный всем Короленко, упоминает рядом с ним Горького.

Упомянем и об авторе, которого Горький называет «человеком страшной жизни», в самом деле, выросшем в самарских притонах. Была у него сестра-красавица, гордость и радость его. И ее он находит в публичных домах, из которых ее выгоняют уже за невозможное пьянство. Вот этого-то Тачалова Горький помещает ряд стихотворений, ведя с ним переписку. Когда Тачалов выпустил в Самаре книжечку стихов, я просил его прислать ее мне. Но Тачалов уже был занят другим. «Изданной книжечки я не имею ни одного экземпляра, — писал он мне, — и благодарю всевышнего, что окончательно избавился от этого убожества. В общем, я вот уже три года не написал ни одного стишка: теперь я только торговец, только — паучок, мечтающий нажить две тысячи рублей без этих двух тысяч я не поэт, не писатель и даже не человек, а развалина в полном смысле. Лирик Тачалов издох основательно, я похоронил его и даже забил осиновый кол на его могиле. Когда же настанет пришествие двух тысяч, тогда вместо физической развалины и лирического чижика встанет здоровый человек, и да здравствует даже одна мечта об этом. Да это уже и не мечта, а реальное — моя рукопись, написанная только вчерне, конспективно, написанная в антрактах между ссорами и спорами с покупателем, но все-таки — рукопись. Сотру ли я с очей сознания изначальные тенета лжи или так и

останусь одиноким смешным человеком, — покажет будущее; но во всяком случае книга книг, песня песен, катехизис счастья пишется. А пока плюньте на всякий интерес ко мне, забытому и одинокому».

X.

Это еще в 1860 г. предсказывал Добролюбов в своей статье о Никитине.

В свое время «нужными людьми для нашего общества» были не только Пушкин и Лермонтов, но даже и Карамзин и Державин, — писал он. — «Теперь если бы явился поэт с тем же содержанием, как Пушкин, мы бы на него и внимания не обратили». Лермонтов и теперь еще мог бы заинтересовать многих», но и он все-таки не то, что нам теперь нужно. Нам нужен был бы теперь писатель — по словам критика, — который с красотой Пушкина и силой Лермонтова сумел соединить «реальную, здоровую сторону стихотворений Кольцова».

«Все это пока еще довольно слабо», — констатировал он, — слабо потому, что «в обществе еще никакой существенной ломки и перестройки нет». Без этого новое невозможно. «Когда действительно придет возможность какой-нибудь переделки в общественных правах и отношениях, тогда, конечно, посреди *рабочих-практиков* не преминет явиться и энергичный лирик с поэтическим словом одушевления и одобрения». Наконец рано или поздно, это содержание «овладеет всей областью поэзии» [1]).

Да, ни Кольцов, ни Никитин, ни Шевченко, ни Суриков не преодолели старой России. Быт задушил их. Горький же не только преодолевал сам, но и вызывал к жизни все, что глушилось в других. С 1906 г. он наблюдает этот процесс лишь издали. Но вот он возвращается назад после восьмилетнего отсутствия... Чтобы уяснить себе деятельность Горького в 1913—1916 гг., надо вспомнить особенности этого момента, нового момента в *рабочем движении*.

Если 1905 год добивает иллюзию общенациональной борьбы, то после 1905 г. происходит еще большее размежевание в соответствии с обострившейся противоположностью общественно-политических интересов. И вот — мы видим — Горький, до сих пор представлявший слой «интеллигенции из народа» в широком смысле слова (не говоря о его босяцком романтизме), проникается духом рабочего класса, класса революционной эпохи.

Не он первый возвещает приход писателя-пролетария. Роль эту осуществили «Звезда» и «Правда», открыв свои страницы для фабричных стихов. Но роль Горького — зачинателя новой эпохи — состояла в том, что он сделал отбор этих писателей, писателей новых слоев, писателей черной жизни.

С этой целью он берет литературный отдел «Просвещения», предложенный ему Лениным; с этой целью выпускает сборники «пролетарских пи-

---

[1]) Добролюбов, Сочинения, под ред. В. Аничкова, т. V, стр. 538, 550—551. Курсив мой. *Л. К.*

сателей», намечая периодическое издание, которое учило бы писать этих людей, богатых опытом, но часто бессильных сказать то, что нам необходимо знать. В течение лишь трех месяцев после первого об'явления о сборниках Горький получает свыше 450 рукописей. Чьи же имена он выдвигает на их страницах? А. Гастев (Дозоров), М. Герасимов, А. Шляпников, Всеволод Иванов, Самобытник, Филипченко, М. Артамонов, Н. Рыбацкий, А. Ширяевец... Как видите, намечено как раз то, что так плотно вошло в послереволюционную литературу.

XI.

Еще характернее, чем отбор, самый подход писателя 1914—1915 гг.

Короленко предлагал «писателям из народа» становиться в ряды пишущих, как становились Кольцов, Никитин, Решетников. Польщенные почетным соседством, они должны были тонуть в «традициях». У Горького, напротив, сплошное «возраженье»... Он отводит им совсем особое место на этих путях, особое потому, что и пришли они, делегаты низов, от совсем новых, особых слоев и пластов.

Профессиональный писатель, он чувствует недостатки их прозы, их стихов. «Но мне кажется, что с м ы с л издания этой книжки — говорил он — вы должны чувствовать сильнее меня». Ведь эти сборники — новое, очень значительное явление — «красноречиво говорят о росте интеллектуальных сил пролетариата». Именно, несмотря на все дефекты, этот сборник интересен. Может быть, об этом сборнике впоследствии будут говорить, как об одном из первых шагов русского пролетариата к созданию своей художественной литературы. Фантазия? Недоверчиво скажут писателю. Такой литературы никогда и нигде не было? «Многого не было, что есть теперь, — отвечает он, — ведь раньше не было и рабочего класса в тех формах, с тем духовным содержанием, каков он в наши дни. Это стремление должно все более напряженно развиваться в душе пролетариата, который, по мере роста интеллектуальных сил, будет все с большей и мучительной ясностью чувствовать свою коллективную драму и драму своих единиц. Я крепко убежден, что пролетариат может создать свою художественную литературу, как он создал — с великим трудом и огромными жертвами — свою ежедневную прессу. Это убеждение выросло на почве долголетних наблюдений моих за усилиями, которые сотни и сотни рабочих, ремесленников, крестьян упрямо тратят в попытках изложить на бумаге свои думы о жизни, свои наблюдения и чувства».

Ни одна страна Европы ведь не дает такого количества писателей-самоучек, как Россия. Чем это об'яснить? Политической юностью русского народа? Да, пролетариат выступает на сцену после 1906 г. «Когда история расскажет пролетариату всего мира о том, что пережито и сделано вами за восемь лет реакции, — обращается он к рабочим, — рабочий мир будет изумлен вашей жизнедеятельностью, бодростью вашего духа, вашим героизмом. Бодрые силы пролетариата, возрастая количественно, становятся и качеством своим все более культурными; мы уже можем сказать, что

несмотря на ужасные условия жизни русского рабочего, он постепенно создает свою интеллигенцию, выделяя часть своей физической энергии, претворяет ее в энергию психическую, духовную. Вот откуда истекает все возрастающее среди рабочих стремление к писательству, к литературе».

XII.

В сборник пролетарских писателей попадает Ширяевец. Мало того, Горький пишет предисловие к книге стихов Ив. Морозова («Разрыв-трава»), крестьянского поэта. Проникнутый гуманной теплотой, он призывает к вниманию ко всем выходцам из нижних пластов, независимо от их подразделений. Нам необходимо беречь каждого, — уверяет он, — это необходимо нам более, чем какой-либо иной нации, вследствие нашей духовной нищеты. Однако центр его внимания уже — рабочий. Организационная роль, сыгранная «Звездой» и «Правдой» в выявлении пролетарской художественной литературы, привлекла к ним все его симпатии, укрепила все его чаяния.

И вот начинается его сближение с ядром пролетарских писателей. Положение их теперь было тяжелое, независимо от преследований охранки. Уже в силу своей писательской «строптивости», они работали, где попало, а то были на положении безработных. Самобытник «окопался» за кулисами Передвижного театра, чтобы избежать ареста. Кириллов играл по ресторанам в «неаполитанском оркестре». Бердников работал в какой-то булочной. Ерошин ходил по квартирам с «патентованными средствами» для «истребления блох и тараканов». Однако стоило С. Малышеву сообщить им всем, что Горький ищет встречи с ними, чтобы они все собрались на его квартире, на Петроградской стороне.

Об этих встречах рассказывают Сергей Малышев, Маширов-Самобытник и другие. Собрания обставлялись столь конспиративно, что они узнавали о них лишь в последний момент. «А. М. своим ровным и покойным баском,— вспоминает Самобытник,— с характерным нижегородским «оканьем», с видом заправского профессора об'яснял нам законы литературного мастерства, роль и значение писателя, а затем перешел к разбору произведений для сборника. Имея обычное представление о редакторской строгости и сухости, мы немножко в душе «струхнули» и заволновались. Каково же было наше удивление, когда А. М., все тем же ровным баском, но еще любовнее, еще задушевнее, стал характеризировать каждое произведение. Сразу было видно, что так разбирать и критиковать может только человек, который глубоко верит в это дело, который любит и ценит человеческое слово и только хочет, чтобы оно блестело еще чище и ярче. Разбирая произведения и указывая на отдельные недостатки, он тут же двумя-тремя красочными мазками показывал, как надо их исправить, и наши бледные картины оживлялись и загорались блеском под рукой великого мастера слова. Надо писать, — учил он, — чтобы из сетки черных строк глядел новый образ. Шаг за шагом разбирал он каждое произведение, рассыпая яркие и

смелые образы, посвящая нас в тайны художественного творчества. Впечатление от его слов было огромное и незабываемое. Каждый из нас, может быть, в первый раз задумался о сериозности творческого труда, о необходимости работы над самим собой». Конечно, пролетарии засыпают писателя вопросами со своей стороны. И Горький рассказывает им о том, в каких условиях и как были написаны «Мать», «Исповедь»; говорит о Мережковском, о Философове, выступившем с «Концом Горького» не только в Москве, но и в Париже. «С помощью Горького — пишет С. Малышев — мы не только организовали группу рабочих-литераторов, но и выпустили свой первый сборник пролетарских писателей. Наша большевистская рабочая группа Питера всюду в той или иной мере поддерживала связь с ним». Сборники пришлось приостановить лишь потому, что «Правда» была закрыта и пролетарии были либо арестованы, либо отправлены в ссылку. «А далеко занесло вас, добрый мой дружище, Сергей Васильевич, — пишет Горький уже скоро Малышеву. — Поглядел я на карту и даже холодно стало, но прочитал еще раз письмо ваше — оттаял, вижу, духа бодрого вы не теряете, а это — главное. «Они свое, а мы — свое», — вот хороший лозунг для упрямых людей». «Не обидьтесь, — вкладывает он Малышеву деньги. — Но мы здесь осведомлены, что в ваших краях люди живут трудно — холодно и голодно».

Насколько Горький рисковал, можно судить по тому, что теперь начинается травля его, как пораженца. Не успел он издать сборник, как департаменту полиции уже сообщают об этих собраниях: «Под видом собеседований с сотрудниками-самоучками М. Горький устраивает сборище в редакции своего пораженческого журнала «Летопись», в издательстве «Парус», у гг. Тихонова, Суханова, Базарова, Ладыжникова и многих других. На самом же деле вместо самоучек на собраниях этих сходятся делегаты различных революционных рабочих организаций, преимущественно большевиков. Эти же лица постоянно выступают в рабочих клубах и др. профессиональных рабочих кружках, конечно, под разными кличками, призывая рабочих к пораженчеству и забастовкам».

XIII.

Первый сборник пролетарских писателей вышел в пору «Просвещения», к которому Горький был прикосновенен. Но журнала, созданного Горьким, еще не было. И вот возникает «Летопись», толстый журнал, выходящий ежемесячно, дающий возможность дать больший размах творческим силам. Однако чутье художника ему не изменяет.

Едва ли найдется человек, так связанный теперь с писателями низов, людьми всех профессий и положений. Он знает, что эта «страсть», ударившая по головам сотни людей, втолкнувшая им перо в руки, — показатель роста, воспринятого в огне и дыме революции; осветилась до дна душа рабочего человека, просясь наружу. Но Горький неумолим. Все ли они идут к цели? Многие ведь осознают ошибочность своего пути. Не трагедия ли

в неумении найти другой путь! Вот почему редактор «Летописи» не менее строг, чем руководитель «Знания». «Меня отталкивают книги Жакова отсутствием в них скромности, обязательной для сериозного человека», — пишет он об авторе «Сквозь строй жизни», пришедшем от сохи к профессуре.

«Побольше рисуйте, изображайте». «Ведь вы знаете, как простые люди думают. Они думают образами», — требует он от самородков. «Надо не об'яснять, а показывать». «Не торопитесь, большие работы растут медленно»; «имейте в виду: вы должны работать и работать не покладая рук. Это ваш долг». «Вы вступаете в литературу не с чем-нибудь, а с такой вещью, которая будет не только напечатана, но и долго будет жить».

Один рассказ сантиментален, другой по содержанию не подходит, третий... — таких рассказов десятки написано... Однако, бракуя одних за подражательность, других за отсутствие правдивости, беспомощность, неуменье писать и пр., он и в «Летописи» выдвигает ряд имен, в которых впоследствии не ошибся.

Характерен уже прием его. Рассказывая о писателях, считавших своим долгом «обласкать» рабочих, И. Садофьев пишет мне: «Особенно в этом отношении показал себя М. Горький, с которым я познакомился в 1915 году, когда он организовывал свой известный журнал «Летопись». На приемах у него тогда бывало косматых, бритых и бородатых «джентльменов» человек до ста, а он сидит в своем кабинете и, потирая ладони, рассказывает мне об итальянской культуре, футуризме, медицине... Зная, сколько там в приемной ожидающих, собираюсь уходить... Останавливает: «Сидите, вот папироса, курите, а те, ничего, подождут, никуда не денутся. Вы совсем другой народ, новый народ, крепкий и счастливый... Перед вами плодородное, еще никем не паханое поле... это — завод. Вы его знаете. На этом поле работы хватит на пятьдесят лет. Нам, старым писателям, не суждено было увидеть по-настоящему этого поля». В другой раз, когда его секретарь доложил о моем приходе, он высунул голову в дверь и пробасил: «тут пришел рабочий-поэт, прошу его вне очереди». Нужно было видеть, сколько злых глаз уставилось на меня, а также мое смущение». Но насколько он требователен вместе с тем! Можно судить об этом по тому, что он бракует еще Всеволода Иванова. «Послал я рассказ в «Летопись» Горькому, — вспоминает Иванов. — Послал и ждал славы. Самый счастливый день в моей жизни был через две недели, когда в грязный, длинный и темный подвал типографии вошел почтальон и подал мне письмо. Вся типография собралась читать письмо Горького. Тогда я в две недели подряд написал двадцать рассказов и некоторые послал Горькому. А он мне написал, что это плохо и надо учиться и читать. Учиться я не умел, но начал и не писал уже два года».

Мы видим в «Летописи» таких писателей, как А. Чапыгин, уже известный своим «Белым скитом». Но встречаем и таких, которых открывает «Летопись». Таков Ф. Гладков с своим «Единородным сыном», впоследствии

перекрещенным в «Пучину». «В то время, когда стала выходить «Летопись», я жил в очень глухом углу — учительствовал в казачьей станице на Кубани, — пишет он. — Литературной атмосферой я никогда не дышал и на писателей, которые жили в столицах, смотрел, как на людей не от мира сего. Думал, как школьник, как всякий «ничтожный мира», прозябающий в мурье, по-пушкински думал, что писатель, это — жрец, который только и делает, что приносит жертвы Аполлону. Я «ковырял» себя беспощадно, доходил до отрицания в себе всякой способности к творчеству, не верил временами до отчаяния, и этот болезненный самоанализ доводил меня до полной безнадежности. И все же в часы бодрости я написал рассказ «Единородный сын» (теперь «Пучина») и опять послал Горькому. Я уже ни на кого не надеялся, никому не верил и только попрежнему неугасимо горел во мне гигантский образ Горького. К кому же обращаться за поддержкой, как не к нему? Получаю от него трогательное письмо и поздравление: рукопись принята в «Летопись» и будет скоро напечатана. А приписка в письме: «Работайте, не щадя сил, и все, что напишете, присылайте мне»... всколыхнула меня, как огромная теплая волна». Вскоре после того Гладков устремляется в «Питер», чтобы увидеть, наконец, Горького, живого Горького, образ которого он «носил в душе целых 18 лет». Вот он, наконец, у него в кабинете. В голосе писателя почему-то тихая грусть и раздумье.

— Вот в чем дело, мой друг, — говорит он ему. — Все-таки скучно как-то... скучно... Бойтесь прежде всего этой скуки. Вещь должна быть в движении — она должна волновать. У вас есть все возможности для этого. Вот теперь настали времена... У вас там — бушующее море. Изображайте все это немедленно. Не переставайте набивать руку каждый день. Ведь я вас очень давно знаю. Да, так вот-с... Побольше напряжения, четкости... чтобы верно и метко... Всякая скука — от уныния...

«Этой встречей с Горьким я жил очень долго», — добавляет Гладков.

А. Демидов, задумавший в ту пору написать большую повесть из быта крестьян, повесть, которая должна была отнять у него 2-3 года времени, пишет мне: «Отдаю предварительно в журнал «Летопись» свой рассказ «Так жить нельзя» на отзыв. Случилось так, что его читал сам Алексей Максимович (Горький). Меня вызвали для об'яснений. «Такого рассказа я не напечатал бы, — начал А. М. и упрекнул меня за содержание. — Но как он написан, говорит за то, что вы можете написать крупное произведение». Я признался, что хотел бы приняться за большую повесть из быта крестьян, но не решаюсь. После того мы с Алексеем Максимовичем условились так: я попробую, начну, а он посмотрит мою новую работу, и тогда видно будет, нужно ли продолжать. Первые же 60 страниц «Жизни Ивана» Горький крепко похвалил. Просил выдержать до конца и писать тем же языком, как начал. Он думал, что и война кончится, а я все буду писать эту повесть, но я ее окончил, к удивлению Алексея Максимовича, в 1—1½ года во внеслужебное время. Я носил Алексею Максимовичу каждые две недели новые главы, а он мне возвращал прочитанные и все более и более похва-

ливал. На возвращаемых листах были надписи: «Вот это картина!», «Вот так и надо писать», «Короче, короче, многословно!». По его совету прочитал книгу Семеновой-Тяньшанской и был изумлен: автор хотел написать почти то же, что и я, и, главное, из быта крестьян соседнего уезда. «Жизнь Ивана» была принята Горьким в «Летопись», но «Летопись» прекратилась».

Та же история, что с Иваном Вольным. В «Летописи» появляется М. Черноков, автор книги «Теплые росы», выпущенной Государственным издательством.

Даже, не печатая автора, Горький проявляет все ту же заботу о нем. Неверов уже печатается в «Русском богатстве», «Современном мире». Но Горький еще его бракует. «В начале почти — хорошо, — пишет он ему о рассказе, присланном в «Летопись»,— а чем дальше, тем более скучно». О другом рассказе: «Остерегайтесь выводов. Изображайте, не стремясь поучать от себя». Однако задушевность, сердечность не может не подкупать и в таких отказах. «Нет, попробуйте еще написать, — пишет он ему, — вы можете сделать лучше. Времени нет, неудобная обстановка? Я понимаю это и не тороплю вас. Но я надеюсь, — более того, — я уверен, что вы должны и будете писать хорошо. Вам денег не нужно ли? Книг?». Он просит В. А. Поссе ознакомить его с рассказами Неверова, уже напечатанными.

XIV.

В то время как Толстой, Златовратский не выдвигают ни одного заметного дарования, — нельзя считать таковыми ни Семенова, ни Лазарева-Темного, — Короленко же одного Под'ячева, с именем Горького уже до революции связаны такие дарования, как Скиталец, Иван Вольный, Касаткин, Новиков-Прибой, Гладков, Герасимов и др.

И чем шире раскрывались двери перед ними, как в столицах, так и в провинции, как в Великороссии, так и на Украине, так и в Белоруссии, тем яснее было, что речь идет не о писателях-массовиках, а о массовой литературе. Оттого-то Горький, столь много делающий для того, чтобы дать возможность таланту из народа стать на ноги и окрепнуть, так противится «снисхождению», соображениям постороннего характера, так оберегает литературные критерии при оценке этих дарований. Ведь снисходительный критерий обесценил бы самый процесс кристаллизации этих новых сил, этой новой литературы.

Конечно, такой подход не всем мог быть по душе. Ведь самоучка до всего доходит «своим умом». Уже поэтому ему не ясно подчас, что ценных результатов можно добиться лишь трудом, что усвоение приемов мастерства требует культуры, образования. Затем это представление, о котором я говорил выше, представление о том, что человек из народа именно потому, что он из народа, есть источник особенной мудрости, что он может сказать то, что интеллигент не скажет. Старое народничество из десятилетия в десятилетие прививало ему эту исключительность, ссылаясь на происхождение, как аргумент в силу правоты своих идей. И вот возвратный

ток этого настроения... Горький — внимательный наблюдатель трудовых низин — конечно, не ждал этой высшей мудрости. Противоположение народного творчества «барскому», «господскому» само по себе не предрешало в его глазах оценок. И это-то, без сомнения, и раздражало кой-кого против писателя.

В. Ермилов, не встретивший того приема, какого ожидал от Горького, уверял, например, суриковцев, что «Горький Максим, словно забыв, откуда сам вышел и чего, каких усилий стоило ему добиться и владения литературной формой, и признания его таланта в массах читательской публики, смотрит придирчиво строго на таких же, в сущности, выходцев из народа, как он сам, и беспощадно осуждает страстную их, обычно, конечно, попервоначалу неловкую и неуклюжую форму выступлений в печати и спешно брезгливо выдает им всем разом, гуртом один общий патент на бездарность». На чем он основывался? Когда, видите ли, Ермилов открыл доступ в журнал «Народное благо» писателям из народа, то Горький, мол, ему говорил:

— Напрасно, напрасно! Напрасно вы их так легко пускаете в среду заправских писателей. Вы их тем портите и будете нравственно отвечать за последствия.

— В чем же тут вред, Алексей Максимович?

— А в том, — решительно, взволнованно, почти гневно возразил он ему, — что в народе распложать посредственность грешно и стыдно. Отвлекать работников от обычной их работы ради дешевого успеха не стоит. Нехорошо развивать в них самообольщение, — это их унижает...

Как-то Горький лестно отозвался о С. Кошкарове, поэте суриковского кружка, причем, однако, добавил: «кричит только, кричит»... Я передал этот отзыв Кошкарову.

— Относительно Горького скажу, — ответил мне покойный, — что он в стихах не особенный знаток, и отзыв лестный его не имеет для меня особой ценности. В свое время я Горькому писал два письма, но ответа не получил. Думаю, что Горький желал бы, чтобы талант из народа шел в его созвездии.

Третий пишет: «Нами любимый писатель яркой звездочкой загорелся на сумрачном небе жизни: много сердец оживил, много освежающего внес в нашу смрадную жизнь, заиграл на скрытых в душе нашей струнах великую песнь желания. Но — увы! — писательство Горький возлюбил сильнее, нежели творческий свой дух. Пока он был Горьким, он был желанным и любимым, но, отдаляясь все далее и далее, он скрылся в облаках, откуда нам его плохо слышно и плохо видно».

Однако едва ли я ошибусь, если скажу, что, в большинстве, наши авторы принимают оценки горьковские без «личного» элемента, виня в своих недостатках самих себя, понимая, что искусство письма это труднейшее искусство. И чем это им яснее, тем выше в их глазах роль Горького, как вдохновителя пролетарских и крестьянских писателей.

XV.

«От Алексея Максимовича ответ я получил, — пишет мне в 1915 г. С. Фомин, рассказы которого Горький нашел небрежными по форме, анекдотичными по содержанию. — Алексей Максимович сказал, что надо много и усердно учиться. Сначала меня письмо его ошеломило. Я расстроился и ночи две не спал. Потом я понял, что — при всей строгости Алексея Максимовича к моим произведениям — безнадежно он на меня не смотрит. И теперь несовершенства свои я вижу более, чем когда-либо. Учусь и буду учиться. Алексей Максимович строго ко мне отнесся и тем дал почувствовать, насколько серьезно надо относиться к художественному творчеству. Теперь книжку свою «Песни радости и печали» я бы в таком виде уже не выпустил. В будущем я ее переиздам, выбросив и исправив добрую половину. Особенно над рассказами своими, после замечаний Алексея Максимовича, я задумался. Мне кажется, что «порка» М. Горького за мои грехи, ошибки и небрежности окажет мне большую пользу». А вот письмо другого пролетария — беллетриста В. Лазарева. «Алексею Максимовичу послал я два рассказа, — пишет он мне. — Расщедрился. И успел уже получить ответ». «Обратите внимание на строй вашей фразы, очень неправильный, незвучный и порой многословный. Писать надобно просто, четко, это будет правдиво и красиво», — советует ему Горький, раскритиковав его рассказы. «По случаю такого ответа мне и сегодня жарко, хотя я был в бане на прошлой неделе, — пишет Лазарев. — Возможно еще такое состояние и потому, что я за ответом гонялся на станцию каждодневно, как услал рассказы. Вестимо, это глупо, но зато... суд правильный. Придется еще мне разоряться. А все потому, что литература дорога мне. Отними ее, кажись, и руку не к чему приложить».

И Фомин, и Лазарев — суриковцы того времени, товарищи Кошкарова и Ермилова по кружку. Если же и суриковцы — литературные Макары тех дней — так умели ценить литературный подход к ним Горького, то тем ближе учительская строгость «Максимыча» писателям, которых он выдвигал. Ведь и выдвигал он после систематических отказов! Как «учил» он, например, Касаткина! Помню письма Горького к нему... Даже когда выходит «Лесная быль» Касаткина, — славная книга, выдержавшая четыре издания, — он убеждает его не торопиться. «Шлю вам книгу, — пишет Касаткин мне, — Максимычу тоже шлю, хотя бы для того, чтоб проворчал лишний раз, — он был против выпуска книги. Я бы, пожалуй, и согласился с этим, да так уж вышло: Бунин Иван — вот кто соблазнитель мой». Но с каким чувством тот же Касаткин пишет мне о нем! «Вот вещица, от всей души посвящаемая мною Алексею Максимовичу в день его ангела, именно 17 марта, — пишет он мне, прилагая к письму стихи. — «На Алексея вода с гор...». А бродячая Русь — в путь-дорогу... Алексей — человек божий, как вам известно, и святость приобрел, и русскому человеку близок так — именно тем, что, покинув дом, знатность, богатство, ушел ночью, тайком, на все четыре стороны... Ушел в первую брачную ночь, не изведав свою

молодую жену. Вот какой! Буду коленопреклоненно просить вас: втисните это стихотворение в первую же книжку «Современного мира» — иного журнала не придумаю. Максимычу сделать приятное хочется. Люблю я его. Тисните же».

Даже не склонные к «обожанию» учителя проникнуты этим чувством к Горькому. «Что вы о нем пишете, это самое я почувствовал и увидел при свидании с ним, — пишет мне один из самых даровитых питомцев писателя. — Почему-то мне думается: не живи он так долго на Капри, он не был бы таким вот именно восточным европейцем. Но при всем том, он удивительно любвеобильный, мягкий в душе человек, по-ребячески способный восторгаться. И можно удивляться, каким образом он сочетает в себе эти две штуки: мягкость души и свирепую неподвижность мнения».

XVI.

И Белинский, и Некрасов, и Салтыков-Щедрин, и Короленко соединяли звание писателя с званием собирателей сил. И они выдвигали «литературных парикмахеров», как выражался Л. Толстой, но таких, как Помяловский, Успенский, Эртель, Левитов, выдвигали народников-разночинцев, что шли все же проторенными путями. Горький же впервые стал руководителем писателей, родившихся в огне революции, писателей от сохи и от станка. Естественно, едва произошла революция в России, она должна была вскрыть всю неразрывность родоначальника этой литературы со всем тем, что за ним шло. Однако этого не случилось в 1917—1918 гг.

В 1917—1918 гг. мы видим откол от Горького не Кошкаровых, не Ермиловых; мы видим отход от него элементов, которые он наиболее ценил Я говорю о зачинателях пролетарской литературы, связывавших его с «Звездой» и «Правдой», которых он выводил в своих сборниках.

Как же это случилось? Слишком памятно...

Горький выводил «низовую» литературу. Но низовая литература об'емлет и крестьян, и кустарей, и ремесленников, и мещан, и рабочих. Резкой нотой врезался в гущу писателей из народа голос писателя от станка, перед которым стал в 1917—1918 гг. вопрос: есть ли Горький не «писатель лишь из народа», но «писатель-пролетарий», проникшийся светом рабочего класса, той психикой, тем пониманием, которые он несет? Ведь вышел Горький из мещанской семьи, далее ремесленной выучки не пошел. Не только Толстой говорил ему: «вы сомнительный социалист». Никто иной, как Плеханов, утверждал, что Горький плохо переварил ту истину, которую несет миру пролетариат. «Если бы он хорошо переварил эту истину, — писал Плеханов, — то те герои, которым он поручает вещать ее, не говорили бы двусмысленного вздора при каждом удобном и неудобном случае» [1]).

Вопрос о социализме Горького стал ребром в связи с принятием и непринятием Октября. Поэты-рабочие безоговорочно

[1]) Плеханов, От обороны к нападению, стр. 251 — 266.

приняли Октябрь. Горький же, писавший письмо либеральным дамам в 1905 г., испуганным раз'яренностью народа, доказывавший им всю неизбежность этой раз'яренности, сам испугался в 1917—1918 гг. пугачевщины. «Самый грешный и грязный народ на земле, бестолковый в добре и зле, опоенный водкой, изуродованный цинизмом насилия, безобразно жестокий и в то же время непонятно добродушный» оставался для него «талантливым народом», который выдвигал всех этих самородков; но в то же время он пугал его своей «рабьей кровью».

XVII.

«В семнадцатом году мы с Горьким разошлись из-за его «Несвоевременных мыслей», — пишет мне Садофьев, — разошлись и больше не встречались». Он писателю очень «благодарен за его добрые в свое время советы, за его литературную помощь» ему. Но разговаривать уже не о чем. Кириллов констатирует, что оторванность от народных масс «накладывает пелену на глаза даже самых сильных провидцев человеческой души». «Странно слышать и видеть, — пишет он, имея в виду Горького, — как некоторые бывшие идейные и духовные вожди пролетариата, долгие годы служившие великой цели освобождения рабочего класса, теперь, когда этот класс, сбросив с себя оковы векового рабства, неопытными, но могучими и непреклонными руками берется за строительство новой жизни, эти бывшие вожди, вместо того, чтобы слиться с ним в этой великой работе, став в позу безучастных наблюдателей, занялись неблагодарной работой — отыскания на теле освободившегося исполина язв и рубцов — следов прошлого насилия и рабства».

«Связь по происхождению с ремесленно-босяцкой средой, — вот что не дает осилить Горькому идею рабочего класса, — доказывает Ф. Калинин. — Вместо сознательной борьбы за понятие до конца классовых интересов рабочих, связи их коллективной психологии с социализмом, М. Горький предпочел более легкий путь наименьшего сопротивления».

Однако вскоре Самобытник мне уже сообщает, что Горький, — у него же на квартире, — продолжает свою роль учителя, наблюдателя их творчества, творчества пролеткультских рабочих, руководит и литературным кружком матросов.

В 1919—1920 гг. Горький направляет свои усилия на то, чтобы помочь писателям. Но все же интересы дела у него впереди. Вот, например, как ставит он на ноги Всеволода Иванова, только что приехавшего из Сибири. «Когда я был у Горького, он смотрел на мои ботинки. Подошва у ботинок отскочила; я ее примотал ржавой проволокой. Горький говорил, что мне надо попитаться и писать. Горький мне звонил каждое утро по телефону: «Едите? Пишете?». — «Ем и пишу», — отвечал я. И он мне говорил: «продолжайте». Иванов написал два рассказа и отнес ему. Горький радостно потер руки, спросил: «Почему не заходите?». Но на другой день — впервые за целую неделю — утром не было от него звонка. Иванов пришел

к нему встревоженный и увидел сухое лицо и «круг, как бы мысленно очерченный около себя». Он понял, что теперь вот, с этого дня, он не интересен для него. Он оказался плохим писателем. У него стала тугая улыбка и голос небрежный и пустой. Иванов вернулся домой. Гордость и злоба терзали его. Вскочил, вырвал два десятка карт из Британской энциклопедии, на которых писал свои рассказы, и стал писать. Хлебные запасы уже кончились. И не было даже сил отнести рассказ Горькому. Отнес его сын хозяйки. В письме просил Горького прислать немного хлеба. Телефонный звонок его разбудил уже поздно вечером. Ласковый голос сказал: «Отличный рассказ. Я вам сейчас колбасы посылаю и хлеба». А в письме писал: «Как это у вас хлеба нет, друг мой? Вы должны аккуратно получать в Доме ученых. Там же вам надо починить сапоги». Через неделю его остановил Горький на лестнице Дома ученых. «А у меня, Иванов, для вас в кабинете вещь... Обождите...». И вынес пару сапог. Даже уехав за границу, он и оттуда прислал ему две пары сапог какой-то необычайной прочной кожи. Рассказ, понравившийся Горькому, был «Партизаны», которыми Иванов начал свою литературную карьеру.

И ту же заботу Горький проявляет ко всем своим питомцам. «У вас масла нет? Я вам приготовил»... Однако даже в такой трудный момент Горький не только давал; он в то же время требовал. Ведь хотя его и поругивали, поругивали подчас очень зло, — все же рукописи носили. Центром же его внимания была литература, не та, которая есть, а та, которая будет, по крайней мере, должна быть.

XVIII.

Но «Несвоевременные мысли» недолго владели Горьким. С течением времени он все более сознает ошибочность позиции, занятой им в 1917 г. И вместе с тем все в большую и большую величину вырастает круг писателей, социально однородных, идеологически близких самому Горькому, перед которым теперь так распахнулись двери.

«Тяга рабочих и крестьян к литературе — это одно из крупнейших «положительных» явлений в Советской России, — пишет он О. Анзимировой. — Это — вполне естественное стремление новой творческой силы занять «командные высоты культуры». Тяга эта должна расти все мощнее и быстрее». В том, что в литературу идут сотни людей от сохи и от станка, у многих из которых есть «несомненные таланты», почти у всех — «огромный жизненный опыт, какого не было у писателей прежних поколений», — он видит «процесс небывалый никогда и нигде», видит тот литературный переворот, который предчувствовал со времен Скитальца и Сивачева. «Если бы вы знали, как дорога мне каждая строка, которая сейчас пишется в России вами, зачинателями какой-то новой литературы, — пишет он Еф. Зозуле. — С жадностью слежу за всем и жду великого, зная, что оно в мире нашем слагается из мелочей». И затем Ф. Гладкову: «Закончив третий том моего романа, я, наверное, займусь

журналистикой, чтобы стать теснее к жизни, главное, к молодежи. Эта порода людей восхищает меня. Вот, например, сегодня получил из Башреспублики стишки и письмишко 16-летнего парня. Пишет смело, грамотно, своими словами. Таких корреспондентов у меня десятки».

Наконец, И. Белоусову: «Меня здесь многое в современной жизни России и удивляет, и восхищает. Очень внимательно читаю молодых литераторов — хорошие задатки у многих». «Я убежден, что сотни писателей, прозаиков и поэтов, которые выступают теперь впервые на литературном поприще, станут через пять-десять лет блестящими стилистами».

Если в пору предисловия к стихам Ив. Морозова он отмечал, что «все выше, бодрее звучат голоса пишущих», — «чувствуешь, что в нижних пластах жизни разгорается у человека сознание его связи с миром и так воодушевляюще жарка надежда на то, что скоро уже встанет, выпрямится наш пригнетенный народ», то теперь надежда его осуществляется. И в связи с этим оценки его начинают расти все выше и выше.

С восторгом говорит о Есенине. Всеволода Иванова он — по приемам письма даже — поднимает над таким мастером, как Иван Бунин. Вот письма его к автору «Разина Степана». Он называет его роман «великолепным», радуется каждой книжке «Красной нови», в которой он идет. Он уверяет Чапыгина, что если бы он — Горький — написал страницы, подобные страницам Чапыгина, то удовлетворил бы свою художественную совесть. Вот письма его к П. Низовому о его «Путях духа моего». Ни одна редакция не соглашалась напечатать это произведение. Но Горький и здесь на высоте строгости и справедливости. Он уверяет Низового, что «Пути» его — выдающаяся вещь, что он напечатает их сам, как только представится возможность. Он выдвигает Леонида Леонова, Сергея Клычкова, Казина, Орешина, Жарова, С. Семенова, «рабочего, одаренного своеобразным талантом».

XIX.

В то время как Л. Толстой — титулованный аристократ — разбивает ложь, именуемую культурой, до конца сводит счеты с городом; возвращает Семеновых и Дрожжиных в «мужицкий край» с его кротостью и смирением, Горький — писатель из народа, не кончавший ни гимназий, ни университетов — направляет все, что идет за ним, именно на путь культуры. Представление о писателе из народа, неотесанном, неуклюжем, беспомощном технически, самоучке, для которого существовала особая литература должно отойти в область прошлого. «Начинающие писатели из народа, это — целый тип, с которым нам с вами приходится иметь дело, — писал Короленко А. Г. Горнфельду. — Тип прямо трагический» [1]. Нет, звание это должно стать званием центрального значения после того, как армия пролетарских и крестьянских поэтов и беллетристов заняла места Пушкиных и Толстых, Чеховых и Короленок. Вот миссия Горького, как собирателя народных сил.

[1] «Из писем В. Г. Короленко к А. Г. Горнфельду», — «Русское прошлое» № 3, 1923г.

Естественно, и новые поколения рабочих и крестьян, — те, что идут на смену Касаткиным и Вольным, Ивановым и Гладковым, — чтут его не только как писателя, но и как родоначальника их отцов. Этот «молодняк» идет, как известно, из пластов «рабкоров» и «селькоров». И вот они уже просят писателя: «Алексей Максимович! Как было бы ценно и полезно для нас, если бы вы хотя сжато поделились с нами основой вашего огромного литературного опыта. Ведь такая уйма тем и вопросов». Ведь хочется сделать что-либо побольше, чем газетная заметка. «Порой чувствуешь такой огромный прилив энергии сделать что-либо большое; приходят в голову грандиозные мысли, и если бы было время, то все силы, сердце, разум, все лучшие чувства отдал бы на это дело». «Вот уже третий раз перечитываю Л. Н. Толстого «Что такое искусство», — пишут ему. — Не ошибочно ли увлекаться формой и наружными эффектами?» И «Максимыч», справляющий шесть десятков лет от рождения, три с половиной литературной деятельности, «Максимыч», сочетающий в себе «две штуки»: мягкость души и свирепую неподвижность мнения, басит этим, как и тем: «Не читайте книг, подобных книге Льва Толстого «Что такое искусство». Ничего полезного они вам не дадут, а только засорят память». «Учиться людям вашего типа надо не на мнениях, а на фактах, не на суждениях об искусстве, а на самом искусстве». «Читайте французов: Флобера, Мопассана». «Читайте Лескова, Толстого Льва, Пришвина». «Идеи этих мастеров для вас не так важны да и не нужны вам, как идеи; но их мастерство еще не превзойдено, а его-то вам и надобно усвоить». «Одним словом, учитесь технике, не поддаваясь идеологии. Идеологию вы должны взять свою». Лишь «напрягайте всю силу вашей воли». Нужно «учиться, не щадя своих сил». «Идеологической заразы отравления духом враждебного нам класса бояться не следует, всякий страх возникает из непонимания». И, наконец, в итоге: «Вы, молодежь, должны учиться владеть техникой в литературной работе так же мастерски, как владели ею наши классики. История призвала вас к созданию новой жизни, значит, вы должны и литературу обновить. На вас возложена обязанность стремиться к успехам большим. На вашу работу с надеждой смотрит трудовой народ всего мира. Из вашей среды должны выйти его поэты, ученые, вожди».

* *

Горький — основной камень в процессе формирования новой литературы, вообще, и не только в прошлом, но и в будущем. Недаром Ф. Гладков говорит, что Горький должен стать «нормой» не только в их, Гладковых, литературном труде, но и в воспитании юных писателей, должен стать их нутром, их практикой.

Недаром П. Орешин так низко кланяется:

И во всех далеких странах кочетом поет
На морях и океанах трудовой народ.
Как же нам, терпя разлуку, вольностью дыша

Не пожать большую руку, руку Челкаша!
Ведь и сами мы по чину, как там ни пиши,
Все в Совдепии овчинной тоже Челкаши.

Пусть писатель, возглавляющий все, что стало на «командные высоты» литературы, прежде всего привлекает к себе внимание, как художник, первый мастер новых слоев. Едва ли, однако, от этого умаляется работа литературного наставничества, роль Горького, как руководителя тех десятков, — а вернее, сотен имен, которые он теперь возглавляет — имен революционной литературы. Из нее мы с ясностью убеждаемся, насколько успех Горького был не только литературный, но и социальный успех. Нужен был не новый писатель, но новая литература, новый облик писателя, новая писательская судьба.

Как мы жили в ссылке [1]).

Н. Мещеряков.

Ссылка в Енисейскую губернию.

Вторично в сибирскую ссылку мне пришлось попасть в 1909 году и провести ее на этот раз в Енисейской губернии.

Жизнь в этой ссылке очень резко отличалась от жизни в Якутской области, которую я описывал в прошлом очерке.

Изменилось прежде всего время. Якутская ссылка 1904—1905 гг. относилась к эпохе нарастания революционного движения, к эпохе, когда ясно чувствовалось приближение и неминуемость революционного взрыва. Чувствовалась близость этого момента. Отсюда бодрое, приподнятое настроение не только всей массы ссыльных, но и тех сочувствующих элементов, с которыми ссылка соприкасалась. Отсюда проникавшая всех уверенность, что в ссылке не задержимся, что мы в ней кратковременные гости.

Ссылка 1909 г. относилась к эпохе поражения революции 1905 г., к эпохе революционного отлива. Это поражение революции пошатнуло веру в победу среди широких кругов революционеров; многие из них стали отходить от движения и превращаться в простых обывателей. Те же сомнения, то же уныние, то же «размагничивание» стало охватывать наименее устойчивые элементы ссылки. Правда, полицейский гнет и официальное зачисление в разряд революционеров мешали ссыльному превратиться в простого обывателя, но тем не менее и здесь шел процесс разложения, принимая только другие формы.

Второе существенное различие состояло в том, что якутская ссылка 1904—1905 годов была ссылкой *административной*, а енисейская ссылка 1909 г. была *ссылкой по суду*, *ссылкой на поселение* для громадного большинства ссыльных Енисейской губернии. А между этими двумя видами ссылки существовала громадная разница. Административная ссылка назначалась обыкновенно на короткие сравнительно сроки: 3—4—5 лет. Ссылка на поселение продолжалась 10 лет, да и после ее окончания отбывший ее только превращался в «крестьянина из ссыльных», по-

---

[1]) См. «Красная новь» 1928 г., № 1.

лучал право передвижения по Сибири, но не мог без специального разрешения вернуться в пределы Европейской России. Административный ссыльный, совершивший побег и арестованный в пределах Европейской России, по-просту отправлялся снова в ссылку доживать положенное ему время; в худшем случае ему прибавляли 1—2 года. Ссыльно-поселенец в случае неудачного побега рисковал гораздо большим. Если его арестовывали за пределами Сибири (т.-е. за Челябинском), то он предавался суду, и приговором ему обязательно бывала каторга, после которой снова следовала десятилетняя ссылка на поселение. Административный ссыльный получал некоторое, хотя и небольшое, денежное пособие, которое позволяло ему жить, хотя и с большими лишениями. Ссыльно-поселенец не получал решительно ничего. Все это значительно ухудшало положение ссыльно-поселенца по сравнению с административным ссыльным, ухудшало условия его жизни.

Наконец, ссылку 1909 года пришлось прожить в Енисейской губернии, которая и по природе своей и по населению резко отличается от Якутской области.

* * *

Разница положения стала чувствоваться уже с момента назначения к отправке в ссылку.

Ссыльно-поселенец, т.-е. осужденный в ссылку по суду — это был человек, лишенный прав, подобно осужденному на каторгу, и подобно последнему ставился в особые условия. Ссыльно-поселенцы, назначаемые к отправке, в ожидании этапа переводились в особые камеры, где и ставились в условия каторжного режима. Они теряли право носить свою одежду. Их одевали (мой этап отправлялся летом — в начале августа) в белые рубахи из грубого холста и в такие же штаны. Сверх того полагался халат из серого, так называемого «солдатского» сукна с желтым «бубновым тузом» на спине, серая суконная фуражка без козырька, а на ноги портянки и так называемые «коты».

Режим в общей пересыльной камере был чисто каторжанский: грубое обращение на «ты», мелкие придирки и тому подобное стремление унизить пересылаемого, подчеркнуть, что он человек, лишенный прав, что над ним можно издеваться почти совершенно безнаказанно.

Административный ссыльный мог брать с собой довольно много вещей. Количество таких вещей для ссыльно-поселенца было ограничено: не более 30 фунтов. Ограничено было и количество денег, которые мог взять с собой в дорогу ссыльный: не более рубля. Некоторым удавалось провозить больше, зашивая деньги в швы одежды. От казны полагалось ссыльному во время дороги по десяти копеек в день. Сумма явно недостаточная даже на самое скудное пропитание.

Когда мы в 1903 г. отправлялись в административную ссылку, мы знали, что пробудем недолго: не более 4—5 лет, на которые ссылались, а, вероятно, вернемся раньше, так как у всех была почти уверенность, что революция вспыхнет раньше. На этот раз мы знали, что уезжаем в Сибирь надолго, что пробудем там не менее, а может быть и более десяти

лет. Это сознание естественно отравляло радость, что мы, наконец, вырвались из трехлетнего пребывания в тюрьме, что скоро будем совсем на воле, хотя и в глухой сибирской деревушке. Но в конце концов эта радость взяла верх, и в нашем вагоне установилось веселое настроение: оживленные разговоры, смех, пение неслись отовсюду.

В нашей партии было много моих сопроцессников, судившихся в Москве в апреле 1909 г. по делу Московского комитета РСДРП. Это был крупный процесс, рассматривавшийся при открытых дверях. Отчеты о нем появились в некоторых московских газетах. Процесс произвел некоторый шум. Рабочие Коломны каким-то образом узнали про то, что проезжает наша партия. Они массой вышли на вокзал и принесли нам всяких подарков — еды, арбузов и т. п. Эта встреча произвела на всех нас глубокое, радостное, бодрящее впечатление.

Наш арестантский вагон — это был вагон третьего класса старого типа, т.-е. с короткими лавками, на которых спать никак невозможно. А дорога длинная; без сна обойтись было невозможно. Вдобавок партия оказалась большая, и в вагоне было довольно тесно. Ночью было отчаянно неудобно. Спать приходилось на полу чрезвычайно сомнительной чистоты, подстелив под себя все тот же универсальный арестантский халат. А так как скамейки были короткие, а среди вагона был проход, то нельзя было поместиться и поперек вагона; подушки были тоже не у всех. Приходилось спать вдвоем на одной подушке под углом друг к другу, образуя нечто в роде буквы «ижица».

Спать на полу приходилось и в пересыльных тюрьмах, а так как и в вагонах и в тюрьмах было довольно грязно, то немудрено, что уже через несколько дней у нас завелись вши и скоро так размножились, что стали истинным бедствием. Только добравшись до назначенных нам деревень, мы сумели освободиться от этих паразитов.

Но самым большим неудобством было то, что в дороге ссыльно-поселенцы заковывались в ручные кандалы (так называемые «наручники»). Эти наручники состояли из колец, охватывающих кисти рук и соединенных цепью; замок соединял два конца цепи. Неудобство наручников состоит в том, что обе руки оказываются связанными; если нужно двинуть одну из них, то вместе с ней неизбежно движется и другая. В особенности неудобно это, когда приходится переносить вещи. Во время пути в вагоне наручники часто снимались, но это зависело от благоусмотрения конвойного офицера. И, наоборот, тот же конвойный офицер под предлогом неповиновения ссыльного мог заковать его в наручники так, чтобы руки были не спереди, а сзади, за спиной.

Когда наш этап рано утром выходил из Бутырской тюрьмы, мы надели свои арестантские халаты в рукава, и только потом нам заковали руки. В вагоне офицер нас расковал. Так доехали до Самары. В Самаре полагалась остановка, и мы должны были направиться в тюрьму. Поезд пришел рано утром; было еще свежо, и мы для удобства опять надели халаты в рукава, а потом заковались. Добрались до тюрьмы, где нас поместили всех

вместе в большую камеру. Мы попросили расковать нам руки, но тюремное начальство, желая поиздеваться, отказало в этом. День выпал очень жаркий, и пребывание в теплом халате стало совсем нестерпимым, а снять халат, когда надеты наручники, невозможно [1]). Жара стала нестерпимой. Мы обливались потом, а тюремные надзиратели ходили и посмеивались. На наше счастье в нашей партии оказалось несколько портных. Мы распороли по швам халаты настолько, чтобы их можно было снять, и товарищи портные быстро снова зашили их. В какой-нибудь час вся работа была окончена, и, когда надзиратель зашел к нам, он был глубоко изумлен, видя нас благодушествующими без халатов.

В Самарской тюрьме к счастью задержались недолго: 2—3 дня, а затем двинулись на Красноярск, где и узнали, что наша партия назначена на жительство в Енисейский уезд.

Путь от Красноярска до Енисейска надо было совершить водой вниз по Енисею. Наша партия ссыльных была помещена на барже, которую вел пароход.

Дело было уже в конце августа; в это время в Енисейске уже осень; ночи довольно холодные, в особенности на реке, а мы попрежнему оставались в своих летних костюмах. Впрочем, особенно зябнуть во время двухдневного путешествия не пришлось, так как днем было достаточно тепло, а ночью у нас оказалось так мало места для спанья на нарах, что наша довольно многочисленная партия едва на них поместилась. Было так тесно, что лежать всю ночь пришлось всем на одном боку, так сказать «вкладываясь», как в форму, в того товарища, который лежал впереди. Повернуться при таких условиях на другой бок или хотя бы на спину было невозможно.

Невольно приходили на память слова известной песни:

Тесно в боченке лежать омулям.
Рыбкам, скажу я словами:
Вот побывать в Акатуе бы вам,
В бочку полезете сами.

Но мы, вырвавшиеся, наконец, из многомесячного, а некоторые и после многолетнего тюремного сиденья, не чувствовали ни холода, ни тесноты.

Через два дня плаванья добрались до Енисейска. Когда-то это был значительный по сибирскому масштабу губернский город. Постройка Сибирской железной дороги убила Енисейск. Губернским центром стал Красноярск, расположенный на пересечении железной дороги и Енисея, а Енисейск стал хиреть и глохнуть. Рост города прекратился. Если от пожара сгорали дома, места так и оставались незастроенными. Енисейск превратился в захолустный сибирский уездный город, расположенный в трехстах с лишним верстах от железной дороги. Только близость золотых приисков поддерживала жизнь города.

---

[1]) Опытные арестанты умеют какими-то способами снять рубашку, продергивая ее то туда, то сюда под наручниками. Тем же способом они умеют и надеть рубашку. Но с толстым суконным халатом это совершенно невозможно.

Из Енисейска нас пешим порядком развели по тем деревням, в которые мы были назначены. Я получил назначение в село Яланское [1]), в 30 верстах от Енисейска.

Жизнь под Енисейском.

Прибыл я туда 1 сентября все в том же летнем арестантском костюме и буквально без копейки денег в кармане. Надо было где-нибудь поселиться и прожить до тех пор, пока буду списываться с Москвой и получу оттуда деньги, одежду и т. п. Правда, сибирские крестьяне, имевшие в течение нескольких десятилетий дело с политическими ссыльными, привыкли видеть в них глубоко честных людей и оказывали им полное доверие. Но до революции 1905 г. было сравнительно мало политических ссыльно-поселенцев; громадное большинство политических ссыльных были административными ссыльными. Как таковые, они приезжали (а не приходили пешком, как мы) в село в обыкновенной одежде. До революции 1905 года сибирские крестьяне привыкли видеть в арестантской одежде только уголовных ссыльных, к честности которых они никакого доверия не питали. Мы называли себя политическими, но крестьяне первое время этому не особенно доверяли. При таких условиях (да еще вдобавок при наступлении осени, ибо на другой день после нашего прихода начались упорные осенние дожди и холода) устроиться как-нибудь было очень затруднительно. К счастью, мы не были первыми прибывшими в эти места. В Яланском было уже несколько хороших товарищей, которые чрезвычайно тепло встретили меня и устроили временно у себя. Они же на второй день рекомендовали меня местному лавочнику, после чего я получил возможность кредитоваться у него в ожидании получения денег и вещей. Другие товарищи, назначенные дальше, встретили больше затруднений, но все-таки при помощи ранее прибывших коекак устроились на первое время.

Было еще одно обстоятельство, которое сильно портило нашу репутацию в глазах сибирских крестьян. Революция 1905—1906 годов втянула довольно широкие слои. В ней приняло участие много обывателей авантюристического характера, много «удалых добрых молодцев». Многие из них работали с анархистами, и там эти авантюристические наклонности у них еще более укрепились. Другие работали, правда, с социал-демократами, но кратковременное пребывание в организации не успело перевоспитать их. Поражение революции вызвало среди революционеров разложение в двух направлениях. Одни разочаровались в революции, отошли от нее, превратились в простых обывателей. Это движение широко охватило тех, кто остался в России нетронутым. Для ссыльных этот путь, как общее правило, не существовал. Для них было уже слишком поздно отходить от революции; этот отход уже не принес бы им никакой пользы. Оставался соблазн второго пути, и наиболее слабые, неустойчивые, «анархистские» элементы вступили на него. Стали встречаться случаи, что ссыльные обманывали крестьян, чего

[1]) Позже в Яланском жило несколько депутатов-большевиков, сосланных во время мировой войны.

при прежней ссылке никогда не бывало. Начали даже поговаривать о допустимости и необходимости экспроприаций. Все чаще стали встречаться случаи, когда ссыльные предавались жандармам, выступая в роли их агентов, осведомителей. Даже городские обыватели, — а тем более крестьянство, — не могли разбираться в вопросах о принадлежности ссыльного к той или иной партии, в вопросах о политической честности ссыльных. Репутация ссыльных в глазах обывателей стала портиться; у них стало исчезать то громадное доверие, которым пользовались прежде все ссыльные. С другой стороны, и у самих ссыльных стало исчезать доверие друг к другу. Начались ссоры, заподозривания, товарищеские суды, склока. Единая прежде ссылка разбилась на небольшие кружки, на группки.

К этому нужно еще прибавить тяжесть материального положения. Ссыльно-поселенец, как сказано выше, не получал от казны ничего. Деньги от родных из России получали немногие. Ссыльный сам должен был добыть себе средства к жизни. А как добыть их, если он не имел права покинуть свою деревню, едва имел право выйти за ее «паскотину» [1]. Крестьянская работа — в особенности сибирская — требует особых навыков, да и требует средств для обзаведения хозяйством. А другой работы в деревне нет. Не только интеллигенты, но и рабочие были обречены на вынужденное бездействие во время жизни в деревне. Материальная нужда создавала недовольство, которое питало вышеупомянутые авантюристические стремления, а вынужденная праздность оставляла много времени для склоки и вообще создавала атмосферу, способствующую разложению.

В прежней ссылке много учились. Теперь и этого стало меньше. Еще Гейне говорил, что

В желудке тощем пониманье тупо,
Признает он только аргументы супа.

Ссыльный думал о своем голодном брюхе, о том, чем его наполнить, а не о книгах. Да и зачем нужно ученье, — думали многие, — если впереди 10 лет ссылки, а поражение революции не дает надежды, что эта революция призовет скоро в ряды своих борцов?

Забота о заработке — вот что занимало, главным образом, ссыльного в то время.

Но как найти этот заработок в глухой сибирской деревне? Одни пытались образовывать группки для ловли рыбы. Пойманной рыбой они хорошо кормились сами, но сбывать ее было некуда. Другие заготовляли дрова. Но сибирский крестьянин никогда не купит дров. На деле и это выходило заготовка дров для себя. Третьи пробовали заняться сбором кедровых орехов, предпринимая для этого длинные путешествия в глухую тайгу. В Бельской волости пытались образовать производственный кооператив, но для членов его в деревне не нашлось работы. В некоторых местах образовывали това-

---

[1]) «Паскотиной» называется изгородь, окружающая на известном расстоянии сибирскую деревню. Паскотина устраивается для того, чтобы помешать скоту уйти в тайгу, где будет трудно найти этот скот. Скот пасется только внутри паскотины.

рищеские столовые, чтобы дать возможность одним уменьшить свои расходы, а другим подкормиться или найти при столовой заработок. Но все это были жалкие паллиативы.

Жизнь в енисейской деревне была нелегка. Многим приходилось жить нанимая угол в крестьянской избе, в тесноте, духоте, грязи. Те, у кого были средства, нанимали свободные избы. Так жил и я. Но изба моя была очень плоха. Деревянный пол имел большие щели. Через них постоянно дуло. Дуло и через стены и окна. Зимой в избе было так холодно, что кроме русской печи все время приходилось топить железную печь. Топил я ее даже среди ночи, если становилось слишком холодно. В избе было невероятное количество клопов и тараканов.

Особенно плохо жилось зимой и осенью: длинные вечера, сильные морозы, холод в избе. Летом было лучше. Но в Сибири вообще и в Енисейской губернии в частности сильно отравляет жизнь невероятное количество комаров и так называемой «мошки», которые мучат и людей и животных. Ранней весной прежде всего появляется в лесу громадное количество клещей. После каждой прогулки в лес, возвратившись домой, приходилось раздеваться и обирать с себя этих клещей. Недосмотр ведет к тому, что клещ впивается в тело, сосет кровь, увеличивается в размере и доставляет сильные мучения, ибо вырвать клеща из тела трудно: остается в теле голова, которая может вызвать нарыв. За клещами следуют комары, потом мошки, оводы (по сибирски «пауты»), слепни (по-сибирски слепец) и другие. Вся совокупность этих насекомых носит характерное сибирское название «гнус». В Енисейском уезде гнуса так много, что даже в деревне приходится ходить, надевая на голову особую сетку, сделанную из марли или из волоса. Особенно мучительна мошка. Она так мала, что проникает даже через сетку, лезет в глаза, в нос, в рот, пролезает между голенищами сапог и заправленными в них штанами и там раз'едает кожу. Мошка держится до зимы. В лесу (в тайге) гнуса так много, что он иногда на смерть заедает жеребят. Гнус доставляет много мученья тем, кто летом должен работать в тайге.

К счастью, мошка надоедает только под открытым небом. Попав в дом, она оставляет человека в покое и сейчас же устремляется к окнам. Но комар не дает покоя и в комнатах ни днем, ни ночью. Ночью иногда его бывает так много, что невозможно уснуть. Тогда приходится его выкуривать. Делается это так: берется сухой навоз, дающий при горении много дыма. Окна закрываются, и навоз зажигают. Комары, спасаясь от дыма, устремляются к окнам. Когда комната полна дыма, окна открывают на короткое время, и комары вылетают. Затем окна закрывают и спать ложатся в помещении, все еще полном дыма. Тем не менее, к утру комары все-таки появляются, проникая через щели в полу, через открытую дымовую трубу и т. п. Некоторые товарищи поэтому даже спать ложились в марлевых сетках.

В деревне для ссыльного подходящей работы не было. Такую работу можно было найти только в городе. Отсюда неудержимая тяга ссыльных в город. Уходили туда ссыльные без разрешения; через некоторое время их

там арестовывали и отправляли обратно в деревню. Но в деревне жить нечем, и высланный ссыльный через несколько дней снова шел в город [1]), с тем, чтобы скоро быть снова оттуда высланным. Другого исхода не было. Это, очевидно, скоро поняло и начальство и стало сквозь пальцы смотреть на самовольное поселение ссыльных в городе, а затем прямо стало разрешать переезд в город.

Но и маленький, захудалый город не мог дать работы многочисленным ссыльным. Некоторые нашли себе заработок в виде уроков, другие занимались конторской работой; некоторые рабочие, знающие ремесло (портные, сапожники и т. п.), перебивались с хлеба на квас, работая по своей специальности, и т. п. Но массовой ссылке Енисейск не мог дать работы.

Тогда ссыльные потянулись на золотые прииски, расположенные в Енисейском округе. Но и там могли устроиться только немногие. Для тех, кто не мог найти никакой работы, исход оставался один — это побег. И, действительно, несмотря на суровую угрозу каторги в случае ареста за пределами Сибири, побеги приняли массовый характер. Число неудачных побегов было сравнительно мало.

Несколько позже администрация пошла на дальнейшую уступку: она стала разрешать переезд не только в Енисейск, но и в Красноярск, где возможность найти работу была значительно больше. Но это произошло уже позже — незадолго до начала мировой войны.

* * *

Природа и население Енисейского уезда совсем не то, что пришлось видеть в Якутской области. Здесь климат значительно мягче. Зима короче и менее сурова. Основным занятием жителей, если оставить в стороне самую северную и потому самую суровую Анциферавскую волость, является не скотоводство, как в Якутской области, а земледелие. Основное население уезда русские — сибиряки-старожилы, живущие не разрознено, как якуты, а деревнями и селами. Жить приходилось не в юртах, а в избах. Не было тех безумных расстояний, как в Якутке. Легче было достать продукты, необходимые для жизни: их можно было купить в лавочке в своей же деревне, а не ездить за ними в город за полтораста, а то и более верст, как это приходилось делать в Якутке. До железной дороги было всего 300—400 верст, а не две с половиной тысячи. Почта приходила скорее и чаще. И тем не менее тяжесть жизни была в силу описанных выше условий не меньше, а даже больше, чем в Якутке.

Первое время делались попытки образовать кружки, организовывать собрания, на которых делались доклады. Но большого толка из всего этого не выходило. На докладах, правда, бывало иногда много слушателей, но не было заметно того глубокого увлечения затрагиваемыми вопросами, какое приходилось наблюдать в якутской ссылке 1904—1905 годов. Присутствующие слушали доклад, но мало принимали участия в его обсуждении. Все это

[1]) Таких вечно бродячих ссыльных в Енисейском уезде прозвали «самоходами».

было слишком теоретично, слишком оторвано от действительности, которая ставила основной и роковой вопрос: как найти средства к существованию.

Была сделана небольшой группой товарищей попытка издания гектографированного журнала, но и она оказалась неудачной. Журнал прекратился, выпустив 3—4 номера [1]).

В общем громадному большинству ссыльных за это время жилось очень плохо. Питанье было из рук вон плохо. Одежда плохая. В избах холод. Помню, что однажды я приехал к своим приятелям Покровским. В избе было так холодно, что вымытый после обеда деревянный стол скоро покрывался ледяной корой. Ночью я лег спать в шубе, и когда проснулся утром, у меня были замороженные усы.

Теперь, вспоминая то время, приходится прямо удивляться, что ссылка могла сохраниться и физически, и морально при таких ужасных условиях.

Ссылка на Ангару.

Наступила весна 1910 года. Группа ссыльных социал-демократов, живших в Яланском и державшихся довольно дружно, решила, что нужно, хотя и совершенно скромно, отпраздновать 1 мая. Празднование было действительно до последней степени скромное. Пообедали в общественной столовке несколько лучше и в большем числе, чем обыкновенно. За обедом были произнесены 1—2 речи; пропели несколько революционных песен. А после обеда пошли в лес: там тоже 1—2 речи и в заключение там же напились чаю. Празднование было так скромно, что даже несколько неловко о нем рассказывать.

Но об этом скромном праздновании было доложено исправнику; тот передал донесение в Красноярск и началось «дело». Впрочем, ни одного из нас не потрудились даже допросить. Ограничились донесением так называемого «надзирателя» (полицейский чин, вроде стражника, обязанностью которого было наблюдение за ссыльными), да, вероятно, еще одного ссыльного, относительно которого после революции было выяснено, что он был осведомителем полиции.

В конце сентября (1910 г.) в наше село приехал помощник исправника и вызвал участников праздника в волостное правление. Там он об'явил нам, что мы назначены к высылке на Ангару. Здесь же он нас арестовал, не позволив даже пойти домой и собрать вещи. Это должны были сделать товарищи, которые не подвергались высылке. На сборы было дано очень мало времени: если не ошибаюсь, один час. Взять можно было только очень ограниченное количество вещей; чем больше вещей, тем больше хлопот с ними

[1]) Не помню теперь названия этого журнала. К сведению лиц, интересующихся историей ссылки, сообщаю о нем некоторые данные.

Журнал издавался группой следующих товарищей: Н. П. Бударин (умер в Красноярске во время войны), Н. Л. Мещеряков, Л. Д. Покровский и его сестра Н. Д. Покровская (умерла в 1910 году в Енисейске). Вся эта инициативная группа принадлежала к фракции большевиков. Гектографировался журнал в дер. Чалбышево Бельской волости, где жили Покровские и Бударин. Время издания—конец 1909 г. и начало 1910 г.

в дороге. Решили взять самое необходимое с тем, что остальное будет как-нибудь прислано нам после.

Вещи, таким образом, пришлось собирать очень поспешно и при том людям, которые не знали, что у нас имеется и что нам будет нужно. Не положили самых необходимых вещей и взяли решительно ненужные. Мне, например, положили зачем-то самовар, а одному товарищу не положили шубы. Мы же со своей стороны впопыхах не заметили этих ошибок.

Подсчитали имевшиеся у нас деньги и разделили их: на человека вышло что-то рублей по пяти.

Нас отвезли в Енисейск, продержали там в тюрьме дня три, а затем отправили по этапу на Ангару.

Итти пришлось до села Казачинского с общим этапом, отправлявшимся из Енисейска в Красноярск.

Партия ссыльных, сопровождаемая конвойными, идет пешком; только для вещей и для больных имеется несколько подвод. Ежедневно партия проходит верст 25—30. На ночь останавливаются в особых этапных зданиях, в которых можно получить кипяток для чая. У ворот этапа можно у крестьянок купить кое-что с'естное. Для спанья в этих зданиях устроены нары. Утром партия отправляется в дальнейший путь; через два дня на третий дается день отдыха.

Так шли мы до села Казачинского (верст 70 от Енисейска). Здесь мы— ссылаемые на Ангару — покинули главную партию, которая продолжала свой путь к югу в Красноярск, мы же, переправившись через Енисей, пошли небольшой партией к востоку, пробираясь к Ангаре.

Погода первое время была великолепная: ясные, теплые, осенние дни. Путешествие было истинным удовольствием. Но не долго продолжалось это удовольствие. Вдруг, совершенно неожиданно, ударил довольно сильный мороз, и, подойдя к реке Тасевой (левый приток Ангары), мы увидали, что по ней идет сильный лед, и перебраться через нее невозможно. Пришлось ждать 2—3 дня, чтобы река замерзла. Тронулись дальше и через день добрались до большого села Рыбное. Отсюда дальше можно было ехать только по самой Ангаре — летом на лодке, зимой по льду, так как никаких других дорог не имеется. Пришлось здесь ждать более двух недель, так как вследствие быстрого течения Ангара замерзает с большим трудом.

Ангара (или Верхняя Тунгуска) поразительно красивая река. Ширина ее доходит верст до двух, а то и больше. По берегам горы, покрытые лесом. На всем отпечаток дикой, пустынной суровости. По берегам (или на островах, которые иногда достигают очень больших размеров) расположены на большом расстоянии друг от друга небольшие деревушки. Странно звучат их названия: Пококуй, Погорюй, Потоскуй. Названия эти взяты от рек, на которых расположены деревни: Кокуй, Тоскуй, Горюй. Но когда едешь по этой дикой, пустынной, суровой, малозаселенной реке, то невольно думаешь, что в Погорюе можно только горевать, в Потоскуе — только тосковать, а в Пококуе существуют только кукушки и такая тоска, что и сам закукуешь.

Самая езда была чертовски утомительна и мучительна. Благодаря быстрому течению Ангары, ее замерзанию предшествует долгий и сильный ледоход. Льдины сталкиваются и громоздятся одна на другую. Поверхность замерзшей реки первое время представляет нечто вроде торосов полярных морей. Эти торосы кое-как срублены, и здесь-то и пролегает дорога. Позже снег более или менее уравняет неровности, но первое время езда прямо мучительна. Сани все время бросает из стороны в сторону; каждую минуту приходится хвататься за что-нибудь, чтобы не быть выброшенным в нагроможденный по бокам дороги лед.

К этому надо прибавить еще холод. Морозы завернули жестокие, но не настолько большие, чтобы не было совершенно ветра. Есть в Сибири характерный северный ветерок — так называемый «хиус». Это очень слабый, едва заметный ветерок. Но зато он дует непрерывно и постоянно в одном направлении. Сперва на него не обращаешь внимания, но постепенно «хиус» продует какую угодно шубу. С этим «хиусом» нам пришлось близко познакомиться во время поездки по Ангаре.

Я уже говорил выше, что собиравшие мне в дорогу вещи товарищи неизвестно зачем дали мне самовар. Сперва он мало стеснял меня. Но, когда поехали по торосам Ангары, мой самовар все время от толчков катался по саням, угрожая вылететь из них. Постоянно его приходилось хватать и водворять на место, а так как я никогда не ношу перчаток, то приходилось делать этой голой рукой. На морозе (35—40° Реомюра) металл жжет как раскаленный. Сотни раз я проклинал и самовар (а выбросить его было, конечно, жалко), и тех, кто дал мне его в дорогу. И все-таки я довез до места в целом виде и самовар, и свои руки.

Хуже было дело с другим товарищем. С ним ехала жена и полугодовой ребенок. Этот ребенок замерз и вдобавок замерз до того, что тело его по приезде на станок было твердо, как полено, как кусок льда. Отец же отморозил на обеих руках по одному суставу на всех пальцах кроме мизинцев. Концы пальцев после почернели и отвалились.

Нужно еще прибавить, что денег у нас было чрезвычайно мало (на каждого рублей по пяти). В качестве арестованных мы получали ежедневно по гривеннику. Естественно, что приходилось голодать. А вся езда продолжалась около двух месяцев.

Только в конце ноября мы добрались, наконец, до волостного села Кежмы. Здесь я узнал, что я назначен для жительства в одну из деревень, расположенных по реке Кове. Кова — левый приток Ангары. Протекает она по гористой и лесистой местности. Судя по карте, она имеет длину 150—200 верст. И на всем этом расстоянии имеется на ней всего две маленькие деревушки, из которых каждая имеет по 12—15 изб. Никакой дороги между ними, конечно, нет; имеется только тропа. Поистине надо было иметь самое развращенное полицейское воображение, чтобы назначить для жизни такую трущобу. В Кежме я категорически отказался ехать на Кову и заявил, что останусь в Кежме. Меня оставили в покое; очевидно, и волостное начальство понимало, что жизнь на Кове совершенно не возможна.

Жизнь в Кежме довольно резко отличалась от жизни под Енисейском.

Природа Приангарья гораздо суровее природы окрестностей Енисейска. Кежма расположена значительно к востоку от Енисейска, и климат здесь холоднее. Гористая местность делает занятие земледелием более затруднительным, и на Ангаре охота имеет гораздо большее значение. Осенью взрослое мужское население уходит на недели в бесконечные, расположенные по обоим берегам леса бить белку и других зверей. Охота играет такую большую роль в крестьянском хозяйстве, что в сколько-нибудь значительной крестьянской семье выделяется особая баба, обязанностью которой является уход за собаками.

Мне приходилось живать в глухих местах ссылки (Якутская область), но нигде я не чувствовал себя так заброшенным, так оторванным от всего мира, как на Ангаре. Правда, Кежма довольно большое волостное село. Но от нее до Енисейска верст 500, если не больше, и дорога чрезвычайно трудна. Зимнюю я уже описал, но и летом она не лучше, ибо ехать приходится на лодке. На Ангаре имеется несколько порогов, через которые надо переправляться на лодке. Вверх по течению лодку тянут бечевой. Эту работу выполняют бабы. Мужчина сидит в лодке и правит, а баба идет по берегу и тянет бечеву. Через некоторое время муж говорит ей философски-спокойным тоном: «Баба! Небось, устала. Садись, отдохни». Баба идет в лодку, берет шест и, упираясь им в дно реки, толкает лодку. Через некоторое время муж снова говорит ей: «Баба! небось, устала толкаться. Поди, пройдись!» Баба выходит и снова бечевой тянет лодку.

Почта приходила в Кежму раз в неделю. Но это в нормальное время. В начале зимы и весной прекращалась всякая возможность проезда по Ангаре, и в прибытии почты делался перерыв в 1—1½ месяца, а то и больше.

В Кежме, конечно, не было никакой возможности для ссыльного найти работу. Я говорил выше, что ссыльные в деревнях под Енисейском самовольно уходили в город. На Ангаре эти уходы были невозможны; слишком далека и трудна была дорога. Побеги с отдаленной Ангары были так же труднее, чем из-под Енисейска.

Положение ссыльных было чрезвычайно трудное, иногда прямо безвыходное. Одна из ссыльных, не имея никаких средств к жизни, дошла до того, что стала заниматься проституцией. И это в глухом сибирском селе!

Приехав в Кежму, я кое-как устроился там. Устроился довольно скверно. Денег было совсем мало. Изба попалась такая холодная, что кроме русской печи день и ночь непрерывно приходилось топить железную печку. А если я засыпал так крепко, что она потухала, то к утру в избе становилось так холодно, что замерзали чернила.

Так прожил я месяца полтора-два. Затем приехал в Кежму енисейский исправник, вызвал меня к себе и заявил, что я могу, если хочу, снова вернуться в Яланское. Получив от родных по почте деньги, я, конечно, немедленно воспользовался этим разрешением. Получили разрешение вернуть-

ся и некоторые другие сосланные вместе со мной товарищи. Начальство, вероятно, поняло, что оно зря раздуло пустяковую историю.

Обратно мы ехали уже в лучших условиях, но на свой счет, что при нашем тяжелом финансовом положении представляло чувствительный удар по карману.

В Яланском я застал ту же картину ссылки, не знающей, где найти работу и изнывающей от бездействия и склоки. В этой обстановке пришлось прожить еще 8—9 месяцев, пока, наконец, полиция не поняла, что нельзя посадить людей без всяких средств в обстановку сибирской деревни, в которой они не могут найти никакой работы. Поняв, наконец, это, она стала легче давать разрешения поселяться в городе. Осенью 1911 года и я переселился в Енисейск. Здесь можно было найти работу; тут был шире круг знакомств. Конечно, бедна и убога была и эта жизнь в глухом, умирающем сибирском городишке. Но все-таки это была жизнь по сравнению с тем состоянием медленного умирания, которое пыталось создать царское правительство для своих врагов в глухих сибирских деревушках.

В Енисейске я прожил полтора года, а затем — весной 1913 г. — перебрался в Красноярск. Там жизнь стала уже гораздо более содержательной и интересной.

Гопля, живем!..

(Эскизы современной Германии).

Арсений Авраамов.

Всю минувшую осень волновался Берлин — а за ним и вся германская федерация — небывалой сенсацией: коммунист Эрвин Пискатор в собственном театре («Ам Ноллендорфпляц»!) готовил премьеру «Гопля, вир лебен!» коммуниста Эрнста Толлёра... в конструктивном оформлении... с хроникальными киноэпизодами... четвертетонной музыкой...

Зловещие тени советских — Эйзенштейна, Мейерхольда, Дзиги Вертова — казалось, незримо витают в самом сердце Гинденбурговой вотчины...

Казалось... на деле оказалось иное...

Но обо всем в свое время, — здесь пока лишь несколько слов о сюжете.

— «Гопля, живем!» — весело распевает чудом уцелевший Курфюрстендамм, самодовольно потрясывая здорово-таки пощипанным, но все-еще довольно импозантным социал-демократическим хвостиком.

— «Эхма, живем!..» — глухо откликается саркастическим эхом рабочая окраина.

Тот и другая, оба основательно разоруженные, глубоко затаили в сердце страстную мечту о «реванше», — но «ждать, ждать, ждать...», упорно, терпеливо, год за годом — не всякие нервы такое выдержат!

Не выдерживают нервы и у толлеровского героя: Томас, рабочий-революционер, в самый разгар гражданских бурь и битв угодил сперва в камеру смертников, а оттуда прямым сообщением в «буйный» изолятор. Прошли годы, и выпустили беднягу лишь в наши дни прямо в бешеный водоворот берлинских улиц... Ощущение не из приятных — в некоторой, правда отдаленной, степени смею судить по личному опыту: как-то зимою 1912/13 г. в эмигрантских скитаниях мне довелось провести один день в предвоенном Берлине — тогда я «узрел» сие чудище впервые, — но на всю жизнь запомнился вечер в рабочей пивнушке в Нойкельне, где я — «геноссэ Аксель-Смит», эксматрос из Роттердама — аккомпанировал на вдребезги разбитом «корыте» развеселым куплетам о «Кайзер-Вилли-Вилли-Вилли», — в ту же ночь меня «эвакуировали» в Гамбург «на кайзеров счет»... И вот, когда

прошлым летом, проездом на Франкфуртскую выставку, я снова попал в лабиринт всех этих кайзер-кениг-курфюрстен-Гогенцоллерн-Вильгельм-Фридрих-Луизен-Августа-Викториа-штрассе, дамм и пляцов (их 400 с гаком [1]) из 4 000 берлинских улиц) — я невольно вспомнил виденную накануне белогвардейскую газетенку, где (под датой 1927 года!) на видном месте черным по белому значилось: «В день тезоименитства ее императорского... и пр. и пр. в русской церкви будет отслужена торжественная панихида etc. etc...», — но ведь то все же «панихида»! и наконец: эмигрантский листок — не столица же республиканской федерации...

— Гопля, вир лебен!..

Итак, торчит недоуменно наш герой где-то на перекрестке пары «гогенцоллернов» и втуне пытается осмыслить дикое зрелище: густою толпой несутся по зеркальному асфальту элегантные лимузины, мириадами разноцветных искр переливаются витрины и рекламы миллионных фирм и грандиозных кинопаластов, шуршит шелками разношерстная вереница шикарных «бабочек» в неприкрывающих колени юбчонках, газетчики выкрикивают имена допотопных «блятов» и «цайтунгов», и прямо перед носом маячит монументальный «шупо», подозрительно оглядывая нашего «выходца с того света»...

— Херр шуцман! Если кайзер снова на троне своих предков, где же его «доблестная армия» и ее генералы?

?!.

Кошмар длится, ширится: грязная ночлежка, утро в бесконечном хвосте безработных; встреча с былою возлюбленной — ее оскорбительная «подачка» ночевкой и скудными грошами; «аудиенция» у бывшего сосмертника — ныне влиятельного социал-демократического министра «республиканского» кабинета; выборы, заканчивающиеся всенародным избранием в президенты ближайшего кайзерова сподвижника — и, наконец, высоко-трагическая беседа с молодежью, ничего не знающей о великой войне и революции, кроме мертвой бессмысленной «хронологии»: осада Вердена... битва при Марне... победа у Мазурских озер — голые даты, даты, даты — и ничего по существу — это всего-то через десяток какой-нибудь лет!.. Томас свихивается: участвует в нелепом покушении на социал-демократического министра, попадает в тюрьму и... вешается на полотне...

— Гопля, вир лебен!..

Права ли наша советская критика, виня Толлера в упадочных настроениях и злостном пессимизме?

Действительно, слишком уж прямолинейно заводит автор своего героя в невылазный тупик, — чересчур поспешно, почти силком всовывает его больную голову в якобы неизбежную петлю. Но ведь это же не более, как драматургический «прием», к тому же, несомненно, достигающий того зрителя, на коего рассчитан. И наконец — мировосприятие человека с на-

[1]) Одних «Бисмарков» — чортова дюжина: 7 штрассе, 5 пляцов и 1 аллея.

дорванной 8-летнею болезнью психикой отнюдь не типично для здорового «середняка» и не должно быть обобщаемо на предмет каких-либо «выводов».

Скажу о себе: за эти полгода за рубежом бывали дни, недели! — когда единственной мыслью, властно завладевавшею всем (даже физическим) существом было — «бежать, бежать без оглядки — домой в СССР, в Москву»! К чорту «завоевание международного научного рынка», к самому дьяволу все «чудеса европейской техники», концерты «мировых знаменитостей», музеи, фонограмм-архивы, ультра- и электрофоны — когда человеку нечем дышать, когда весь «быт», вся сумма ежедневных «впечатлений» — от архитектурных «красот» (ампир-прюсс...) до газетных полос включительно — вливается в тебя, как некое рвотное, коего не токмо «душа» — желудок не приемлет...

В такие дни наделано было много «непоправимых» глупостей, приводивших в отчаяние друзей, искренне желавших мне «добра»: однажды, скажем, мною заинтересовали редактора «Берлинер Тагеблат», — в ответ на его «лестное» литературное предложение, я неожиданно для самого себя выпалил: «Я работал до сих пор только в коммунистической прессе — и впредь не намерен отступать...» — трубка опустилась, не дослушав конца реплики... Тут же я начинал укладывать чемоданы... чтобы назавтра, успокоившись, распаковать их снова... Но ведь у меня было к у д а «бежать»...

И еще: я попал в сравнительно оживленную полосу общественности, когда вперемежку с отвратными фактами, вроде Гинденбургова юбилея или гнусной международной травли Раковского, прошел ряд крупных коммунистических выступлений: борьба за амнистию, процесс Сакко-Ванцетти, XIII МЮД, наше X-летие, триумфальные гастроли «Синей блузы»... Пошагаешь денек в ногу с Ротфронтом под родными знаменами, поглазеешь на ребят в красных кепи и галстучках — глядишь: оно и полегчало, и хочется по-своему, по-нашенски гаркнуть на весь Берлин:

— Гопля, в и р лебен!

Бывало и вовсе весело: на открытие «советской недели» Франкфуртской выставки приехал из Берлина тов. Крестинский. Его встретили на перроне городские власти с обербюргермейстером, доктором Ляндманом, во главе. По всему пути от вокзала до территории выставки весело сверкали на красных полотнищах серпы и молоты. Советское знамя было водружено и на куполе главного здания рядом с республиканским. Начались взаимные приветствия. После речи Ляндмана наш пианист, проф. МГК тов. Фейнберг, сыграл один куплет «Дойчланд», прослушанный нами стоя в «торжественном» молчании. Отвечал тов. Крестинский. Кончил. Тов. Фейнберг грянул «Интернационал». Снова все встали — и вдруг позади нас, сначала легонько, потом все более и более дружным унисcоном, подхватили гимн... немецкие рабочие с выставки. Волею пролетариата тов. Фейнбергу пришлось исполнить вторую... потом третью строфу... «Власти» сопели и хмурились...

Потом мы узнали, что рабочая «галерка» вовсе и не вставала во время исполнения «своего» республиканско-монархического гимна, реставрированного в 1922 году социал-демократическим президентом Эбертом...

На демонстрации «Сакко-Ванцетти» был момент, когда полицейский грузовик едва не стал первой берлинской баррикадой в узком проулке у Люстгартена: кончился митинг, тов. Тельман сошел с цоколя, «Ротфронт» с «Интернационалом» тронулся в центр, шупо на грузовичке застопорили путь, толпа с яростными воплями — «Нидер! Мёрдер!! Рахе!!!» — кинулась на грузовик, сверкнули дула штуцеров — еще миг — и шупо, едва успев дать первый залп, лежали бы «нидер» на мостовой под колесами... Какой момент! Какой вихрь воспоминаний и безумных надежд рождает во лбу прицел полицейского штуцера!.. Но... грянул... оркестр. Ротфронт, грозно ощетинившись поднятыми кулаками, стройными шеренгами спокойно и смело пошел в обход шупо... толпа отступила, еще раз сверкнули опустившиеся ружейные стволы... еще раз отсрочка... надолго ли?

И все же подобные довольно редкие эпизоды нимало не окупали беспросветной тоски томительных недель зарубежного прозябания. Я попытаюсь, конечно, быть максимально-об'ективным в сведении баланса впечатлений, но честно предупреждаю читателя о его подавляющей «дефицитности: не моя в том вина.

* * *

Берлин...

Наученный горьким франкфуртским опытом, я поспешил в первые же дни, пока не одолела хандра, впитать максимум «зрительных» ощущений...

Вооружившись огромным «Фарус-пляном», я в неделю исколесил Гросс-Берлин вдоль и поперек — всеми (семью!) возможными способами.

Берлинская улица агитирует всей суммой социальных контрастов, вытекающих из сокровеннейшей сущности «свободной демократической республики». Скажем так: в Китае до сих пор существуют носильщики людей — рикши. Советскому писателю по штату полагается этим возмущаться. Европейский буржуа возмущен тоже: в берлинском иллюстрированном «цайтунге» вы встретите на эту тему очерки, не уступающие в благородном негодовании — третьяковским, — и, действительно, казалось бы — с точки зрения «культурного европейца»... этакое варварство!.. Беда лишь в том, что на берлинских улицах буквально на каждом шагу вы встречаете тех же рикш — в квадрате, в кубе, увы — совершенно не замечаемых сердобольными культуртрегерами: представьте себе этак раза в четыре-пять увеличенный трехколесный детский велосипед с огромным коробом сзади сиденья, украшенным именем той или иной известной берлинской фирмы или транспортной конторы. В короб навалено подчас две-три сотни кило меди, железа, камня, — «мотор» изображает пара худых длинных ног рабочего-подростка, извивающегося червяком при каждом нажиме педали, сопящего как запаленная лошадь, обливающегося ручьями обильного пота (независимо от «сезона»)... А рядом с ним «игрушечный» тракторишко шутя тащит за собою товарный вагон кирпича в полсотни кубометров об'емом...

Или вот обычная картина в рабочих районах: целая семья, впрягшись в телегу, кряхтя и переругиваясь, тащит свой скарб на новую квартиру, на

какой-нибудь Шпандауерберг... После победоносной забастовки транспортников, хозяйчики переложили свои «убытки» на плечи рабочих... других союзов: дерут три шкуры за прокат грузовичка — вот и приходится...

Да, но рикши, мол, людей на себе... а не один ли дьявол, по-моему? — в прямом ли, в переносном ли смысле сидит у тебя на горбу тонна жира — равно унизительно и тяжко!

Гопля, вир лебен!

Вечер. Весь колоссальный район к западу от «Цоо» до «Унтер-ден-Линден» затоплен ослепительными потоками электросвета всех цветов спектра. От «Бангоф-Цоо» и «Потсдаммерпляц» звездными лучами протянулись во все стороны крупнейшие артерии коммерц-Берлина. Какая реклама, какие витрины: часами простаивают алчущие земных благ не сходя с места!.. и нѐ заходя во-внутрь — «пинке» (деньги̂) не хватает...

Но все же и с улицы есть, на что поглядеть: вот, например, грандиозная витрина модных тканей, — в центре, окруженный мягкими волнами и складками «рекламируемого» товара, стоит автоматический джентльмен и с уморительной и в то же время жуткой любезностью шлепает губами, вертит головою, щурится, изгибается, тычет руками в выставленные образцы, — словом, работает не хуже живого приказчика с былого питерского Александровского рынка. Не в нем, однако, дело: позабавившись автозазывателем и взглянув на «товар», вы рискуете действительно потерять пару деловых часов на «праздное» зрительное наслаждение. Это прямо какая-то чертовщина: казалось бы, все цвета спектра, все краски природы и «палитры» давно и хорошо знакомы, исчерпаны, — а тут перед вами десятки тонов, полутонов и тончайших нюансов, для которых в разговорном, даже научном и специально-художественном жаргонах — нет имен, нет терминов, — коммерческие же названия по прейскуранту вам ничего не скажут...

А вот витрина детских игрушек «Матадор». На двери вежливое приглашение войти — «покупать не обязательно»... это стоит автозазывателя, ибо, войдя, «обязательно» загонишь последние «пинке»: из элементарных деревянных (просверленных) кубиков и соединительных палочек к ним построены сложнейшие — движущиеся и действительно работающие — модели машин, — вот ткацкий станок, из которого лезет бесконечная лента грубой, но настоящей «холстинки», вот «ауфшпульмашина», правильными рядами перематывающая нитки с огромного мотка на колоссальную шпульку, вот электромотор, самораздвигающаяся пожарная лестница, рудничные автовагонетки, телеаппарат Морзе, — и, наконец, просто веселые игрушки для младшего возраста — кувыркающиеся клоуны, гимнасты, боксеры, американские горы — всего не перечесть, и все это может быть разобрано и уложено в небольшой ящик — кубики, колесики, палочки — плюс альбомы с тысячами моделей — и это все. Какое изумительное пособие для подлинно-труловой школы, какой импульс молодежи к развитию конструктивной фантазии и изобретательности! «Матадор» должен быть нами использован — в нашей педагогической атмосфере он будет несомненно творить чудеса.

Фабрика манекенов: в огромной витрине — как в Сандуновских банях: густая толпа обнаженных тел в разнообразнейших позах. Борьба двух «течений»: одни — наивно и цинично натуралистичны, другие — со стильным вывертом а ля... Павел Кузнецов; первые — раскрашены под живую «натуру», вторые — имитируют «глину», скульптурные эскизы статуй. И те, и другие шагнули далеко от былых «парикмахерских кукол» — они уже на грани «искусства», на уровне «Клеопатры» из паноптикума или этнических экспонатов Дашковского музея. Позы — естественны, выразительны. Когда с массовой фабричной выставки они расселяются по магазинам белья, обуви, трикотажа, готового платья — их пестрая толпа за стеклами несравненно «элегантнее» живой толпы на тротуарах...

Да, мы наблюдаем в Германии, особенно в Берлине, высокий уровень «бытовой» художественной техники: всюду, где элементы искусства просачиваются в уличную жизнь — они, с одной стороны, достаточно ярко выявлены, чтобы останавливать на себе общественное внимание, с другой — положительны, по крайней мере настолько, чтобы не действовать разлагающе на художественный «вкус». Как далеки, скажем, мы от этого «необходимого и достаточного» минимума, несмотря на все наши лефо-производственные декларации и неоднократные опыты «социальных заказов» нашим квази-производственникам!

В Берлине тысячи лозунгов и рекламных двустиший, четко и ярко сформулированных (смотри — «Б. Кушнер. 103 дня на Западе»). Полиграфическое искусство в Германии на огромной высоте. Световая реклама — изумительна по красоте и технике. Как-то вечером, проезжая надземкой через «Ноллендорфпляц», я увидел лежащего на каком-то портале бенгальского тигра, вылез на первой остановке, вернулся, смотрел долго вблизи и издали — и так и не понял техники этого «чуда» — единственным об'яснением было бы, что это монумент из тонкого окрашенного матового стекла, освещенный изнутри электричеством — однако такое об'яснение мало вероятно. До сих пор не забыл гипнотического взгляда зеленых флуоресцирующих глаз, — лоснящейся, сверкающей оранжевыми полосами шкуры, — мощи и грации всей фигуры в целом. А бегущие (справа налево) электроновости на крышах редакций и кинопаластов? А мертвые петли над городом летчиков, пишущих лозунги дымным следом полета? В Октябрьскую годовщину и 1 мая по всему СССР вряд ли сжигается столько электроэнергии, сколько в Берлине ежевечерне.

Единственный рекорд, который мы побиваем (возможно, что в мировом масштабе) в искусстве, вынесенном на улицу — это в массовом пении в дни демонстраций.

— Да, да, — это говорю я, Арсений Авраамов, — тот самый, который... 10 лет ругался на эту тему последними словами: на столбцах «Прав-

ды», «Советского искусства», «Рабиса», «Жизни искусства», «Вечерней Москвы».

И я не собираюсь «каяться»: все сказанное мною в свое время на эту тему остается в силе... впредь до «агитпропсовещания по вопросам МУЗО».

Все дело в «принципе относительности»: до прошлого года я, как, вероятно, и большинство моих читателей, я — считал Германию классическою страной музыкальной культуры. Еще бы: всеевропейская гегемония германской музыки длится уже два века бессменно, со времен очевидной исторической победы над одряхлевшей, покатившейся вниз Италией. Такие имена, как Гендель, семья Бахов, Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Шуман, Мендельсон, Вагнер — ну и Макс Регер, Рихард Штраусс, Арнольд Шёнберг — известны всему культурному миру — это с одной стороны. С другой — мы знали, что еще в дореволюционные времена по всей Германии широко раскинулась сеть хорферейнов, — певческих союзов, об'единяющих миллионы любителей, среди которых пролетарская масса занимала не последнее в процентном отношении место. Следовательно, к чрезвычайно высокой спец-культуре нужно прибавить культуру массовую, имеющую стаж ряда десятилетий... Мы заслуженно гордимся нашею Ленинградскою «музыкальной олимпиадой» с 5—6 тысячами участников, состоявшеюся и в текущем году. А в Германии, на периодических с'ездах ферейнов обычно выступают об'единенные хоры в десятки тысяч участников.

Все это общеизвестные факты, из которых, казалось бы, должны вытекать незыблемые логические выводы...

Однако — первое беспокойство я ощутил уже по пути во Франкфурт: немцы вообще любят «активно» музицировать, — иной раз совершенно неожиданно в вагоне трамвая или на улице кто-нибудь громко засвистит или запоет песню, — совершенно посторонние люди столь же неожиданно подхватят — и пошла писать...

На каждой остановке поезда провожающие кого-либо обязательно затягивают семейным «ферейном» какую-нибудь «абшидс-кантату»; подчас получается курьезная картинка: вдоль поезда на перроне под окнами одновременно 5—6 таких «ферейнов» на разные «гласы» тянут заунывные прощальные песни, образуя «в общем и целом» нестерпимую какофонию...

Дальше — хуже: во Франкфурте я уже стал замечать хроническое пение в фальшивый «униссон». Это фашистская студенческая организация демонстрировала старый «Дойчланд» (все-таки Гайдоновская музыка!) в знак протеста против советских гостей в ресторане...

Наконец, наступила долгожданная «Арбейтер-музик-вохе» — с'ехались ферейны со всех концов Германии, прибыли на открытие министры — Штреземан и Эррио и... первый же блин — «Времена года» Гайдна — вышел более чем комом. Эта изумительная по красоте и простоте музыка, такая близкая рабочему исполнителю — даже по сюжету [1]) — была совершенно прова-

[1]) Трудовой год крестьянина вперемежку с картинами природы. Общий стиль несколько сантиментально-пасторальный, но есть в партитуре страницы, которым поза-

лена совместными усилиями дирижера и хористов. Мы с Е. Браудо, постоянным рецензентом «Правды», держали совет — и решили не посылать корреспонденции в Москву: неудобно как-то все-таки — вообще выставку хвалить, а «рабочую неделю» — хаять... Потом Браудо уехал в Магдебург, а я с каждым днем все мрачнел, мрачнел — и когда «неделя», наконец, кончилась, решил «умолчать» о ней совершенно — так «Правда» отчета и не дождалась...

Итог я подвел уже в Берлине, после 2—3 коммунистических демонстраций — итог невероятный, потрясающий, который я не решился бы печатно опубликовать, если бы хоть на минуту усумнился в его точности... увы, он точен, как $2 \times 2 = 4$.

Я утверждаю, что музыкальная культура — активная массовая музыкальность народа — вырождается и гибнет вместе с ростом капиталистических форм хозяйства: в крестьянстве это характеризуется сначала отслоением песни от быта, затем медленным вымиранием песнетворчества вообще; у пролетариата — все более и более полным отрывом от крестьянской песни и параллельным «усвоением» отбросов городской «культуры»; буржуазия — перманентно паразитирует: сначала на «иностранной» культуре, затем — в период националистического самоутверждения — на пережитках песенной культуры своего «народа», наконец — вступив в империалистическую эру — на «колониальной экзотике» аннексированных областей. Попытки же классового самоутверждения буржуазии — создание ею своей «оригинальной» музыкальной культуры — неизменно вскрывают ее творческую импотенцию, ее извращенную дегенеративную сущность: махровый расцвет всяческого музыкального уродства и какофонии на современном Западе, притом со «спортивно-рыночной» установкой (кто кого перекакофонит) — достойный и показательный итог этого «самоутверждения».

Поверка фактами.

Америка (САСШ), начав прямо с «буржуазной» истории, никогда не имела своей музыкальной культуры, — смаковала европейские сенсации. В настоящее время — центр «негритянской» экзотики и родина... «локтевой» музыки: «аккорды» берутся... кулаком, поставленною ребром ладонью и наконец — всею рукою до локтя.

Англия. Быстро догоняет Америку. «Сущность» та же, и та же бездарность в современности. Изредка — рецидивы «славного» прошлого феодальной эпохи: Пёрсель, Гендель (правда, Гендель — немец, но был придворным поставщиком английского королевского двора в первой половине XVIII века...).

Франция. Центр «фокстротирующий Европы» и одновременно — родина самых отвратно-экстравагантных «течений» современности. 2 года назад мы слыхали здесь в Москве представителей обоих лагерей, — Мило и Вьенера: мило-вьенерическая музычка...

видовал бы любой советский композитор, — напр., гимн благородному труду — источнику жизненных ценностей, физического и морального здоровья. Оратория написана в конце XVIII века. Ее совершенно необходимо включить в репертуар нашей Госкапеллы.

Япония... быстрый скачок из «средних веков» и азиатщины прямо в первую шеренгу «европейских» империалистических держав перепутал было все карты. Даже «национальный» японский гимн был создан некиим... немецким капельмейстером... Но все «образуется»: современный Токио уже не хуже и не лучше Нью-Иорка, Лондона, Парижа. Оригинальна лишь, пожалуй, двойная «экзотика» партера и эстрады, когда японцы наслаждаются негритянским «джаз-бандом»... забавное зрелище.

Германия. Это наша прямая тема, и потому я позволю себе более обширный исторический экскурс. Вряд ли русскому читателю известно, что музыка Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта (особенно первого и последнего) — это ни более, ни менее как немецкая народная песня конца XVIII и начала XIX веков, — во всяком случае в неизмеримо большей степени, чем музыка наших «кучкистов» — песня русская. Гайдн не переписывал, как это делал, скажем, Римский-Корсаков, целых песен из «сборников» на страницы своих партитур, но зато не только мелодика, но и общий гармонический стиль, и типичнейшие обороты, и каденции песни повторяются у него «текстуально»: то, что мы чувствуем как общее у Гайдна, Моцарта и Бетховена — не есть эпигонство в композиции, но — общий источник происхождения. Этот источник стал иссякать в описываемую нами эпоху. В «Акустике» Хладни мы находим справку, что сто лет назад он слыхал в швабской песне оригинальные интонации, сохранившиеся ныне лишь у нас и на азиатском Востоке. С тех пор много воды утекло. Под комплексным давлением капиталистического хозяйства и быта, лютеранского (униссонного) церковного пения, а потом «интернациональной» городской дребедени, гармошки и, наконец, тех же хваленых «ферейнов», культивировавших «халтурную» продукцию безвестных авторов, нынешний германский пролетариат (и даже крестьянство, исключая Баварию и некоторые другие уголки германского юга) — докатился до полной антимузыкальности. Я не могу здесь — по техническим причинам — продемонстрировать в нотных образцах, как поют и играют ротфронтовики революционные песни, но все же попытаюсь рассказать это «своими словами». «Интернационал» поют абсолютно в унисон, искажая и упрощая при этом мелодию таким образом, что ее всю можно сопровождать... двумя аккордами! Так они ее и «сопровождают», если исполняют своим «рожковым» оркестром. Но хуже всего, когда, в перерывах между пением и оркестром, играют, по образцу старой прусской пехоты, на одних свистульках (флейтах-пиколло) с барабанами. Интернационал (гимн!) невыносим уже в тренькающем балалаечном оркестре, — а на свистульках — это прямое издевательство, злостный шарж... они этого не чувствуют!..

На демонстрации «Сакко-Ванцетти» я прямо обомлел, услыхав в том же рожковом оркестре «Вы жертвою пали», гармонизованное, мажорными (!) аккордами (мелодия в ля-минор, басы — до, соль) — немыслимо узнать «похоронного» марша... они этого не чувствуют.

«Молодая гвардия» занесена к нам из Германии. Это старая тирольская песня об Андреасе Гофере, погибшем в борьбе за свободу... Не гозо-

ря уже о том, что механическая подстановка новых (и совершенно противоположных по настроению!) слов уничтожила весь эмоциональный смысл мелодии («Адэ, майн лянд Тироль» — «прощай, мой край родной» — таков был заключительный стих в оригинале, а теперь «рабочих и крестьян» — у нас, «дес пролетариатс» — у немцев...) — поют они ее тоже голым униссоном, как лютеранский хорал, — это свою-то народную песню!!.

Шагая в ногу с Ротфронтом по Берлину под треклятые свистульки, с какою нежностью вспоминал я «дым отечества». Эх, было бы нас хоть с пяток, ахнули бы мы с присвистом хотя бы «родную мать», либо что... Как заискрились бы весельем и радостью сосредоточенно-унылые лица демонстрантов, как сверкнули бы ненавистью глаза «зрителей» на тротуарах, — а то ведь издеваются, затыкают уши с злорадной гримасой:

— ...нану... большевикише музик... пфуй!

Были и мы зрителями на тротуарах и получили полную «сатисфакцию»... на юбилейном чествовании Гинденбурга.

Весь Берлин еще накануне был разукрашен флагами — вперемежку — республиканскими (черно-красно-золотой) и староимперскими (черно-бело-красный). На мой недоуменный вопрос, что сей сон означает, я получил лаконический ответ: вир хабен дох «кайзерреспублик»... живем, дескать, в республике монархистов, — понятно... — Да, но ведь это «красный Берлин»? — Да, но ведь это Пруссия... — тоже понятно.

Город превратился в великолепное наглядное пособие по политграмоте: особняки и «паласты» — черно-бело-красный; многоэтажные колоссы в центре — желтеют по вертикали вверх; доходные дома на окраинах — по вертикали вниз: на верхних этажах чисто, — здесь ютятся с.-д. рабочие и коммунисты; весь дом желтый — правительственное учреждение; мирно скрещенные желтый с белым — отель или пансион; два разных флага влево и вправо с одного балкончика — семейные разногласия: «отцы и дети»... и т. д., и т. п.

Вот она, «свободная демократическая республика»: о натюрель, «вбезбелье» как говорят французы, — только вот «белого» что-то быдто многовато... «Форвертс», однако, торжествовал, — все-таки желтого больше на сколько-то там десятков или сотен... Какое изумительное трудолюбие — пересчитать все флаги в Берлине!

По Кайзердамм к Грюневальду маршируют густые колонны манифестантов... в черных сюртуках и цилиндрах, с какими-то неведомыми лентами через плечо и значками... Странное «войско», смешное и жуткое, что-то неприятно-знакомое, напоминающее... ах, да — они самые: могильщики или факельщики, как они там называются, из бюро похоронных процессий! Запели «Дойчлянд» — и опять, как франкфуртские фашисты — все в униссон... Эге, тут уже значит явный всегерманский стандарт, и нечего на «большевикише музик» кивать, голубчики: «меньшевикише» — не богаче, только пониже сортом, — до ротфронтовской дисциплины и ритмической четкости ей далеко.

Заканчиваю музыкальные выводы: катастрофа с музыкальной культурой в Германии — серьезное предупреждение нашей действительности,— дешевая демагогия «урбанистического» похода против «народной песни» чревата роковыми «ущербными» следствиями для начавшейся культурной революции в области искусства. А ведь у нас — все шансы миновать «эпоху вырождения», раз нам уже удалось совершить Октябрьский «прыжок в будущее» раньше, чем дегенеративный процесс в искусстве коснулся широких слоев трудового населения Союза.

Судьбы культурной революции п о к а е щ е в наших руках.

Наша деревня в зеркале романа.

А. Дивильковский.

Признак художественного здоровья: беллетристика у нас все плотнее вгрызается в жизнь деревни, все шире пишет деревенские картины.

Целый ряд больших повестей и романов вышел в последнее время отдельными изданиями, как «Пятая любовь» М. Карпова, «Передел» Алексея Тверяка, «Двор» А. Караваевой, «Мартемьяниха» С. Жданова, «Целина» Крутикова, «Прутик» Замойского, «Большая Каменка» Дорогойченко, «Дема Баюнов» Я. Коробова, «Хуторяне» Лузгина и др. Всюду в них деревня — предмет пристальнейшего внимания.

Авторы их в подавляющем большинстве уже ранее заявили себя, как недурные знатоки современного села и добросовестные, без лишних выдумок и вывертов, отразители нынешней, переломной поры в его быту. Поэтому в высшей степени интересно взглянуть, ч т ó н о в о г о приносит нам их во всяком случае серьезная беллетристическая работа, когда она освещает деревню в более широком об'еме, следовательно, и глубже захватывая ее «под корень».

Как выглядит советский «прогресс» деревни, показанный на более широком полотне?

Для ответа воспользуемся лишь несколькими из названных книжек, выбирая их не по художественному превосходству, а по разнообразию их тем. Возьмем «Мартемьяниху», как историю Октября в глуши, «Двор», как отклик на запросы хозяйственного возрождения деревни, «Пятую любовь», как живое изображение сельского актива и его борьбы за советскую культуру, «Дему Баюнова», как картину жизни бедноты в условиях нынешнего момента.

О художественной стороне взятых романов и повестей ограничусь сравнительно немногим, так как не это интересует нас в данной статье. Само собой разумеется, что по художественности формы ни одного из четырех названных произведений нельзя равнять ни с произведениями буржуазно-дворянских классиков в соответствующей области — Пушкина, Тургенева, Толстого, — ни даже с писаниями лучших народников, как Г. Успенского, Решетникова и Короленко. Наши еще «не достигли» таких ступеней изобразительности. Но тут же нужно заметить, что в двух направлениях заметен прогресс, подчас сильный. Во-первых, к а ж д ы й из

наших писателей несомненно приносит достижение над самим собой: прежние вещи каждого из них были слабее, даже значительно слабее (скажем, у М. Карпова), так что нынешние означают своего рода скачек к лучшему, к более совершенному. Во-вторых, все вместе дают определенное продвижение вперед всего фронта. Это общее продвижение идет все дальше от «детской болезни» недавних лет, когда в области описания крестьянского быта преобладала нарочито упрощенная агитка на голую, публицистическую тему с ученическим, рабкоровским, слепо фотографирующим бытовизмом. И все ближе подходит оно к сложно-запутанным, живым историям действительности, где автор должен вскрывать яркий, внутренний смысл жестокой, хотя и, большей частью, глухой борьбы за «советское».

Художественные обобщения, создание так называемых типов и т. д. идут совершенно иною дорогой, чем обобщения научные (и публицистические). Тогда как эти последние берут от миллиона фактов только им всем общие черты, отметая все разное, все обособляющее, — искусство действует как раз наоборот. Его «тип» есть прежде всего тип конкретный, живьем взятый из данной среды со всеми ее «обстоятельствами места и времени». А затем уже, путем постановки в особо яркую точку и момент общей (классовой, в конечном счете) борьбы данного общества, типу этому придается, в процессе развития драмы, художественная и историческая общезначимость. В высшем выражении общезначимость эта достигает мировой, всеобщей ценности типа (для данного, конечно, момента мировой истории).

Остановимся прежде всего на романе Анны Караваевой «Двор».

Есть ли в Степане Баюкове [1]), герое «Двора», подобная, хотя бы ограниченная, общезначимость на почве совершенно индивидуального, конкретного лица и случая из жизни? Нет, или в значительной степени — нет. Известное, чисто внешнее своеобразие, придаваемое ему автором — некрасивая топорность фигуры и физиономии, богатырская сила — это не то. Нет своеобразия, вытекающего из необходимых условий самого замысла, который должен быть совершенно конкретен, «особен», — а не дан из общей, ходячей формулы. Такого воплощения революционной идеи в бесконечно своеобразные клеточки жизни А. Караваева еще не достигает.

Конечно, сравнивая «Двор» с первыми ее вещами, например, с «Медвежатным», находим не малый прогресс. Если там имелось несомненное злоупотребление драками, убийствами и пожарами, как чисто внешним драматизмом, не вытекающим с неизбежностью из замысла, то во «Дворе» сдержанность автора проявляется с большой выгодой для романа. И тем не менее...

Очень хочется, в противоположность манере автора (общей, впрочем, почти всем остальным авторам в этом направлении), напомнить ту строгость,

---

[1]) Не смешивать с Д. Баюновым, героем романа Я. Коробова.

ту скупость, какой придерживались тут классики. Припомните, например, «Ермолая и Мельничиху» Тургенева. Никаких внешних ужасов, можно сказать, серая обыденщина крепостного права (при необычайной в то же время яркости и выпуклости чисто личных черт и случаев). А впечатление потрясающее: «Горя реченька бездонная». Так если буржуазные классики, только сторонним, так сказать, сочувствием подымавшиеся до такой высокой простоты изображения, могли это сделать, неужели же наши, пролетарские писатели, сами стоящие или стоявшие в центре деревенской классовой борьбы за строительство лучшего социалистического будущего для масс, — не поймут и не смогут? Конечно, поймут и смогут. Вся суть лишь в том, чтобы задуматься, как следует, над вопросом, и продуманное приложить к делу.

В частностях и подробностях развития романа «Двор» сказывается большой вкус, искреннее увлечение творчеством и — главное — совершенно неот'емлемая черта истинного художника — большой инстинкт художественной меры. Все вещи в высшей степени обещающие, и, думается, от автора надо ждать дальнейших шагов к настоящему мастерству.

«Мартемьяниха» С. Жданова берет творческий мотив, еще не очень избитый (пущенный в особенности в ход «Виринеей» Сейфуллиной), о героическом пробуждении революцией крестьянки-беднячки. Прямо жизнью пахнет и процесс превращения беднячки из покорной рабы кулака в «мирскую душу», потом и в «большачку». Замысел движется вообще путем самых живых и тем более говорящих противоречий села. Но есть еще в нем достаточно от нарочитого, «газетного» подчеркивания революционного нутра беднюты. Особо безвкусно это подчеркивание выразилось в дважды повторенной сцене швыряния богатырем-бедняком контрреволюционного подлеца на головы кулацкой партии: раз этот подвиг приписан Мартемьянихе, другой — кузнецу Пантюхе. Александр Македонский был герой, но зачем же стулья ломать?

Не свободен и М. Карпов от той же трафаретности в частях замысла. Особо сильно она проявляется под конец романа «Пятая любовь», в слишком растянутой сцене суда над мнимым убийцей Сергеем Медведевым (тоже отпускник, двигающий культуру). Здесь, можно сказать, автор почти целиком забывает о своей обязанности изображать действие, страницами цитируя, как по стенографическому отчету, речи сторон. Роман принимает вид скорей обсуждения юридического казуса на основе протокольных записей, чем художественного развития драмы.

Тот же — повторяю, частичный — недостаток замысла и исполнения — в «Деме Баюнове» Я. Коробова. Этот роман, может быть, более всех других отвечает в общем требованию внутренней драматичности, почти без следа внешних, «сильных» эффектов. Но на этом верном фоне то-и-дело вкрапливаются длиннейшие протокольные места, досадно закрывающие собой идущую своей дорогой трогательную личную драму бедняка. Конечно, эта драма, сама по себе, много ценней и значительней, чем чуть-чуть подкрашенные под «художество» протоколы. Вообще надо ре-

шительно осудить склонность нашей пролетарской и крестьянской беллетристики прибегать к замене драматических «узлов» действия не только в романах, но и на театре, — чуть не голыми протоколами, мнимыми «картинами» ячеечных или профсоюзных и пр. собраний, а то, бывает, и прямо — цитатами из Маркса и Ленина.

Это уклонение подлинного действования в сторону словесноотвлеченной схемы совершенно не допустимо. В общем и целом нужно сказать о «формальных» недочетах новых романов следующее. Слишком уж быстро и легко в них «новые люди» деревни сбрасывают с себя вековую крестьянскую оболочку и становятся просто-напросто отростком городского типа рабочей революционности среди захолустных околиц. В особенности это скажем о «новом человеке» А. Караваевой. Он уже с первого появления на сцене оказывается и полон энергии в делах общественных и хозяйственных, и набит, как куль, знаниями книжными, и скор, и спор на всякое дело — вовсе, увы, не по-деревенски, не по-бедняцки и не середняцки. Кому знакомы даже лучшие типы передовых крестьян, деревенских коммунистов — но именно коренных, не насельников, либо «примаков» всякого рода из числа наследственных фабричных и т. д., — тот головой покачает на это украшение действительности. И не то, чтобы настоящие, конкретно существующие передовики не были дельными работниками, чрезвычайно полезными советско-революционному делу (ведь они на самом деле единственные, массовые сельские передовики). Но дельны и активны они по-иному, не по готовому, городскому образцу, как у Караваевой, — а лишь сравнительно и относительно. Приведу в пример одного довольно близко известного мне, не малого масштаба выдвиженца — из глубокой, уездной провинции. Много лет шевелил он свою околицу в качестве учителя, создателя местной кооперации, предволисполкома и в прочих ролях. Был коммунист с порядочным стажем и в то же время передовой сельский хозяин-середняк, знаток коров и лошадей и клевера с викой (у него было четырехполье). И общественник — в чисто сельском духе, т. е. вплоть до ночных вызовов стуком в окно:

— Эй, председатель.

— Чаво?

— Да мамашка вот родит, никак не разродится, а бабку Агафью вишь на именины, на хутор потребовали, некому принимать.

— Ну, дак чаво?

— Ходи к нам, мамашка просит: хоть ты, ради Христа, прими.

И принимал — не отказывался... Словом, с виду, будто, прямо караваевский «новый человек». Но я мог видеть его, так сказать, в сопоставлении с городскою работой: он перед нею, перед ее темпом — беспомощно отступал. На первом же ответственном партийном докладе, к которому, в поте лица, готовился, его ошарашили:

— Слово т. Энтову (фамилия вымышлена) — на доклад 3 минуты.

— Как!!! — попятился он, тараща глаза. — 3 минуты всего?

Кругом хохот, веселые реплики...

— Сколько же тебе?

— Да ну, хоть... с полчаса, не меньше. А лучше час.

— Ну, брат, если бы у нас все вопросы так решались, времени не достало бы. 10 минут хватит?

Но ему так и не хватило. Пришлось переучиваться. Отказаться от заседаний в 6—8 часов по одному, единственному вопросу, когда текущая работа стоит, и т. п. Словом, быть передовиком здесь потребовался совсем другой размах.

Там, в захолустье жизнь и посейчас льется, будто медленное тесто, со вкусом, с толком (т. е. с бесконечными обсуждениями), с расстановкой, с чаепитием и пр. И даже передовая работа — при очень хорошем сравнительном качестве — в общем количественно слаба, тоща. Только сравнительно с окрестной, еще сильнейшей отсталостью, она, может быть, выдается, как холм на болоте.

Вот на этот пункт надо обратить пристальнейшее внимание наших изобразителей «новой деревни». Нельзя просто переносить знакомое городское в сельскую трясину и стараться нас уверить, что это — из сегодняшней действительности. Если бы стремительно-успешные Степаны Баюковы являлись на деле проводниками советских идей в полях, то, пожалуй, нередко плохо было бы наше дело. Ибо они оказались бы иногда с первого же шага в полном разрыве с массой, следовательно голыми бюрократами, стоящими на передовой, революционной фразе, как на песке. Попроще, попроще изображайте активиста в деревне, поближе к рядовому крестьянину, еще пахнущему овчиной и... вчерашним (заметьте: вчерашним только!) средневековьем. Это, может быть, на первый взгляд, не так покажется красиво, геройчно, но зато — реально-правдиво. И лишь на фоне подобной, живой еще в самом лучшем активисте старины, давайте нам черты сравнительно быстрого продвижения вперед. В «сравнении» тут вся штука!

Вроде того, как стрелка барометра, среди полного ненастья и пасмури, начиная двигаться — хоть медленно и еще неуверенно — к «ясной погоде», дает уже твердую научную уверенность в близости солнца.

В предыдущих строках основной недостаток наших беллетристов, пишущих о крестьянстве, намеренно подчеркнут с некоторой резкостью. Но мною уже раньше говорилось, что даже в направлении этого основного недостатка — в архитектурной предвзятости данных романов — все же наблюдается чувствительный прогресс. Перейдем теперь к учету последнего, а вместе с тем и к небезынтересному новому освещению деревни здесь, со стороны содержания.

В том и другом смысле та же А. Караваева доставит нам немало хорошего. Даже в облике ее излюбленного «нового человека» Степана Баюкова найдем — на фоне общей архитектурной «бесхарактерности» — некоторые правдиво-художественные черты. Так, очень метко ухвачен свойственный ему «перегиб», его жесткое, как щетина, стремление проводить

свое новое хозяйство в разрез с окружающим соседством, по своей дикости враждебным всяческим нововведениям. Перегиб сказывается также на хозяйственно-любовной, в одно и то же время, истории Степана с его бывшей женой Маринкой. Степану, простаку, пришлось случайно, вернувшись со службы в село, убедиться в неверности Маринки, «снюхавшейся» с незадачливым сыном соседа-кержака Платоном Корзуниным. Причем — по-деревенски — и часть имущества переплыла в кержацкую семью. Отсюда — сперва семейный разрыв «с боем», изгнание неверной жены к ее «сполюбовнику», а потом затяжной конфликт со всем семейством последнего, конфликт, сосредоточившийся особенно вокруг коровы Топтухи. Ибо Топтуха одновременно и особо показательный предмет для героя в смысле под'ема хозяйства: переход на многополье означает, прежде всего, переход на усовершенствованное, стойловое, молочное хозяйство, каковое в романе описывается «со вкусом». И — на другом полюсе — она же, Топтуха, по глубочайшему убеждению коренных крестьян-трудовиков-кержаков, есть неот'емлемое трудовое приданое Маринки, раз она «отходит» от старого мужа и входит в новый двор. Война из-за коровы и составляет центральное столкновение «старого» с «новым», советским в романе. И надо, не обинуясь, назвать сильно-художественными и совершенно по-новому показанными искусно (и в то же время в высшей степени естественно) запутанные подробности этой маленькой эпопеи наших дней [1]).

Возьмите вы вот эту самую «жесткость» Степана в проведении своей линии. Источник ее, повидимому, самый новый, самый советский: стремление оградить свое «квалифицированное» хозяйство от грабительских покушений жадного кержачья. Но жесткая линия, доведенная до крайности, незаметно превращается в свою противоположность, — в яростную, мелкособственническую, т. е. старо-мужицкую, защиту своего «двора» и, наконец, в вопиющее нарушение всяких прав новой, свободной от мужнего кулака женщины, Маринки. Маринка-то права в своем желании уйти к новому очагу с коровой, за которой сама ходила, которая — главная производственная, прибыльная статья трудящейся женщины в деревенской семье. И выходит, что наш «новый человек», хоть и невольно, стоит за хозяйственное бесправие «бабы», — как последний, худший домашний тиран старины. Путаница мелькающих теней современной сельской жизни довершается еще тем, что защитники старинного уклада деревни, кержаки Маркел с сыновьями, выступают со своей стороны, как защитники Маринкиной «слобóды», по новым, советским правам.

Разрешается весь этот гордиев узел по внутренней сути драмы вовсе не выстрелом подговоренного дурака Ефимки Ермакова, а достаточно сильным вмешательством «новой женщины» Олимпиады, домовницы (т. е. работницы для надзора за всем домашним хозяйством) Степана. Она такой же нарочито по-городскому выкроенный тип, как и Степан, — в чем здесь

---

[1]) Вспоминается здесь, что и великая индийская эпопея «Магабхарата» тоже имела центром истинно-крестьянскую войну из-за коровы.

еще бо́льшая творческая ошибка, — тем не менее она удачно вносит в его жадное увлечение своим «двором» ноту зрячей, подлинной общественности в советском духе. Веско и едко упрекает она Степана за его «перегиб»:

— Зарядил с одним: двор, двор... Это на тебе — как кора дубовая. Так и затвердела со всех сторон — не прошибешь!..

И сбила-таки мужика, увлеченного уже ею, как энергичной, живой, новой женщиной, сбила на противоречащий, повидимому, его установке путь. Оторвись ты, наконец, от коровы Топтухи, отдай ее бывшей жене, ведь Маринкина жизнь иначе не мыслима, а ты другую корову можешь завести. Конечно, есть тут доля эгоистического интереса домовницы: ведь она хочет выйти замуж за Степана. Но правда ведь и то, что эгоизм выражается здесь совершенно по-новому. По старо-деревенски закон один, известный: своего не дам, хошь убей. А тут как раз обратное — правда, гораздо более умно-расчетливое решение: отдай свое, раз этим достигается и «человечество» (слова Степана о домовнице), т. е. соответствие с советским — а потому и общечеловеческим — прогрессом, и свой покой отнюдь не страдает, лишь выигрывает.

Все это крайне метко ухвачено автором, обнаруживающим умение изображать житейскую деревенскую путаницу нашего момента и в то же время удачно разрешать ее нелегкие задачи.

Перейдем к другому деревенскому роману — к «Мартемьянихе» С. Жданова, посмотрим, что́ нового, плотнее знакомящего нас с жизнью советского села сообщает этот бытописатель 1917 года? Надо сказать, очень не мало.

Материал автором почерпнут целиком из быта захолустной, поволжской деревни в момент нахлынувшей на нее революции.

По своей форме роман примыкает к художественному реализму, унаследованному нами от Пушкина — Толстого — М. Горького. И как раз фигура беднячки Мартемьянихи, воскрешенной Октябрем и выработавшейся в героиню, в вождя местной революции, сильно пахнет кистью М. Горького, даже отчасти его манерой живописи, колоритной, резко-выразительной. Впрочем, из реалистов М. Горькому свойственен отпечаток пролетарского л и р и з м а, во многом переходящего в импрессионизм, т. е. в писание сильными и быстро сменяющимися мазками «впечатлений».

В «Мартемьянихе» применена та же манера. История революционной «председателихи» развертывается как бы внешнею или постороннею роману силой, не из внутреннего, драматического механизма романа. Получаются отрывочные, последовательные эпизоды, освещенные каждый раз, как суб'ективные переживания Мартемьянихи, в ее оборотах мысли, тяжких, неуклюжих, неповоротливых, как камни. В этих-то, большею частью живьем схваченных оборотах ее речи и мысли состоит, пожалуй, главное достоинство произведения и его право на внимание читателя. Я только что сравнил Мартемьяниху с героями Горького. Она — не просто копия с них (именно такой деревенской бабы вы у Горького не найдете), а лишь «в близком

родстве со стихийно-революционной психологией его первоначальных героев. Они, правда, большей частью босяки, а тут — деревня-матушка, но отражают они один и тот же массово-революционный процесс. Только Мартемьяниха — как и предшествующая ей художественная фигура того же порядка, именно Виринея Сейфуллиной — может просто служить реальным показателем продвижения революции в глубь деревни. Деревенская беднота, при всей суб'ективности манеры С. Жданова, дана в сочных реальных тонах неподдельной и невыдуманной.

Может быть, со стороны развития замысла интереснее всего в романе как раз первый момент пробуждения Мартемьянихи к революционному сознанию. Пробуждение истинно стихийное, совпадающее, повидимому, с первыми временами Февральской революции. Толчок — как и всюду в романе — дается извне, наездом из города ораторов и комиссаров, преимущественно еще соглашательской ориентации. Мартемьяниха, существо крайне нескладное и внутренне и внешне — могучего сложения, но кривобокое, косолапое, — до этого момента идет целиком на буксире благодетеля-кулака Федора Кузьмича. И на решающий сельский сход она является, не зная ни его смысла («Не пойму, что почем: благочинный, должно, ай еще что...»), ни того, что сама будет творить. «Слышит, будто про царя что-то, про власть какую-то народную, про войну, про землю». Выступила, когда задело за живое, но — суб'ективно, по своему первоначальному намерению — в качестве подголоска тех же кулаков. И кулак тоже сперва думал, улыбаясь: «Эта не выдаст». Но так как перед тем кулак ее уверил, что «мир» хочет у нее отнять избу, нанятую у него, кулака, то речь ее — в лицо этому самому миру — гласит:

— А избу пошто отнимаете? Пошто со свету сживаете с малыми ребятами? Рази есть такой закон? Я ль не работала?.. и т. д.

Словом, «срезала», как выразился про себя Панфилов (кулак-купец), и срезала как раз его, кулака. Ибо в данной, об'ективной обстановке, когда в деревне Кривой Лук ставился вопрос о влиянии и власти кулачества с помещиками, или трудовой массы, — ее речь попала как раз, куда она вовсе не метила, не в бровь, а прямо в глаз кровопийцам деревни. И «беспонятная» доселе баба, посмешище всех соседей, вдруг оказалась впереди всего схода по решительности требований, по смелости и безоглядности выступления за бедноту, против мироедства. Сперва она сама даже не поняла, что и — против мироедов, но сход понял и, поддержав всей массой, открыл ей на все глаза.

Быть может, чересчур уж поспешно автор тут же приводит дело к выбору Мартемьянихи сходом в революционные председатели волостного правления. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Но самый процесс прозрения массы и ее непосредственного вожака-героя схвачен в высшей степени верно и типично. Именно так он и должен был происходить в те горячие дни, да и сейчас так происходит, порождая из недр деревенской бедноты и середнячества все новые кадры бойцов, передовиков и активистов.

В остальной части романа мы уже не найдем равносильных моментов, правда, развитие революции от Февраля к Октябрю, через разгром помещиков, кулаков и попов, потом через чехов и белогвардейцев, к окончательному торжеству «перехвата всей жизни», изображено картинно, психологически верно и убедительно. Но все это идет уже, как по писанному, как своего рода послушная тень за событиями города и центра. Такого раскрытия активного, героического существа из-под заскорузлой, безнадежно-пассивной, повидимому, оболочки, какое есть в упомянутой, начальной, сцене, больше не найдем. Конечно, мы встретим колебания Мартемьянихи перед лицом разных нахлынувших передряг революции, но колебания, связанные лишь с ее захолустной слепотой, забитостью и темнотой. При этом, она все время остается убежденнейшей «председателихой совдепской». Не всегда сразу разумея, «што к чому», с трудом, ощупью, как человек каменного века, пробирается она непривычной мыслью в дебрях крушащейся вокруг жизни, но всегда в конце концов инстинктивно-верно выбивается на дорогу. «Все мы бальшаки» (большевики), вслед за хромоногим бедняком Воропаем умозаключает она уже в середине романа и с тем пребывает до конца.

Интерес романа в дальнейшем поддерживается уже не столько моментами психологических взрывов или новых «превращений» от столкновения со средой, — сколько именно фоном Мартемьянихиной биографии, т. е. живо наблюденной и переданной физиономией самой среды деревенской.

Эта среда, где Мартемьяниха образует лишь один из элементов, чуть-чуть разнящийся от других, чуть-чуть их превосходящий, изображается С. Ждановым не как копия с чего-либо чужого, а как собственное, близкое и свежее наблюдение. Вот, например, неподражаемая картинка первого появления чехов — или еще лишь вести о чехах — в Кривом Луке.

В духов день (т. е. в начале лета 1918 г.) по случаю засухи служится на полях попом молебен о дожде.

«Той минутой из-под косогора вылетел верхом на лошади Игнашка Сустрицкой:

— Чеки!.. Чеки!.. Поднялись войной! — бросал Игнашка непонятное, будто гнался за Игнашкой кто, за смертью его гнался.

Дрогнули мужики, загудели, будто пчелы:

— Каки чеки? Чтой-та ты, Игнашк?

В задних рядах ничего не понимали, напирали:

— Сбесилась лошадь, што ль? Задавили каво?

Игнашка засыпал народ и словами, и слюной: «Чеки! Чеки!..»

— Кто этта чеки твое будя?

— Вроде как ерманцы: все взяли, забрали войной! Питер взяли, Москву взяли. Шаринск (уездный город) взяли... На Кривой Лук идут!..

Дальше — картина переполоха в селе перед неизвестными «чеками». Мартемьяниха, как председатель, требует к ответу вестника грозы, Игнаш-

ку. Его «нашли в подполье, под кучей перин: — Вылазь! — Чеки, война, — дрыгал ногами Игнашка. — Вылазь, грют тебе...»

Но и председателю ничего больше выяснить не удается.

«Крестьяне в ужасе твердят:

— Что тако, мужуки? Что делать будем?

Мартемьяниха решает, наконец, за всех:

— Стой, стой, не можна так... Чо где, неведомо, а мы в оглоблю знам лезем. Разберем, давай. Ну, идут. Хто таке идут, — не знам. Так вот они и будут жечь и резать без разбору... Я тахта смекаю, пождать надо, как что... Попрятать, что есть по дому, и ждать».

И даже сельские «бальшаки» на вечернем собрании принимают решение только предположительное: «Ежели насупротив совдепа и сила несметная, — по лесам». Словом, характеристика истинно пошехонской беспомощности и умственных блужданий удивительно меткая. Но, повторяю, это само по себе не представляет какого-либо «нового слова» о деревне недавних, да и наших исторических часов. Все это с величайшим искусством и правдивой остротой вскрыто и изображено отцами русской деревенской беллетристики, народниками, от Чернышевского до Короленко (например, в «Сне Макара»). Но на нашем уровне посвященной советскому крестьянству беллетристики является ценным приобретением то, что мы находим в романе подлинную, так сказать наследственную, вековую — быстро уходящую — физиономию массового мужика, как он вошел в революцию. Бесчисленные беллетристические агитки первых времен революции уж слишком уклонялись в изображении мужика, как «жертвы» кровожадного барина, или как нового Стеньки Разина, во всякую минуту склонного громить тех же бар. С. Жданов и его товарищи по перу ведут к нам живого селянина со всей его старинной закваской. В этом их заслуга.

Таким образом, жизненный интерес романа «Мартемьяниха» стягивается вокруг двух центральных пунктов. Во-первых, образ самой Мартемьянихи. В нем уловлено пробуждение революцией могучих сил, веками тлевших без исхода в «последних» слоях деревни, бедноте, верно уловлено и очерчено сильными, «топорными» чертами, в полной гармонии с «топорностью» этого слоя в действительности. Этот процесс в советской деревне ярко обрисован, главным образом, Сейфуллиной («Виринея», в первую голову). Свое С. Жданов прибавляет по сравнению с ней, лишь то, что его героиня более кровно связана с деревней и хозяйством и родством (Виринея — чужая своему селу батрачка, оторвавшаяся от своего родного «корня», потом даже — работница на постройке желдороги); при этих, гораздо более трудных, условиях она пробуждается сразу — в вождя масс (Вирка — лишь рядовая участница революционной драмы). Следовательно, С. Жданов подвигает нас несколько дальше в показе роста активности на селе.

Во-вторых, черты пошехонья в деревенской массе. И тут, крестьянская беллетристика в лице С. Жданова лишь обновляет старую работу лучших беллетристов-народников. Эта традиция также имеет своих пред-

шественников в советской и пролетарской литературе. Упомянем хотя бы даровитого Артема Веселого с его книгой «Страна родная». Но, если у А. Веселого эта черта, неот'емлемая от деревни, только что освободившейся от помещичьего и самодержавного ярма, еще дана под углом зрения чисто сатирическим и обличительным, то в «Мартемьянихе» и здесь — прогресс. Она изображается определенно, лишь как неизбежная исходная точка, преодолеваемая по ступеням, в течение романа. И преодолевается она именно самою деревней, ее внутренними силами. С. Жданову, как и всем прочим авторам, следует посоветовать лишь одно — подальше держаться от робко-ученического следования газетным «схемам» в построении романа и, наоборот, научиться искусству переводить их на язык образного художества, т. е. бесконечно разнообразной конкретности, вместо голого и однообразного отвлечения.

Перейдем к «Пятой любви» М. Карпова.

Эта вещь лишена такого наивного развертывания сюжета, когда даже недогадливый читатель с первой же строки начинает понимать «секрет» дальнейшего повествования и, без помощи автора, распределять всех действующих лиц по их сценическому амплуа. Вот мол герой, вот злодей, вот любовник, вот комическая старуха и т. д. Или, ближе держась «ролей», привычных в советской публицистике применительно к селу: вот «новый человек» или «живой человек» деревни, вот кулак, вот поп, вот крестьяне-общественники, вот комсомол (или кандидаты в него), вот селькор. И, судя по общему трафарету, «новый человек» станет проводить коллективизацию, кооперирование, реконструкцию земледелия на новой технической базе и проч., а кулаки с попами — всячески мешать, вплоть до убийства. При всей «желанности» для читателя победы советского «нового» на этой, деревенской баррикаде, согласитесь, что в больших, так сказать, порциях, ежедневная картина одной и той же баррикады, без характерных, многоцветных ее разновидностей, не достигает цели. Достоинство Карпова составляет то, что он воплощает свою тему в образы, не легко предугадываемые. Он обладает архитектурным уменьем вкладывать «баррикаду» в образы и роли, с виду часто противоположные заданию. А в этом и состоит секрет увлекательности. Ваше сердце бьется от чтения романа, написанного подлинными мастерами, именно потому, что вам не дается наперед ключа ни к событиям, ни к лицам и их ролям. Скажем, «Преступление и наказание» Достоевского: рядовой, повидимому, уголовный преступник, с явной целью грабежа убивающий старуху. А на самом деле, сколько из этого мотива классик извлекает совершенно непредвиденных чувств и внутренних переживаний, чтобы в конце концов дать понять читателю всю глубину побуждений, прямо противоположных уголовному «явлению».

Сергей Медведев, «новый человек» из отпускных красноармейцев-фронтовиков, при всех благих намерениях революционно-строительского характера, во многом ведет себя с самого начала романа так, что вызывает у читателя все больше сомнений и опасений за его судьбу. Читателю

все больше сдается, что не без основания Сергею в Петрограде говорили при расставании товарищи:

— Жаль тебя, Медведев, — заглохнешь ты в деревне.

Их предсказание как будто понемногу сбывается. Он, впрочем, все время держится около передовой деревенской молодежи, а коммунистическую ячейку, куда, как большевик, он сразу вошел, быстро поставил на правильные рельсы: прежде она уклонялась в своекорыстный пошиб. «Как беспартейные мужики больше вреда делали, разводили контрреволюцию, — говорилось в одном из прежних протоколов ячейки, — а мы, как есть застрельщики революции, то постановляем: землю на Ямах разделить промеж ячейки, а выгон расширить за счет земли беспартейного населения деревни». За Сергеем значился ряд и других заслуг, причем линия его большевистского воздействия идет, все расширяясь, в волость, в уезд... Но и видимое обрастание бытом все как будто сгущается. Слишком уж Сергей бегает за девчатами — и девчата за ним. Сегодня с комсомолкой Аленой, завтра с учительницей Ниной Михайловной и т. д. Еще хуже: как-то странно успел спеться со своим «крестным», мельником (конечно, по аренде от «мира») и кулаком Алексеем Савохиным, так что последний предложил его в предсельсовета. Самогоном Сергей не только упивается, но и занимается укрывательством своего отца-самогонщика, надувая милицию с обыском. Помимо этого мелочного «обрастания» Сергей, бывший комиссар на фронте, вообще попадает в невылазное, повидимому, противоречие, подобное тому, как у караваевского Баюкова с его «двором». Противоречие, характеризуемое потом, на суде, его защитником Штернсоном, как своего рода «ножницы», угрожающие каждому деревенскому коммунисту — по сравнению с городским. «Работая активно, — говорит Штернсон, — допускаешь упущения в своем хозяйстве; а работая хорошо в своем хозяйстве, — допускаешь упущения в партийной и общественной работе; свести эти ножницы не всегда удается...»

Словом, и читатель, сочувственно вникая в обостряющееся положение Сергея, все больше болеет сердцем за последнего.

Вдруг происходит убийство селькора «Красного глаза», а по собственному имени — Васьки Ельникова. Убийство глупое, непонятное, наподобие тех, какие иногда случаются на деревенских свадьбах и «престольных» праздниках. Сами участники нередко не разберутся: кто кого? Но тем хуже для одного из несомненных участников пьяной ссоры на свадьбе — сознательного революционера и строителя социализма Сергея. А уж если он убил селькора, то ведь тогда передового Сергея не отличить от гнуснейшего кулацкого подпевалы вообще.

Вот жизненно схваченная и убедительная внешность романа. Автор умеет уже с ее помощью все время держать в напряжении читателя. Но цель романа ведь не в том, чтобы заставить нас пессимистически относиться к условиям работы сельских передовиков по переделке захолустья на новый лад. Совсем напротив. И надо признать, что М. Карпову удается еще убедительнее, еще более глубокими фактами, проникновением

в подробности работы и жизни Сергея доказать, что действительность несет с собою творческую волну, гораздо более мощную, чем все видимые «обрастания».

Для такого доказательства вовсе не нужны длиннейшие и нехудожественные, чисто прозаические протоколы судебных прений, несмотря на все усилия автора пленить нас красноречием и обвинителей, и защитника. Их можно было дать гораздо короче. Помимо всей предыдущей картины все же искреннего служения Сергея своему делу совершенно достаточен заключительный и вполне художественно-показательный момент покаянного признания своей вины в убийстве со стороны кулацкого батрака Ермошки. Признание это построено на вполне убедительных мотивах мести хозяину за побои, а побои последнего — на житейски верном мотиве: не лезь к моей полюбовнице. Как ключ в самом конце повести к ее естественно-развитым противоречиям, это признание при всей его драматичности, сразу освещает хорошим, бодрящим светом всю видимую неразбериху ежедневных и бесчисленных сельских историй, где иному городскому зрителю, как и читателю данного романа, того и гляди, может почудиться, что в деревне вообще дело обстоит безнадежно...

Автор, в общем не навязывающийся с непрошенной указкой (если исключить иные места вышесказанных излишне-растянутых протоколов с'езда, суда и т. д.), как будто говорит нам своим довольно хорошо уравновешенным, об'ективным повествованием: не торопитесь, друзья! Не торопитесь с выводами, когда читаете иной раз телеграмму в газете об убийстве селькора «противосоветскими элементами». Здесь не всегда дело бывает так просто. В деревне старое с новым, красное с белым подчас бывает смешано так прихотливо, что, делая выводы, очень легко впасть в ошибку. В такую ошибку и впали обвинители (в том числе общественный обвинитель «из губернии» Абрамов), публика на суде, и даже сами судьи, вынесшие Сергею обвинительный приговор. А на самом деле, в конце концов, выясняется, что все обрастание Сергея было почти целиком лишь естественной и неизбежной оболочкой сельской жизни, которая медленно, но верно растворялась под едким действием революционной работы, в том числе работы самого же Сергея.

Что касается удивительнейшего своеобразия в деревне по части вопиющих сочетаний старины с новизной, то в романе М. Карпова мы находим не мало метких иллюстраций. Взять ту же комсомолку Алену, преданную, горячую и не лишенную способностей и ума. И вот она, из любви к красивому Сергею и из боязни конкуренции подруг, превосходнейшим манером, как делали матери и бабки, отправляется к ворожее Нениле за присухой и наговором. Да что, сам представитель газетного обличения, убитый потом на собственной пьяной свадьбе Васька-селькор, не раз в романе появляется в том же «обрастании бытом». Да и смертный час застает его с болтом железным в руке, в поисках расправы над тем же Сергеем, как предполагаемым соперником по прежней любви новобрачной Алены... Словом, селькор так же легко мог отправить к предкам коммуниста

и председсовета Серегу. И была бы тогда история уже об убийстве коммуниста-председсовета пособниками кулаков! На этом сплетении возможностей хитрый кулак Алексей и построил всю инсценировку убийства в драке.

Ну, а где же, спросит читатель, то новое о деревне у М. Карпова, которое мы ищем во всех данных романах? Но предыдущими строками мы уже попутно ответили на интересующий нас вопрос. Романы, как «Пятая любовь» (кстати сказать, заглавие романа в нем играет совершенно побочную роль, относясь к переменному ряду «любвей» некоего учителя Романа Петровича), ставит вопрос о «переломном» крестьянстве нашего момента, об особенностях в облике деревенского коммуниста, деревенского активиста, комсольца, кооператора и проч. М. Карпову удалось вплотную подойти к внутреннему «механизму» деревенского обрастания.

У нас остается еще один роман — «Дема Баюнов» Якова Коробова. В подробностях этого романа тоже порядком изобилуют скучные и ненужные протоколы собраний. Но сама горестная жизнь бедняка Демы развивается без указки со стороны схематических, общих формул.

Невольно напрашивается сравнение с зарисовками Решетникова, по внешности летописно-спокойными, до полного безразличия к изображаемым бедам низового человека, а по существу проникнутыми глубоким и горестным сочувствием. Как и у Решетникова, жизненный бег героя идет от одной беды к другой, кончаясь нелепой и обидной гибелью в полой воде, когда уже открывались некоторые перспективы. Но то, что было вполне уместно и оправдано у Решетникова, перед зарей пролетарского движения, «в беспросветной, глубокой ночи», когда средневековье и крепостничество только еще впервые надломилось (1860-е годы), то в наши советские дни является уже прямо недомыслием или близорукостью. Одно из двух: или автор своим образом вечно неудачливого бедняка н а ш е г о момента хотел дать т и п и ч н у ю картину жизни, х а р а к т е р н у ю линию момента в деревне; либо — чисто случайную зарисовку. Последняя возможность била бы в лицо художественным заданиям автора, ибо случайные фотографии ничего ни доказать, ни показать не в силах. Первое же предположение значило бы, что у автора имеется пессимистическое отношение к судьбе сельской бедноты в наших сегодняшних условиях. И Дема Баюнов оказался бы — при всей тщательности авторской работы — в кричащем разнобое с действительной, т. е. об'ективной, жизнью. Ибо, живя в деревне, ежедневно общаясь и с массой, и с мощной — при всех неизбежных отклонениях — массовой работой компартии, соввласти и деревенского актива, не видеть в то же время живого хода этой работы, значит ничего не видеть.

Разумеется, в «Баюнове» имеются некоторые зарисовки нового человека: и «тов. Пуговкин», красный директор соседнего стекольного завода, и волостной комитет или ячейка, и в уездном городе — укомцы, судьи и проч., и вовсе не сплошь изображенные отрицательно. Все парни искренние, «старающие о мужике». Но все как-то у них не клеится. Глядишь, лесорубная артель, порученная Деме, вдруг нечаянно и горестно для него выли-

вается — в арест и тюрьму. Заводская пустошь неожиданным образом оказывается сдана от завода никому иному, как мироеду Феклисту Кокину.

При чтении романа чувствуется, что автор чего-то не досмотрел, в чем-то перехватил, оставив самое важное в тени. Ну, пускай уездные работники не умеют наладить дело, хотя и искренне этого хотят. Но где же у автора остались существеннейшие вещи:

1) Огромнейший и все усиливающийся, революционный нажим соввласти в пользу бедноты, ее кредитованием, коллективизацией, огромными, нигде не бывалыми в истории льготами по налогу, землеустройству и проч., и проч.? Что же, эти усилия, эти льготы остаются неведомы самой бедноте? И никак не воздействуют на под'ем ее собственной энергии, на накал ее революционности, наконец просто на безотрадное в прошлом (как у решетниковских Пилы и Сысойки) настроение духа? И это проглядеть крестьянскому автору?

2) А куда же девалось несомненнейшее пробуждение деревни, в особенности, бедноты и деревенского пролетариата и полупролетариата, пробуждение, о котором мы говорили в связи с «Мартемьянихой»? От всей этой, так сказать, внутриатомной революционной энергии сельской массы у Я. Коробова нет почти ни следа. Об'ективно ли это? Здоровая ли это самокритика?

Дема Баюнов у него, оказывается, не более, как какой-то социальный сирота, предмет попечения советского наркомсобеса, но попечения неуклюжего, сонного, следовательно полубюрократического. Сирота то-и-дело попадает из кулька в рогожку, вязнет, как в тине, в хитрых кулацких кознях, гибнет, и никто этого не замечает. Все это делает большую честь — я чуть не сказал — народническому, во всяком случае, доброму сердцу автора, но это требует самых серьезных поправок, с точки зрения об'ективной фактической действительности.

Из беглого обзора последних «достижений» в области сельского романа становится ясным, что тут мы имеем дело все еще не с подлинным художеством, равноценным с лучшими образцами буржуазного искусства. Это не «Власть тьмы», не «Пошехонская старина», не «Власть земли» Г. Успенского. Однако их художественный же реализм настолько силен, что позволяет относиться к изображаемому, как к кускам самой жизни.

В общем, все они вместе рисуют деревню во многом иною, гораздо более сложною и запутанною, чем выходит по ходячим схемам: крайнее переплетение красного и белого, старого и нового, социалистически-прогрессивного и средневеково-умирающего. Но сквозь весь этот прихотливый переплет, как твердый узор по мелкоперекрещенной канве, выделяется на селе внутреннее, а не только извне подталкиваемое, мощное напряжение к обновлению, к перестройке, к «перехвату всей жизни» на новый социалистический лад, пока еще смутно улавливаемый, но уже начинающий манить и увлекать крестьянские массы.

Плохое обращение с историей или мистика крови [1]).

Л. И. Рузер.

В 1925 г. вышел в свет роман С. Мстиславского, по заглавным листам которого надо было понимать, что он являлся началом серии автобиографического характера. Первый заглавный лист гласил: «На тропе — роман о моей жизни», а на втором значилось — «Книга I — Крыша мира».

Новый роман «На крови» не носит никаких формальных признаков ни автобиографичности, ни своей связи с «Крышей мира» в качестве «книги II», появление которой естественно можно было ожидать на основании вышеприведенного заголовка. Между тем, и этому роману, «На крови», приданы явно автобиографические черты. Кроме того, он рассказывает об эпохе революции 1905 г., хронологически связанной с концом 90-х годов, к которым относится действие «Крыши мира». Наконец он «перекликается», как удачно выразился Ульрих в послесловии, с первым романом автора.

Отчего же это произошло? Почему автор не связал эти два романа явными и формальными признаками? Надо предполагать, что автор не случайно решил ступить в сторону с той «тропы романа о своей жизни», которую он наметил в первой книге. Эта «тропа» обязывает ко многому, чего автор не хотел выполнить.

Но в таком случае надо весьма пожалеть, что С. Мстиславский сделал лишь робкий шаг в сторону от намеченной ранее «тропы», а не ступил четко, решительно и полностью на новую дорогу. Сняв с заголовка формальные признаки некоторой исторической подлинности, автор предположил, что это позволяет ему, «сочиняя» свою биографию, вплетать ее произвольно в важнейшие исторические события, причем переделывать эти события по своему усмотрению, в ущерб фактам и их подлинному смыслу и значению.

В «Крыше мира» сюжет, как и в настоящем романе, построен приключенчески. Там приключения наполнили до отказа путешествие автора на Памир в 1898 г. Но это были приключения, главным образом, этнографического характера. К ним можно было относиться по пословице «если не

---

[1]) С. Мстиславский. На крови. Роман. С послесловием Ульриха. Госиздат 1928 г. 454 стр.

верно, то хорошо придумано», хотя они окружали автора уже очень густой атмосферой сверхгероизма и мифической величавости. В романе «На крови» речь идет об исторической сущности таких событий, как московское вооруженное восстание 1905 г., как убийство Гапона, как террористические акты, занявшие известное место в истории революционного движения, и т. д. На страницах этого романа выведена целая галлерея подлинных исторических лиц под полными или неполными именами, под кличками и т. п. При пользовании таким материалом автор, по обычному литературному праву, обязан значительно бережнее относиться к историческим фактам, чем это делает С. Мстиславский. Его вольное отношение к истории становится еще более одиозным от того, что автор несомненно владеет приемами литературного творчества.

Но он поддается искушению и искажает факты, изменяя их социально-историческое содержание и значение, в угоду дурно понятым требованиям сюжетной или литературной эффектности.

Приезжая, напр., в восставшую Москву по командировке военных организаций, автор, по партийной кличке товарищ Михаил, попадает (как всегда после ряда необыкновенных приключений) в штаб восставшей Пресни, в столовую Прохоровской мануфактуры. Там происходит его разговор с командующим вооруженными силами, товарищем Медведем. Как и все страницы описания вооруженного Московского восстания, эта беседа (стр. 257—258) производит впечатление, что одни эсеры только и руководили, а он, Медведь, один лишь и командует восставшими на Пресне. О большевиках мельком упоминает Медведь, когда возмущается тем, что партийные руководители якобы вызвали восстание раньше времени, а сами чуть ли не спрятались в кусты, и говорит: «Дай срок, сочтемся... И у большевиков о том же: Евгений говорит — к партийному суду потяну».

Место действия и лица подлинные. Штаб Красной Пресни действительно помещался в столовой Прохоровки. Медведь — кличка Михаила Соколова, известного эсера-максималиста, входившего в боевой штаб и командовавшего только одним участком, прилегавшим к Городскому району, а Евгений — кличка Л. Н. Кудрявцева, ответственного боевого организатора Московского комитета РСДРП и председателя боевой коллегии, составленной этим комитетом. А между тем, прибегая отчасти к «фигуре умолчания», автор рисует такую картину подготовки, возникновения восстания и руководства им, которая в корне противоречит установленной историей. Во всяком случае, на столь известную роль большевиков в вооруженном восстании на Пресне нет и намека в романе. Герой романа, он же автор, как бы не заметил их участия.

Правда, в следующей главе, рассказывая о своём докладе в ЦК эсеров, автор как бы восполняет этот «пробел». Но он делает это на свой манер. Он вкладывает в уста члена ЦК, Виктора (о котором речь будет ниже), упоминание о печатной инструкции, изданной большевиками. То, что именно Виктор говорит об инструкции, и то, как он говорит о ней, полно ехидной иронии и рисует эту инструкцию в карикатурном виде. Речь идет, очевидно,

о листовке «Советы восставшим рабочим», изданной Боевой организацией при Московском комитете РСДРП. По свидетельству многих большевиков — участников восстания, эта листовка оказала немало услуг восставшим рабочим. Автор просит (стр. 269) разрешения «остаться при особом мнении» насчет нее ,изобразив ее так, как мы указали.

Фактические искажения, допущенные С. Мстиславским в передаче истории убийства Гапона, обнаружить также нетрудно. Организатор убийства Гапона, фигурирующий в романе, как и другие персонажи «На крови», под своей подлинной партийной кличкой — Мартын, никто иной, как видный работник партии эсеров — Рутенберг. Он оставил подробное и точное описание событий, предшествовавших и сопровождавших убийство Гапона. Надо сказать, что все эти документы написаны с редкой для эсера глубиной понимания политической ответственности. В них Рутенберг обнаруживает большую силу воли и ума и подымается на высокий уровень исторической об'ективности. Ему, Мартыну-Рутенбергу, установившему, что Гапон продался правительству и охранке, ЦК партии эсеров и поручил убить Гапона, как провокатора. Но в то время имя Гапона было еще окружено некоторым ореолом в глазах рабочих масс. Рутенбергу было поставлено условие, чтобы Гапон был убит совместно с известным тогда вице-директором департамента полиции, Рачковским. Такое двойное убийство должно было воочию доказать всем близость Гапона к охранке.

Мартын всеми силами в течение долгого периода времени старался выполнить это, действительно, важное условие, что ему никак не удавалось. Мучаясь невыносимой ролью революционера, симулирующего согласие продаться охранке, ролью, которую Мартын вынужден был играть, он, не выдержав, решает убить одного Гапона, представив его предварительно на суд рабочих. И вот, Рутенберг пишет: «Я обратился к группе рабочих, членам партии, рассказал им в чем дело». Слова «членам партии» подчеркнуты нами, ибо в них суть. Мартын поступил правильно. Только партийные рабочие могли иметь необходимый авторитет, чтобы удостоверить перед общественным мнением рабочих районов причастность Гапона к охранке.

Но С. Мстиславский в своем романе заставляет Мартына обратиться к почти поголовно беспартийным дружинникам, руководимым автором. Больше того, автор заставляет самого Мартына заявить (стр. 289), что он, якобы, сознательно обращается к самым предубежденным, причем одного из них обзывает «недоноском революции». Выходит, что они могли быть законодателями и руководителями общественного мнения рабочих районов. Зачем понадобилось автору «На крови» такое грубое искажение исторической обстановки? Неужели только затем, чтобы ввести в действие дружинников, которыми он руководил, и самого себя?

Не лучше обстоит дело и с поведением рабочих, и с той сознательностью, которую они проявляют в момент полного выяснения провокаторства Гапона и во время его казни. С. Мстиславский заставляет их раньше времени сорвать с петель дверь той комнаты, где они были спрятаны, а затем разыскивать убежавшего, якобы, Мартына, чтобы его «рядом повесить».

«Гапон — Иуда, да и тот гусь — хорош. Любо это будет, рядышком» (стр. 307), — так говорит в «На крови» один из рабочих. Между тем, в описании Рутенберга ясно проступают выдержка, дисциплинированность и понимание политической сути событий со стороны рабочих. Случилось так, что, действительно, они, а не Рутенберг, казнили Гапона, но о том, чтобы убить также и Мартына, речи не было.

Вот что пишет Рутенберг («Былое» 1917 г., № 2, стр. 66): «Я не присутствовал при казни. Поднялся наверх, только когда мне сказали, что Гапон скончался. Я видел его висящим на крюке вешалки, в петле».

И если автор, действительно, участвовал в казни Гапона, зачем ему нужно было излишне театрализировать действие, искажая правдивые и сами по себе яркие политические события?

Есть в романе еще целый ряд произвольных поправок истории, легко поддающихся проверке. Таковы, напр., изменения в обстоятельствах покушения на Дубасова. Из «Воспоминаний террориста», Б. Савинкова (издательство «Пролетарий», 1926 г.), можно заключить, что автор «На крови» отнюдь не участвовал в этом покушении, как он об этом рассказывает. Во всяком случае, он неправильно изобразил бывшие при этом недоразумения с бомбами, которые впоследствии послужили одной из улик при изобличении Азефа в провокаторстве (Савинков, стр. 349). Автор романа не остановился перед тем, чтобы перекроить всю историю покушения на Дубасова, повидимому, с целью поставить себя на более видное место в истории.

Дело здесь не в мелочных документальных придирках. Мы хотим быть понятыми читателем как следует. Ведь, в романе речь идет об исторической эпохе и исторических событиях первостепенной важности, описанных современником и участником их. Необходимо точно установить, как относиться к изображению их автором романа. Есть ли это некий род художественных мемуаров или, как думает Ульрих, «интересный, увлекательно написанный психологический документ, свидетельствующий об одном из возможных подходов к революции»? Тогда конкретные исторические факты и события, подлинные лица и места действия не подлежат перетасовке, переделыванию, изменениям. Но автор волен проявить к ним то или иное свое отношение, свой «подход к революции». Или же этот роман — свободное, суб'ективно-художественное отображение эпохи и попытка воплощения образов ее деятелей в собирательных психологических типах? В этом случае для романа обязательна лишь общая социальная правдивость и художественная убедительность. Но тогда нельзя, в качестве такового, подносить читателю произвольную смесь из художественного вымысла и искажения конкретных исторических фактов. Тогда нельзя по-своему изменять фактическую обстановку московского восстания, а можно, на художественной обработке его отдельных моментов, передать свое отношение к восстанию, оперируя художественным вымыслом. Тогда нельзя изображать себя участником покушения на Дубасова, а нужно взять какого-нибудь вымышленного генерала Лупилова или Колотилова и покушаться на него сколько душе угодно, используя обстановку и материалы покушения на Дуба-

сова. Только при этих условиях можно ограничить требование к роману одной общей исторически-социальной правдивостью.

Итак, либо это документ той или иной ценности и достоверности, либо это суб'ективное художественное произведение. По нашему мнению, это ни то, ни другое, потому что автор захотел сделать и то, и другое, стараясь все время незаметно лавировать между одной формой и другой. Несмотря на указанное выше отсутствие формальных признаков автобиографичности, роман изобилует автобиографическими указаниями. Рассказ ведется от первого лица, которое носит имя автора — Сергея. В начале романа (стр. 32) его представляют как «сына Дмитрия Петровича». Он, автор, тов. Михаил, состоит в академии генштаба и при университете, он играет видную роль в офицерском союзе, он тесно связан с партией эсеров и т. д., и т. д. Все это подлинные данные из биографии С. Мстиславского, известные тем, кто знает его, как революционера и литератора.

Печать такой двойственности лежит почти сплошь на всем романе. В нем фигурирует, напр., в подробностях нарисованный член эсеровского ЦК, в котором совершенно определенно можно узнать — и по наружности, и по роли в партии — Чернова. И имя в романе он носит подлинное — Виктор.

Когда автор прямо и полностью называет всем известные лица и события, то нет-нет да и обнаруживается его слишком свободное обращение с историей. Об этом можно только пожалеть. С. Мстиславским рассказаны подчас интереснейшие вещи. Напр., совещание группы руководителей Петербургского совета рабочих депутатов (стр: 215 и след.) на квартире известной артистки Яворской. Наряду с Хрусталевым-Носарем в этом совещании участвуют и таинственный с.-д. Жорж и безымянные рабочие. Было ли такое совещание, и передано ли оно хотя бы приблизительно верно? Кто знает!.. Чрезвычайно интересны два разговора Азефа с автором. Первый (стр. 203 и следующие), когда Азеф, очевидно, соответственно своим провокаторским планам, отменяет именем ЦК эсеров выступление офицерского союза. Замечательно и то, что при этом Азеф обнаруживает прекрасное понимание силы авторитета партийной организации и дает автору блестящий урок политического смысла той организованной борьбы, которую ведут партии. Второй разговор (стр. 406 и следующие) происходит, когда Азеф загорается идеей создания широкой организации «классовой войны». Очевидно, с тем, чтобы потом провалить ее. Но что̀ здесь правда, что̀ чистейший вымысел — неизвестно. Что̀ в этих сценах от документа и что̀ от художественного творчества — установить никому не дано, хотя это и представляет несомненный интерес.

В связи с этими вопросами, возникающими при чтении романа С. Мстиславского «На крови», нельзя не упомянуть о стоящей перед нами серьезной проблеме исторического романа. Для ее разрешения сделано еще очень мало. Мы не имеем или почти не имеем таких художественных произведений, которые могут быть приняты как подсобный материал при ознакомлении с историей революции в России. Между тем при школьном, как и при внешкольном, преподавании чувствуется огромная потребность в образ-

ном, живом, художественном, конкретном и вместе с тем исторически достоверном изложении событий революционного и общественного движений. Как на образец такого творчества можно указать на роман «Кюхля» Ю. Тынянова, безукоризненный по своей художественной форме и почти целиком базирующийся на документальных данных эпохи декабристов.

Да и в самом романе «На крови» есть недурные образцы такого использования документов. Таков, напр., рассказ о случайном посещении автором квартиры, где произошел небольшой, но трагический взрыв (стр. 316). Квартира описана на основе официального обвинительного акта, приведенного в воспоминаниях Савинкова. Такие образцы в романе «На крови» показывают, что автор его мог сделать больше того, что он дал, если бы он более ответственно отнесся к своим писаниям и твердо и определенно стал на какую-либо одну дорогу — либо подлинного «романа о своей жизни», либо художественного произведения, отображающего эпоху революции 1905 г., — а не старался бы незаметно для читателя пройти по обеим этим «тропам» одновременно.

Быть может, это избавило бы его также от многих идеологических вывихов и выкрутасов сверх, индивидуалиста, которыми изобилует роман и на которых нельзя не остановиться. В сущности говоря, трудно рассматривать, как идеологические позиции, те индивидуалистические позы, которые принимает герой романа по отношению к революции. На страницах романа он рисуется как некий былинный герой, который стоит вне партий, вне коллективной воли масс, стоит около революции, почти что над ней и мог бы решать ее судьбы лучше, чем партии, организации, советы депутатов и т. д.

«А ты не думаешь, — говорит он в «душевной» беседе своему товарищу по работе, Даше, — что вся суть революции в том, чтобы научить людей одиночеству?..»

Очевидно, он уже научился одиночеству. Он один возвышается над всем, видит ошибки в слишком «логичной» политике совета депутатов, из-за которой «ставка проиграна» (стр. 222). Он один трезвый среди — «кто чем» — пьяных участников казни Гапона (стр. 290), он один живой «среди застылых мертвецов, держащих смерть на туго натянутой ременной своре», т. е. среди участников покушения на Дубасова. Он противопоставляет себя партии, в которой работает, и ее центральному комитету. Он не укладывается даже в весьма просторные рамки эсеровской организационной и программной дисциплины.

Вместе с тем, он претендует на роль глашатая активности масс и их решающей роли в революции, за что, якобы, находится на подозрении у центрального комитета партии эсеров. Но, чувствующий себя былинным героем, автор мыслит и борьбу масс, так сказать, зоологически. «Опоэтизированная» его воображением масса встает на страницах романа во образе косматой орды («сказка о мокрицах»), выходящей из подземелья и идущей в бой «с одними ножами засапожными». Для автора главная суть массовой борьбы — это ее полная безымянность. «Где всходит имя — нарождаются рабы. Моя сказка — сказка о безымянных». «Без имени» — повторяет он

всем, кому излагает свою концепцию революции. Он очень скупо говорит об этой концепции своим товарищам по работе, но охотно пропускает ее торжественным парадом то перед идеологом аристократического фехтования — «маэстро» Ригельманом, то перед американским журналистом, то, наконец, и больше всего перед дочерью сановного барона Бреверна, с которой, как он сам заявляет не без некоторого кокетства, ведет занятия, «штудируя бретонцев» и беседуя «о средневековьи, о бардах, об оккультном в их поэзии»... Именно ей, Магде Бреверн, излагает автор наиболее полно свою идею революции. Идея эта туманна. Она состоит из расплывчатой «были о борьбе» новых людей. Новых, видите ли, только «потому, что новым, никогда еще в веках не бывалым будет у них чувство жизни от радостно и спокойно пролитой великой крови... Они будут строить жизнь не так, как раньше, не так, как теперь, не так, как в утопиях социалистов... Каждый будет строить сам, прямо перед собой, от себя, из себя»... И среди безымянных, идущих на смерть, в огонь, он, автор, идет «сквозь огонь» во образе безудержного героя, «опоясанного сталью».

Безымянность массы звучит в устах автора, как синоним, как апология анархического бунта. Не случайно рабочая масса фигурирует в романе почти исключительно в лице возглавляемых автором дружинников, набранных из самых отсталых слоев рабочего класса, близко стоящих к анархизму или легко впадающих в люмпенпролетарские настроения. Они из широкой «серой массы», как пишет сам автор (стр. 277), причем ставит слово «серая» в кавычки, подчеркивая этим свое ироническое отношение к такому определению. Они не доверяют даже партийной интеллигенции, они сторонятся партий вообще, они не признают уничтожения частной собственности. «По-нашему, это господский параграф: пролетарию глаз отвести, чтоб он на господскую собственность не зарился» (стр. 57). На предложение поддержать Свеаборгское восстание они уклончиво отвечают: «Мы — за свое, они — за свое... Меня по шее били — они, небось, не чесались...». И при первых толчках реакции они, конечно, скатываются в ряды совершающих «эксы» для раздачи каждому участнику его доли.

Недалеко от них ушел и автор. По поводу убийства вице-губернатора Юренича автор говорит членам ЦК: «Приговорить может только тот, кто лично своею рукою выполняет приговор». Этот мотив не раз проскальзывает на страницах романа. Даже вопросы выступления организаций, в которых автор пользуется влиянием, он хотел бы решать сам. Ворча, он подчиняется решению об отмене выступления офицерского союза. «Мы пойдем — нам и решать», — думает он по этому поводу. И руководимый им союз дружинников он готов бросить в бой также по своему усмотрению.

Так оно, в сущности, и полагается сверх'индивидуалисту даже тогда, когда он служит революции и, якобы, массам. Но и служение революции у него особое. Суть этого служения иная, не обычная. Она вся в мистическом значении крови. И здесь, наконец, после всего вышесказанного, мы можем подойти к другому основному психологическому стержню романа, на который нанизывается и сверх'индивидуализм автора, и его исключительная «ра-

ционалистическая романтика позы» (которую только и увидел Ульрих), и легкое обращение автора с историей, и «творимая легенда» его жизни и т. д. Для С. Мстиславского революционная борьба, вооруженные восстания, а в частности и в особенности террор — это некое **самодовлеющее служение какому-то мистическому культу крови**. «Революция зовет на кровь» (стр. 81) — это главное и основное, что видит автор в ожесточенной политической и классовой борьбе. Так надо понимать и название романа «На крови». Культ крови — вот что прежде всего увидел автор в революции. Кровь сама по себе — это для него какая-то особая социальная и моральная категория. Необходимость устранения личных симпатий он признает «в политике... к сожалению. Но не на крови» (стр. 400). «Право на кровь передоверить нельзя» (стр. 104). «Пройти через кровь», «ступить на кровь», «увидеть кровь» и т. д. — это значит для него стать в какие-то особые, внеклассовые рамки. Одинаково благоговейно звучат в устах дворянина-черносотенца слова: «митрополит Антоний благословил нас на кровь» и в устах дружинника-рабочего о том, что Гапон «пастырское благословение на кровь дал»... После революции люди будут новые «от радостно и спокойно пролитой великой крови». Организацию, решившую выступить только в случае приказа центра, «на кровь вести, так — нельзя».

И все действующие лица романа — от восставших московских рабочих и петербургских дружинников до аристократки Магды Бреверн, — когда говорят о непосредственных физических битвах в революции, впадают в какой-то мистический, «елейно-кровавый» тон. Особенно подвержен этому тону сам автор. Каждое упоминание о крови, вид ее, описываемый в тонких, до ненужности, нюансах, вызывает у него особое настроение, полное взволнованной проникновенности и таинства.

Вообще мистики в романе немало. Тут и нищие слепцы, многозначительно шагающие с символическим песнопением прямо на массовку в лесу. Тут и неведомая, навсегда неразгаданная женщина, таинственно предупреждающая автора, идущего на террористический акт, о какой-то непонятной измене. Тут и беспричинная, для самого автора непонятная, задержка в Москве, которая приводит к предуказанному судьбой его участию в покушении на Дубасова. Тут масса самых разнообразных, таинственных совпадений и случайностей, тут и «муть в душе», которая решает вопрос об убийстве Николая II. А уж о поголовных мистических «чувствиях» действующих лиц в отношении жизни и смерти и говорить не приходится.

Но когда автор «пугает», читателю большею частью совсем «не страшно», ибо эти кровавые и иные таинства носят сплошь и рядом явную печать нарочитого эффекта. В связи с этим напрашиваются в заключение еще некоторые замечания, главным образом, литературного свойства. В романе есть немало сцен и лиц, сделанных ярко, полных красок и духа эпохи. Таковы «мушкетеры» — офицеры из золотой молодежи, среди которых проходит и официальная сторона бытия автора, таковы сцены в цар[illegible]ом дворце, в карауле и в залах во время прохода Николая II, сцена порки солдата во дворе казармы, «конституционный канкан» в кабаке в ознаменование

октябрьского манифеста. Интересно и живо даны образы артистки Яворской, офицера Карпинского, барона Бреверна и др. И надо сказать, что, несмотря на, якобы, бесстрастное отношение автора к своему двуединому бытию, которому дана правильная оценка в послесловии, он находит лучшие тона и более теплые краски для изображения «большого света», чем для подполья и революции. Подчас, пожалуй, даже слишком хорошие, как, напр., для изображения офицерства 900-х годов, у которого, как известно, сильно выветрилась либеральная традиция офицеров прежних десятилетий, презрительно относившихся к жандармам. Офицерство эпохи 1905 г. покорно, а часто и с воодушевлением несло полицейскую службу и отнюдь не чуждалось жандармов.

Случается, что погоня за театральщиной не раз путает у автора картину значимости того или иного факта или события. Так, остается непонятным, хотел автор убить Юренича из мести за порку крестьян, или это убийство совершилось в результате озорства полупьяной куртизанки и легко облеклось в форму террористического акта благодаря хитрости дошлого офицеришки? Неприятен также тот тон мужской неотразимости, в который впадает автор всякий раз, когда говорит о женщине, будь то революционерка или дама света.

Но это мелочи, и не они решают вопрос о характере и значении романа «На крови». Основное — в ничем не оправданном искажении истории и в той кровавой мистике, которой пропитаны в изображении автора дела и люди большой революционной эпохи.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

М. Волконская. Симфония. Изд. «Круг».

Это — страницы семейной хроники, как говорит сам автор в подзаголовке книги — история среднего дворянского рода от 1816 года до эпохи Александра II. Сейчас существует большой спрос на мемуарную литературу. Автор использует, как литературный прием, эту мемуарную форму, ведя отдельные главы то как записки действующих лиц, то как записи рассказов их крепостных. Жизнь крепостной эпохи встает перед читателем живо и отчетливо.

Но в этой книге есть одна специфическая черта, — она дает женскую линию рода и все повествование ведет от лица женщин — барынь и крепостных, так сказать с женской точки зрения. И вот тут раскрывается социальная значимость этой книги — она делается ужасающим документом узости кругозора провинциальной русской женщины той эпохи. Такие явления, как декабристы, как Пушкин, прошли мимо нее бесследно и незаметно. Обо всем большом, что волновало верхи русского общества, нет ни слова, есть только узкий семейный круг, стихийная ненависть ко всякому проявлению культуры. Эти женщины нехотя рожают десятки детей, не заботятся об их воспитании, сплетничают, наряжаются и не имеют ни любви, ни разума. Естественным финалом этой «Симфонии» является брак Ольги Александровны с гниющей развалиной, подполковником Ждан-Миколай-Юнас. «Он был старше ее на 14 лет, носил какие-то особенные очки. Глаза его формой напоминали конусы — такие были выпуклые. Длинные, гнилые зубы нижней челюсти находили на черные корешки зубов верхней». Последних отпрысков таких «счастливых» браков мы видели уже не в книге Волконской, а в жизни предреволюционной России, в лице дегенеративных потомков русских дворянских родов. Книга М. Волконской написана с мастерством и читается с большим интересом.

Михаил Павлов.

К. Тренев. Собрание сочинений, т. I. Владыка. Зиф. М. — Л. 1928 г. Ц. 2 р. 85 к.

Несмотря на то, что рассказы, вошедшие в первый том собрания сочинений Тренева, имеют большую для нашего времени давность (они написаны в 1902—1914 гг.), напомнить о них читателю не лишне. В некоторых рассказах Тренев — до известной степени областник — уроженец Дона: он знает и любит описывать донские степи. «В станице», «На ярмарке», «Шесть недель» являются скорее очерками жизни донского крестьянства; единой темы в них нет — есть лишь ряд бытовых зарисовок, сделанных рукой внимательного и умного наблюдателя.

Рассказы, имеющие определенную тему — «Самсон Глечик», «Владыка», «Затерянная криница», гораздо значительнее этих очерков. «Владыка» и «Затерянная криница» связаны тематически — в обоих рассказах автор касается вопросов религии. Постановка вопроса в обоих случаях исключительно умна и глубока: владыка — архиерей — добр, он аскет и бессребренник, но самое место церкви и религии в системе общества делает его душителем и убийцей всего живого. Самое чистое и бескорыстное служение небу отрывает его от жизни, от человеческой правды, делает его орудием притеснения.

Возможность кризиса религиозного сознания и потери веры у архиерея, может быть, психологически и не вполне оправдана, во всяком случае владыка Тренева является редким исключением, — но глу-

бокая и верная мысль автора выражена четко, попутные зарисовки быта духовенства — свежи и ярки.

Еще острее проводит автор мысль о том, что религия отрывает от жизни, сковывает волю к действию в рассказе «Затерянная криница». Пока крестьяне степного хутора верили в прекрасное сказание о затерянной, святой кринице, которая спасет их от неурожая, они терпели и голод и издевательства черкесов, приставленных сторожить помещичьи земли. Как только вера иссякла, в них проснулось чувство человеческой справедливости, они решили сами добывать свою долю и пошли громить именье. «И земля, не дождавшись от неба дождевых туч, подняла к нему горячие черные тучи, и заволокли они голубое небо и заслонили собою от кровожадного солнца хутор и мужицкие нивы» (стр. 226).

«Самсон Глечик» — история учителя-доносчика, занятого уловлением крамолы в захолустном городке. Дело происходит в эпоху реакции после 1905 года, — обыватели запуганы, и Глечик царит полновластно. Но в училище назначают нового преподавателя — попа Моисея, который оказывается еще более талантливым доносчиком, чем Глечик. Слава учителя меркнет, Моисей прибирает его к рукам, Глечик, доведенный до бешенства, мажет попу ворота дегтем. И, когда Глечика, пойманного с поличным, тащат через площадь городовые, — этот уловитель крамолы упирается и кричит: «Протокол составляйте, а лишать свободы личности не имеете права! Опричники!» (стр. 159). Этим замечательным психологическим штрихом кончается мастерской рассказ Тренева.

Одним из достоинств К. А. Тренева является прекрасный русский язык.

К книге приложены автобиография Тренева и интересный анализ его творчества, сделанный И. Кубиковым.

Евг. Книпович.

Саркис Асрибекян. Жизнь. Роман. Зиф. Москва 1928 г. Стр. 278.

По замыслу автора, «Жизнь» должна быть эпопеей, охватывающей первое двадцатилетие нашего века.

На фоне событий общественных и политических (1905 год, эпоха реакции, империалистическая война, Февральская и Октябрьская революции) автор хотел показать судьбу четырех обитателей одного двора.

В детстве они играют вместе, но впоследствии пути их расходятся, так как Ляля — дочь заводчика, Володя — сын врача, Верочка — дочь старшего мастера на заводе, Степа — сын дворника.

Замысел как будто обещал быть интересным, но, к сожалению, этого обещания автор не выполнил. Личная судьба героев строится трафаретно и схематично, о событиях общественных автор повествует языком плохой газетной передовицы. «Счастие было только один день. Только один день рабы гордо подняли головы и свободно вздохнули. Победа оказалась мнимой. Самодержавие убаюкало рабочих» и т. д. (стр. 131). Все это, конечно, справедливо, но неужели для того, чтобы рассказать о 1905 годе, у автора не нашлось более ярких и живых слов?

Примерно так же рассказывает он и об империалистической войне, и о революции. На фоне безжизненного и вялого описания событий каждый из героев так же бесцветно выполняет предназначенное ему автором дело. Буржуазия, в лице Ляли, добросовестно разлагается, интеллигент Володя колеблется и предает; Верочка, дочь мастера, — через личное разочарование в муже меньшевике приходит к большевизму, рабочий большевик Степа ведет подпольную работу, которая, кстати сказать, автором почти не показана.

Все отрицательные типы «Жизни» непомерно черны, все положительные — непомерно добродетельны.

Нигде не видно человеческого лица, не слышно живого голоса. Вся эпопея втиснута в 270 страниц, материал скомкан. Живого конкретного изображения эпохи нет, язык вял и бесцветен. И художественная и историческая ценность книги — очень невелика.

Евг. Книпович.

С. Решетов. К новой жизни. Повесть. Изд. «Мол. гвардия». Стр. 242. 1928 г. Ц. 1 р. 80 к.

Повесть Решетова принадлежит к жанру «историко-революционной беллетристики».

Читая эту книгу, невольно вспоминаешь о сходных по теме произведениях Бибика («К широкой дороге» и «На черной полосе»), Бессалько («Кузьма Даров»), Васильченко («Карьера подпольщика»), Ляшко («С отарой») и др.

Все эти произведения, как и повесть Решетова, рисуют жизненный путь рабочего-революционера.

По сравнению с перечисленными произведениями повесть имеет свои слабые и свои сильные особенности. До сих пор наша историко-революционная беллетристика заостряла обычно художественное произведение на показе личности своего героя и слабо, вскользь, мимоходом, неполно освещала быт и психологию окружающей рабочего-революционера пролетарской и полупролетарской среды.

Повесть Решетова отличается от этих произведений тем, что автору не удался углубленный показ личности своего главного героя — Алексея Ергунова. В начале повести (когда описывается детство Леньки) этого недостатка нет: перед нами живая фигура пролетарского ребенка с богатым и порой причудливым узором настроений, радостей и страданий, мечтаний и дум. Однако в дальнейшем развитии повести фигура Алексея теряет свою выпуклость. Такие моменты в жизни Алексея, как потеря им веры в бога, отчуждение от родителей, превращение из рабочего в профессионального революционера, разрыв со своей первой духовной руководительницей — интеллигенткой — освещены автором слишком внешне, без углубления в переживания своего героя.

В произведениях Бибика и Бессалько каждый подобный жизненный перевал вызывал у рабочего-революционера целую трагедию, становившуюся порой трагедией всей жизни. Герои Бибика и Бессалько всю свою жизнь переживали мучительное неудовлетворение от медленности роста классового самосознания в рабочей среде и потери веры в идеализированных ими интеллигентов. Герой повести Решетова тоже сталкивается со всеми этими типичными для рабочего-революционера коллизиями, но он легко, почти без колебаний и мучений, переживает их.

Главным достоинством повести надо признать прекрасное изображение рабочего быта 900-х годов. В этой области Решетов обнаруживает талант большого художника. Показ рабочей среды ему удается лучше, чем что-либо иное.

В начале повести мы видим пролетарские слои, не выкристаллизовавшиеся еще из окружающей их мелкобуржуазной среды. Это текстильщики — выходцы из деревни, связанные с миром полунищего ремесленничества, мечтающие о том, чтобы выбиться в хозяйчики. Жизнь и работа, думы и дела этой широкой рабочей массы показаны Решетовым очень ярко. Не менее рельефно изображен повседневный быт верхнего слоя пролетариата — рабочих типографов, в среде которых Ергунов провел свою молодость. С такой изумительной яркостью предреволюционный рабочий быт показан лишь в очень немногих художественных произведениях.

А. Бек.

С. Г. Адамс. Разгул. Перевод с 9-го американского издания С. Г. Займовского. Госиздат. 1928 г. Стр. 312. Ц. 1 р. 75 к.

Американский буржуа не любит ни во что вдумываться. Темп всей окружающей жизни неудержимо подхлестывает американского буржуа. Как в политике, так и в области искусства и науки,— повсюду «бизнес». Останавливаться, задерживаться на одном месте, на одной мысли, на одном факте — слишком большая роскошь. Надо спешить. Время — доллар! Каждый должен перегонять или убирать с дороги впереди идущего. В противном случае он уберет тебя. Каждый должен во-время и быстро уметь протягивать руки к доллару, или он будет вырван из золотого потока более проворным и менее щепетильным соседом.

«Стопроцентный» американский буржуа не любит и не знает хорошей музыки, действительного театрального искусства, серьезного чтения... Во всех случаях свободного от погони за долларом времени он с животным самодовольством остается вполне удовлетворенным джаз-бандом, пошлым фильмом, где он же выставляется примером культурности и благополучия

современного общества. Хорошая порция крепкого алкоголя, партия в поккер и, наконец, очередная романическая или уголовная сенсация любимой желтой газетки — и американский буржуа на верху блаженства. Если же на него находит «серьезный» стих, то на любой из станций подземной железной дороги к его услугам толстый журнал, напичканный доотказа глупейшими бытовыми повестушками и сенсационными сообщениями излюбленного романического или уголовного содержания.

Книга в САСШ массового спроса не имеет. Вот почему Нью-Йорк, напр., по словам Я. Дорфмана поражает европейца отсутствием книжных магазинов. Лишь «в центре города имеется несколько больших книжных магазинов, где выставлены превосходно изданные, серьезные, хорошие книги. Но тираж их чрезвычайно мал... Дешевых популярных изданий... здесь почти что нет» [1]). Книгу не любят, и интереса к ней ни в школах, ни в университетах буржуазия совершенно сознательно не воспитывает. На успех, на массовый спрос может рассчитывать только произведение, непосредственно связанное с какой-либо исключительно скандальной даже для американца сенсацией. Успех усиливается, если автор удачно свою «историю» переплетает с романическими похождениями героя. Слащавый романчик приводит американца в лирически сантиментальное состояние. Это круг ощущений, далеко выходящий за обычные нормы повседневной деловой жизни. Это круг тех ощущений, которые возбуждают любопытство. Они дают простор его «высоким» человеческим порывам к «красоте», «благородству» — всему тому, что без остатка загнано господином Долларом в самые отдаленные уголки человеческого интеллекта.

Все это С. Адамсом — не без таланта и с большим знанием психики американской буржуазии — дано в «Разгуле», обеспечив его книге исключительный успех и множество изданий. Русский перевод книги сделан с девятого американского издания!

---

[1]) Я. Дорфман, В стране рекордных чисел, стр. 49.

Действующими лицами разгула спекуляций нефтеносными участками страны является банда правительственных чиновников, миллионеров и просто-напросто проходимцев. Банду возглавляет сам президент САСШ — Гардинг, посаженный на президентское место Рокфеллером и Морганом в целях использования гардинговской администрации для наживы Standart Oil C° и Стального треста. В романе оба треста играют далеко не главную роль.

С точки зрения художественного оформления и стиля «Разгул» — произведение сравнительно невысокого качества; к тому же своеобразный язык действующих лиц у С. Адамса не удается переводчику, что снижает для русского читателя художественную ценность романа. Интерес и значение романа С. Адамса лежат в другой области — общественно-политической.

Роман, как мы уже говорили, не дает социально-экономических обобщений и не вскрывает социально-экономических причин морального разложения американской буржуазии. Не вскрывает он и тех механизмов, с помощью которых господствующему классу удается оставаться таким могущественным. Автор повествует о фактах, как явлениях эпизодических.

«Разгул» написан в стиле очередной уголовной скандальной сенсации, до которой так падка американская улица. В меру американских аппетитов дана и сладенькая любовь господина президента к некой Эдифи Вестерфельд. Героиня, конечно, богата, конечно, настоящая сиятельная графиня, конечно, — даже не любя господина президента, — весьма симпатически относится к роли госпожи президентши. А в недалеком прошлом очаровательная Эдифь имела возможность «оказать могущественное и интимное — очень интимное — влияние на тайную дипломатию большой европейской державы» (стр. 57).

Но эти черты и сделали роман столь ходким в Америке. Цель автора — предать широкой гласности грабежи гардинговской банды — оказалась достигнутой.

Вымышленность имен действующих лиц, вплетение в политические разоблачения «лирических» похождений героев, некоторые отступления от подлинной картины данного грабежа — помогли автору

избежать преследований за клевету, хотя попытки таких преследований и были вскоре же после выхода романа в свет. Ведь в «свободной» и «демократической» Америке государственные чиновники, парламент, судьи, юристы, почти вся пресса, республиканская и демократическая и «социалистическая» партии, церковь, сонмы чиновников профсоюзов находятся в полном подчинении трестовского капитала. В любой момент весь этот «механизм» с американской быстротой приводится в движение, и смельчак получает заслуженную кару.

Все же «на добрых девяносто процентов сообщаемые в «Разгуле» факты соответствуют», — как говорит в своем интересном предисловии к русскому изданию т. Босс, — «истине и могут быть подтверждены документами сенатских следственных комиссий и архивами нью-йоркского «Таймса».

Не достающие десять процентов истины с исчерпывающей полнотой дает русскому читателю А. Босс. Он сообщает факты, о которых С. Адамс — по тем или другим причинам — не говорит. Он называет и подлинные имена и места описанного в романе политического скандала, являющегося одним из многих.

В центре романа — президент САСШ — Гардинг (по роману — Вилли Маркгам). Карьера Гардинга буквально феерична. Он, небольшой провинциальный и не блещущий талантами журналист, в 1914 г. — на деньги нефтяных магнатов — «избирается» в сенат. В 1917 г. Гардинг — ярый сторонник вмешательства Америки в империалистическую войну, — спекулируя на популярность среди фермерского мещанства, выступает против контроля государства над продовольственными запасами. В 1920 году он достигает вершины славы и выдвигается республиканской партией кандидатом в президенты. На деньги Стандарт-Ойль-компани и Стального треста Гардинг получает на выборах большинство, питая надежды использовать полностью не только первый шестигодичный срок «службы отечеству», но и второй. Этой мечте Гардинга сбыться, однако, не удалось, хотя счастливая звезда не оставила его до самой смерти. Он умирает накануне предания гласности его спекуляций с нефтью, грабежей и взяточничества всего его кабинета. А кабинет этот весьма колоритен. Когда он собирается в полном составе, то позволяет С. Адамсу дать ему такую характеристику: «Министр Делишек, министр Помилований, Генеральный Спиртонос, министр Продажи Должностей, министр Судебных Гешефтов, Генеральный Взяткоимец, министр Общественного Здравия и Частного Обогащения... и Генеральный Раздатчик местечек (Маркгам - Гардинг. *Л. П.*) и, наконец, фактический Генеральный Прокурор — Дэн Леркок» (стр. 51).

Гардинг-Маркгам, «стопроцентный» американец, стандартизован как фордовский автомобиль.

«Он заседал в трех самых продажных законодательных собраниях, какие когда-либо грабили Штат, играл в руку своей партии, был закадычным другом всех взяточников, поддерживал их мероприятия» (стр. 78).

На пост президента, кроме Гардинга, было еще два претендента. «Воротилы из Нью-Йорка требовали гарантий насчет поста министра финансов, а нефтяной и горный комбинаты требовали портфели внутренних дел. Сторонники трезвости хотели одного, сторонники вольной продажи спиртных напитков — другого» (стр. 82).

Но так как наилучший ассортимент купленных делегатов и деньги имелись у нефтяников, то решили вопрос именно они. Нефтяники предпочли остановить свой выбор на наиболее покладистом кандидате, обладавшем к тому же соответствующей импозантной наружностью, что в «демократической» республике играет далеко не последнюю роль. Скромность, отсутствие больших претензий, полная и беспрекословная готовность служить Моргану и Рокфеллеру решили судьбу Гардинга.

Но за Гардингом-Маркгамом было и еще одно преимущество. Он оказался относительно популярен на фермерском Западе. 1919 и 1920 годы для Америки являются кризисными. Вместе с тем они идут под знаком широкой волны пролетаризации фермеров и обусловленного ею роста недовольства со стороны фермеров обеими буржуазными партиями. Канди-

датура Гардинга вносила некоторое умиротворение в среду фермеров. Такое положение трестовскому капиталу было в ту пору особенно выгодно. К сожалению, обо всем этом в романе сказано всего лишь несколько фраз. Не восполняет пробела и предисловие.

В общем С. Адамсом Гардинг-Маркгам дан слишком сдержанно.

Например, буквально вдохновенную недогадливость проявляет президент, когда его грошевое имение «обменивается» президентской бандой с помощью отряда морской пехоты на участок, вскоре «вдруг» оказавшийся богатым нефтью и начавший приносить звонкие доллары.

Здесь налицо слишком уж благодушная зарисовка Гардинга. На самом деле он, как мы знаем, удачно спекулировал на бирже нефтяными акциями на многие сотни тысяч долларов. Он же «продал» свою газету «Стар» за 550 тысяч долларов, хотя, — говорит А. Босс, — «газета не стоила и половины этой суммы». Весь Вашингтон шумел о взятке.

Кроме Гардинга С. Адамсом даны зарисовки почти всех виднейших соучастников гардинговской шайки. Министр внутренних дел Альберт Б. Фолл—по роману Анди Ганди, министр здравоохранения, вступивший на пост министра бедняком. Он не уплачивал даже следуемых с него налогов. Но через несколько месяцев Фолл-Анди Ганди покупает себе уже «райнч» за сотни тысяч долларов.

Фолл-Анди Ганди также ничем не брезгует. Но он быстро переходит те формы грабежа, за которыми неизбежно лежит судебное следствие и общественный скандал.

Встречаемся мы в романе и с теперешним министром финансов Америки Мелоном (по роману Макстон). Дан он, правда, не в центре событий. Все же и в этом отношении роман интересен. Мелон — деятельная фигура в гардинговском кабинете, один из трех-четырех богатейших людей Америки, стоящий во главе Алюминиевого треста. Мелон — участник ряда предприятий угольной и железнодорожной промышленности, директор многих банков. Неудивительно, что, став министром, он преуспел в умножении своих богатств. Мелон — один из деятельнейших участников кампании против СССР, один из активнейших вдохновителей недавней попытки задержания французским банком советского золота.

Роман знакомит нас также и со статс-секретарем гардинговского кабинета Юзом (по роману Шельдон), — одним из кандидатов в президенты на предстоящих выборах, секретарем министерства торговли, не безызвестным в СССР Гувером — по роману Коверт. Зло выведен известный американский миллионер Нед-Мак-Лин (по роману Сиг-Мак-Брайд). Он — собственник вашингтонской полуофициальной правительственной газеты «Пост» и многих других, фабрикующих общественное мнение Америки и приносящих огромные барыши их собственнику.

В результате создается яркая портретная галлерея буржуа-дельцов вашингтонской правительственной знати и американской буржуазии вообще.

Л. Полонская.

Ричиотти. Без маски (Голландия, Германия, Англия). Гиз М.-Л. 1928 г. Стр. 232. Ц. 1 р. 50 к.

Небольшая книжка Ричиотти не похожа на обычные очерки наших заграничных путешественников. Проезжая по Европе, наши литераторы обычно замечают только дансинги, бульвары и ревю. Их-то они впоследствии и описывают на радость обывателю. В лучшем случае к традиционной картине «разложения Европы» сообщается и прибавляется краткий экскурс в историю страны, несколько слов о литературе и театре, несколько уличных зарисовок. Ничего этого в книге Ричиотти нет. Он рассказывает о жизни голландских рыбаков, о рыбопромышленных трестах, о кружевницах, об амстердамских гранильщиках драгоценных камней, о германской промышленности, о быте германских рабочих, о красных фронтовиках, о забастовке углекопов, о компартии Англии.

В картинах жизни рыбаков нет романтического быта, «смелых мореплавателей», но зато очень четко показан и повседневный каторжный труд, и жестокая конкуренция, и эксплоатация труда рыбаков рыбопромышленными трестами.

Автор разоблачает и мнимую безмятежность, идилличность труда на цветочных плантациях и в кружевных мастерских.

На благоуханных цветочных плантациях и на огородах Голландии дети работают целыми днями за $3^1/_2$ гульдена в неделю, над шитьем кружев работницы слепнут, и монастырские традиции школ кружевниц разрушаются ячейками комсомола.

Ни слащавой красивости, ни дутой романтики нет в картинах жизни Голландии, но подлинной, живой романтикой звучат строки, посвященные Борису Спинозе, память о котором до сих пор живет среди амстердамских гранильщиков.

Ряд картин, как будто бы друг с другом не связанных, рисует жизнь послевоенной Германии: Кильский канал, гибель морской мощи, Эльбский туннель, жизнь Гамбурга, добродетельное благодушие буржуазной жизни и изнанка этого благополучия — притоны Гамбурга, история возвышения Гуго Стиннеса (блестяще написанная глава «Чортов сын»), страшные картины жизни безработных, заседание совета германских промышленников, «гвардия германского Октября» — красные фронтовики.

Эта мозаика, сделанная умно и умело, прекрасно передает лицо современной Германии.

Главы, посвященные Англии — наименее удачны. Они слишком беглы и общи, в них мало фактов, мало живых штрихов. Исключение представляет глава «Высоко- и просто-квалифицированный», рисующая любопытное расслоение, происходящее среди английских рабочих.

Несмотря на некоторую недоработанность последней части, советский читатель прочтет эту книгу с большим интересом. Она вполне оправдывает свое название. В ней несколькими меткими штрихами действительно нарисовано лицо Европы — «без маски».

Евг. Книпович.

А. Пушкин. Дубровский. С рисунками художника К. И. Лебедева. Изд-во «Крестьянская газета». М. 1928 г. Стр. 128. Цена 25 коп.

«Растет и крепнет наша советская страна, растет и тяга к новой, хорошей книжке. Где взять такую книжку...» и т. д., читаем мы на обложке. Однако мы не решимся назвать это издание «Дубровского» хорошей книжкой, несмотря на то, что оно воспроизводит редакцию, выпущенную Государственным издательством пять лет тому назад. То издание носило ученый характер и сохранило пушкинскую интерпункцию: читателю-неспециалисту будут не совсем понятны пушкинские тире, иногда заменяющие многоточие, а иногда имеющие иное значение и к тому же расставленные непоследовательно. Рисунки довольно плохи; так медведь, к которому подходит с пистолетом Дубровский, — точный портрет кота в сапогах. Еще хуже обстоит с примечаниями, на редкость тупоумными. «Учитель, потушите свечу.— Пуркуа ву туше, пуркуа ву туше?» — закричал Андрей Пафнутьич, спрягая, с грехом пополам, русский глагол т у ш у на французский лад.

Пушкин тут ясно дал понять, что Андрей Пафнутьич спросил француза, почему он тушит свечу. Но анонимный редактор счел своим долгом дать нелепый перевод вопроса: «п о ч е м у в ы т р о г а е т е? (французский глагол toucher). Еще курьезнее другое объяснение слов Пушкина: «она не путалась шелками, подобно любовнице Конрада, которая в любовной рассеянности вышила розу зеленым шелком». Желая объяснить читателю, на что намекает Пушкин, редактор бухнул: Конрад — один из средневековых германских императоров; жил, примерно, с тысячу лет тому назад». Между тем, в истории средневековья, если уже обращаться непременно к нему, известен не один Конрад: одних римско-германских императоров, носивших это имя, было трое, да и всевозможных неимператоров было множество. Дозволительно не знать (это место оставлено без объяснения во всех вышедших до сих пор комментированных изданиях сочинений Пушкина), что автор здесь вспоминает героиню романа поэмы Мицкевича «Конрад Валленрод», возлюбленную Альдону, которая, замечтавшись, вышила розы зеленым, а листочки и ветки красным изобразила, но зачем же без всякой надобности писать вздор и внушать его беззащитному, малообразованному читателю. К подобным многотиражным изданиям, предназначенным для широких масс, нужно относиться особенно осторожно и добросовестно.

Н. Лернер.

Пушкин и его современники. Выпуск XXXVII. Издание Академии наук СССР. Ленинград 1928 г. Стр. 204. Цена 3 руб.

Уже двадцать пять лет издает Академия наук эти сборники, в которых печатаются материалы и исследования. В них принимают участие все наши пушкинисты, и, несомненно, их участие было бы значительнее, если бы сборник выходил чаще и аккуратнее и был объемистее. Каждая его книга содержит много важных и интересных данных, и для пушкиноведения это издание сделало много. Достаточно напомнить, что здесь был опубликован ряд произведений и писем Пушкина, составленный Б. Л. Модзелевским каталог библиотеки поэта; «Дуэль и смерть Пушкина» Щеголева; описание онегинского и майковского вобраний рукописей Пушкина. Первые дыпуски «Пушкина и его современников», вавно разошедшиеся, усердно разыскиваются молодыми «пушкинистами». В новом выпуске, как всегда, многое привлевает внимание читателя. На первом месте надо поставить публикацию Н. В. Измайлова «Роман на Кавказских водах. Невыполненный замысел Пушкина». Это — наброски плана романа, начало которого давно известно («В одно из первых чисел апреля»). Пушкин дальше черновых планов и этого начала не пошел, роман не вполне сложился и созрел в его голове и так же не был завершен, как и «Русский Пелам», эпистолярный роман «Египетские ночи» и целый ряд беллетристических начинаний, вообще из всех попыток после «Онегина» дать широкую картину современной русской жизни Пушкину ни одну не удавалось довести до конца, ни даже обдумать с полной ясностью фабулистическое построение. Разобрав, не без ошибок (говорим на основании личного знакомства с подлинниками), черновые планы кавказского романа, установив, насколько возможно было, их последовательность, старательно их прокомментировав, указав оригиналы некоторых явных портретов, Н. В. Измайлов попытался изложить схему романа. Это ему удалось, хотя и не без натяжки. Например, у Пушкина мы читаем: «Смерть его отца — театральное погребение — Азина начинает с ним кокетничать», а Н. Измайлов выводит: «Похороны производят сильное впечатление на Азину». Можно подумать, что Азина не стала бы кокетничать с героем, если бы его отец не был похоронен. Но нельзя не согласиться с заключением комментатора, что, если бы Пушкин написал затеянный роман, то явился бы в нем предтечей Лермонтова, который взял, ничего не зная о замысле Пушкина, обстановку Кавказских вод, тот же фон, почти ту же ситуацию и ту же завязку, и это, конечно, была не случайность... действующие лица и их реальные прототипы во многом переменились, но центральное лицо осталось тем же, чем было у Пушкина — одним из «героев нашего времени». К этому можно прибавить, что после романа Пушкина «Герой нашего времени» был бы написан совсем иначе. «Органичность» романа Лермонтова выступает теперь особенно реально.

М. Н. Розанов («Пушкин и Данте») останавливается подробно на так называемых «Подражаниях Данту», о которых не говорит, впрочем, ничего нового, и на знаменитых терцинах «В начале жизни школу помню я», причем высказывает вескую мысль, что второй кумир, соблазнявший отрока поэта, лживый, но прекрасный демон — Афродита, и приводит конец наброска, не опубликованный в свое время Анненковым, впервые напечатавшим пьесу, и еще не знакомый читателям (в транскрипции есть кое-какие «предположительные» места, в точности передачи которых нельзя быть вполне уверенным):

Пред ними сам себя я забывал,
В груди младое сердце билось — холод
Бежал ко мне и кудри подымал.
Безвестных наслаждений ранний голод
Меня терзал. Уныние и лень
Меня сковали. Тщетно был я молод.
Средь отроков я молча целый день
Бродил угрюмый, — все кумиры сада
На душу мне свою бросали тень.

Заметим, что в словах «холод бежал по мне и кудри подымал» Пушкин передает некую подробность своей поэтической физиологии: это совершенно «клиническое» описание одной из начальных стадий его творческого процесса; он уже давно изобразил ее в послании Жуковскому, 1818 г.: «быстрый холод вдохновения власы подъемлет на челе» (напрашивается сравнение с душевным состоянием импровизаторов «Египетских ночей», когда он почувствовал «приближение бога»).

Запоздала и не нужна теперь публикация письмеца Пушкина 1 сентября 1827 г. к А. П. Керн (в письме брата и сестры Вульф), так как оно уже напечатано в «Письмах Пушкина», т. II, стр. 43, 260—261). Не совсем ново и письмо Пушкина 20 октября 1836 г. к отцу (начало его было помещено в брошюре М. Д. Беляева и А. А. Платонова «Последняя квартира Пушкина», М. 1927, стр. 2, а все оно в русском переводе в газете «Читатель и писатель» 1928 г., № 4—5).

Ничего нового не дает длинная статья Ю. Г. Оксмана «Легенда о стихах Ленского», что эти стихи («Придет ужасный миг...» и «Надеждой сладостной младенчески дыша...») вовсе не связаны с Ленским, а представляют личную лирику самого Пушкина, показал П. О. Морозов в III томе акад. издания сочинений Пушкина (1912 г.); правильное мнение это принял Брюсов (в 1 части I тома своего издания сочинений Пушкина, 1920 г. Ю. Оксман ничего существенного не прибавляет к доводам Морозова, а опубликованные им цензурные документы, относящиеся к мнимым стихам Ленского, тоже вполне подтвердили то, что сообщил Анненков об отношении к ним николаевской цензуры.

П. Беляев и П. Рейнбот занялись историей двух старинных известных бюстов Пушкина, авторов которых раньше часто смешивали, и определили (тут же помещены снимки), какой из них работы И. П. Витали и какой сделан С. И. Гольдбергом. Установили они авторов обоих бюстов правильно, но это давно уже было указано П. А. Ефремовым в его третьем изд. сочинений Пушкина (т. VIII, 1903 г., стр. 372—373); изображение гольдберговского бюста с точным наименованием автора было помещено в книге «100-летний юбилей Александровского бывшего Царскосельского лицея», сост. А. А. Рубец, Спб. 1912 г., стр. 17.

В. Вересаев в заметке «Таврическая звезда» пытается решить или, по крайней мере, по-новому поставить задачу «с двумя неизвестными» о той «печальной звезде», которую некая близкая сердцу поэта девушка искала на небе «и именем своим подругам называла». Кто была эта девушка? Какое это светило? Пушкин дает довольно сбивчивые астрономические сведения об этой звезде, «слабый свет которой», однако, «осеребрил увядшие равнины», и дремлющий залив, и черных скал вершины». В. Вересаев находит, что эта звезда — Юпитер и что решение загадки стиха «именем своим подругам называла» нужно искать среди названий Юпитера. Мы думаем, что искать вовсе не нужно, хотя бы потому, что неизвестная нам особа не себя называла именем звезды, а ее звала своим именем, а в этом отношении, как и во многих других, «сердцу девы нет закона».

Некоторый интерес для биографии Пушкина представляет неизвестное раньше отысканное А. А. Сиверсом письмо графа М. С. Воронцова от 6 марта 1824 г. из Одессы к П. Д. Киселеву с весьма недоброжелательным отзывом о Пушкине. Это самый ранний из известных нам отзывов Воронцова о поэте. Он ярко рисует раздражение Воронцова. Начальник Пушкина признает, что поэт «теперь очень благоразумен и сдержан», и тут же прибавляет: «будь иначе, я отослал бы его и лично был бы этому очень рад, потому что не люблю его манер и не особенно восторгаюсь его талантом»... В своих объяснениях, несостоятельных и совершенно лишних, А. А. Сиверс старается смягчить вину Воронцова и, между прочим, находит, что «отзыв Воронцова о Пушкине, данный в частном (?), дружеском письме, все-таки менее резок и менее обиден, чем эпиграммы Пушкина на Воронцова, предназначавшиеся для широкой публики». Однако Сиверсу едва ли известно, какие именно эпиграммы на Воронцова и когда пустил в публику Пушкин, а, кроме того, он вовсе не заметил, что письмо Воронцова, обращенное к сановнику, который стоял близко к царю, не содержит никаких подробностей частной жизни и все посвящено служебным интересам. Мало того, Сиверс не понял ни начала, ни конца письма. В начале Воронцов просит генерал-адъютанта Киселева передать царю письмо, тут же препровождаемое, а в конце, изложив своему корреспонденту разные служебные дела и, между прочим, свой взгляд на Пушкина, прибавляет, что обратился к Киселеву потому, что надеялся таким образом избавить царя от скуч-

ной обязанности распорядиться об ответе. «Скажу вам кое-что о содержании этого письма» (т. е. к царю), — говорит Воронцов. Значит в обоих письмах к Киселеву и к Александру I Воронцов сообщал одно и то же и писал царю, между прочим, и о Пушкине. При таких условиях смешно оправдывать Воронцова, да и вообще, сравнивая обоих противников, нельзя забывать неравенство их сил и неодинаковость приемов, которые они употребляли в борьбе. Следует принять во внимание и то, что Пушкин, ведь, не мог представить генерал-губернатора к высылке, а Воронцов мог это сделать с Пушкиным и действительно сделал, и уже во всяком случае эпиграммы несравненно более почтенное оружие, чем доносы (нам известны уж три жалобы Воронцова на Пушкина, и ни в одной из них нет никаких фактов).

Весьма занимательны сообщенные А. А. Достоевским простодушные воспоминания К. И. Савостьянова о его встречах с Пушкиным, о том, как в 1829 г. тифлисская образованная молодежь чествовала Пушкина и украсила кудри «русского Тассо» венком из цветов. Пушкин со слезами на глазах благодарил своих кавказских почитателей. «Я не помню дня, в который я был бы веселее нынешнего. Я вижу, как меня любят, понимают и ценят, — и как это делает меня счастливым».

Наконец, есть и кое-что ценное в наблюдениях Д. П. Якубовича над «Повестями Белкина».

Н. Лернер.

В. Евгеньев-Максимов. Очерки по истории социалистической журналистики в России XIX века. Гиз. 1927. Стр. 268. Тир. 10 000. Ц. 2 р. 25 к.

«Очерки» составлялись, главным образом, из переработанных материалов статей, помещавшихся автором в различных журналах как дореволюционной эпохи («Голос минувшего», «Заветы», «Русское богатство», «Русские записки», «Северные записки»), так и нашего времени («Былое», «Книга и революция», «Звезда»). Но некоторая часть материалов появляется в печати впервые, особенно в первом и третьем разделах книги.

Книга состоит из четырех разделов. Первый трактует о проблесках социалистической мысли в журналистике 40-х годов (отчасти и 30-х). Здесь говорится о кружке Герцена-Огарева, о Белинском (но о кружке Станкевича-Бакунина, из которого Белинский вышел, почему-то вовсе не упоминается), о петрашевцах, о Салтыкове, В. Майкове и В. Милютине, о первых шагах некрасовского «Современника» и т. д. В этом разделе имеется немало неизвестного широкой публике материала, в частности выдержек из статей В. Милютина, которого мы вправе в известной мере рассматривать как предшественника Н. Г. Чернышевского. Любопытно, что первые же, слабые и заглушенные, отголоски европейского социализма в России вызвали деятельность добровольцев-охранников, в том числе пресловутого Булгарина, который в своем доносе 1846 года (напечатан у Лемке в «Николаевских жандармах») дает социологическую характеристику элементов, входивших в революционно настроенную категорию разночинцев: «Разорившееся и развратное (читай: крамольное. *Ю. С.*) дворянство, безрассудное юношество и огромный класс, ежедневно умножающийся, людей, которым нечего терять, и в перевороте есть надежда получить все, — кантонисты, семинаристы, дети бедных чиновников и пр. и пр.».

Второй раздел посвящен «нигилистической» журналистике 60-х годов, но говорит только о «Современнике», не касаясь «Русского слова», «Искры» и пр. Третий раздел о народнической журналистике 70—80-х годов опять-таки трактует лишь об «Отечественных записках», правда, важнейшем из журналов этой категории, но далеко не единственном. Ничего не сказано о «Слове», «Деле», «Современном обозрении», «Знании» и т. д. Здесь в авторе книги сказался биограф Некрасова, специально занимавшийся одной стороной журналистики 60-х и 70-х годов, поскольку она имела отношение к великому поэту. А это превращает его книгу, в которой эти два раздела занимают главное место, в очерки не столько по истории социалистической журналистики, сколько по истории издательско-редакторской деятельности нашего народного поэта. Впро-

чем, и эта сторона представляет большой интерес.

Наконец, четвертый раздел книги отведен марксистской журналистике 90-х годов. Он опять-таки не полон, ибо касается только двух органов легального марксизма, «Нового слова» и «Начала», почти обходя молчанием другие периодические издания марксистского направления («Самарский вестник», «Научное обозрение», «Жизнь» — последние два, правда, менее яркие в этом отношении). Но и в этой ограниченной области изложение автора носит специфический характер, присущий, впрочем, всей рассматриваемой работе. Автор говорит не столько о самих журналах, их содержании, отличительных чертах, общественном значении и пр., сколько о цензурных мероприятиях правительства, направленных к обузданию крамольных изданий. Нужно, однако, прибавить, что по этому несколько специальному вопросу автор сообщает много крайне интересного материала, почерпнутого им из архива главного управления по делам печати. Автор сам, впрочем, признает указанную односторонность своей работы, когда говорит: «Материал, почерпнутый из этих архивов, хотя и важен, но несколько односторонен. Эта односторонность передалась в некоторой мере и нашим очеркам».

Но не только это обстоятельство отразилось на рассматриваемой книге. Дело в том, что автор ее — бывший представитель легального народничества, и большинство статей, легших в основу книги, написано было им для народнических и близких к ним по духу изданий. Поэтому, при всем желании автора быть объективным и всесторонним, подход его к литературным направлениям невольно определяется всей его прошлой школой. Это сказалось не столько в оценках, сколько в выборе материала, в его распределении, в определении относительной важности материалов, имевшихся в его распоряжении, в выделении вопросов, подлежавших освещению в его работе, и пр. В частности, совершенно обойдена борьба марксизма с народничеством и т. п.

Это, однако, ни в какой мере не уменьшает интереса тех данных, какие он счел нужным включить в свою книгу. Особенно любопытны факты, касающиеся отношения царского правительства к марксизму, опасность которого для существовавшего строя слуги самодержавия сразу поняли. В то время как народники уверяли, что русские марксисты отрекаются от революционного наследства и чуть ли не служат делу упрочения существующего порядка, журнал совещания четырех министров, постановивших закрыть «Новое слово» (к которому правительство относилось весьма терпимо, пока он находился в руках народников), правильно оценил значение марксистской пропаганды, когда по поводу названного журнала говорил: «Проповедь коммунизма, осуществимого силою пролетариата, в России может содействовать только пробуждению разрушительных инстинктов, а вследствие сего и самое учение К. Маркса, которому сторонники его стараются придать исключительно теоретическое, академическое значение, на самом деле оказывается революционно-коммунистическим», а потому подлежит искоренению.

И даже когда охранка с целью уловления крамольников основала через своего агента Гуровича новый марксистский журнал «Начало», дух марксизма оказался настолько непереносимым для жандармского обоняния, что журнал, с первой же книжки возбудивший негодование цензурного ведомства, был закрыт уже на пятом месяце. Надо полагать, что попечительное начальство собиралось с помощью журнала вылавливать не только руководящую марксистскую группу, но и читателей и подписчиков его, и этим приходится объяснить допущенную мин. вн. д. низкую подписную плату (на год 9 руб.). Цензура требовала прекращения журнала с первой же книжки, находя, что в нем продолжается «подкапывание под современный строй России во всех отношениях», и что «участники журнала являются злейшими врагами России, стремящимися во что бы то ни стало стереть все, что составляет ее особенность, ее самостоятельность сравнительно с началами западно-европейской жизни». Одно время министр внутренних дел, посвященный в жандармский секрет, оставался глух к требованиям о закрытии журнала. Но, в конце концов, правительство, видимо, пришло к убеждению, что терпеть про-

паганду марксизма с его «верой в царство пролетариата на развалинах веками труда и гения народного выработанного строя», хотя бы и в интересах сыска, невозможно, и журнал был закрыт.

Таково в общем содержание книги Евгеньева-Максимова. Это, конечно, не история и даже не очерки по истории русской социалистической журналистики XIX века. Это лишь материалы для такой истории. Удастся ли автору этой книги превратить ее в такую историю, как он, повидимому, собирается сделать, мы не знаем. Но и в своем теперешнем виде она дает много интересных материалов и с этой стороны заслуживает распространения. Мы, однако, не думаем, чтобы наша читающая публика могла поглотить такой большой тираж, как 10 000, особенно имея в виду некоторую сухость и односторонность книги.

Отметим кстати одну опечатку. На стр. 45 сказано, что записки Бор. Корфа напечатаны в т. III «Русской старины» за 1919 г.; на самом деле они печатались в 1899—1904 гг., а цитируемое здесь на указанной странице место было напечатано в № 3 за 1900 год.

Ю. С.

Народовольцы после 1 марта 1881 года. Сборник статей и материалов, составленный участниками народовольческого движения под редакцией А. В. Якимовой-Диковской, М. Ф. Фроленко, И. И. Попова, Н. И. Ракитникова и В. В. Леоновича-Ангарского. Изд. Всесоюзного Общества политических каторжан и ссыльнопоселенцев. Москва 1928. Стр. 191. Ц. 1 р. 85 к.

Новое издание Общества политических каторжан, представляющее труды кружка народовольцев при названном Обществе, отчасти заполняет пробел, существующий в нашей исторической литературе. Период деятельности «Народной воли» до середины 1881 года и гибели Исполнительного комитета первого состава более или менее освещен в нашей литературе. Зато последующий период, от середины 1881 и до 1887 г., когда партия постепенно сошла на-нет, известен в гораздо меньшей степени. В частности, очень мало освещен до сих пор период после провала Лопатина и почти ничего не известно широкой публике о попытках воссоздания партии «Народной воли» после провала Распорядительной комиссии Лопатина, Сухомлина и Саловой.

Рассматриваемая книга пытается частично заполнить этот пробел. Она состоит из 15 статей и трех приложений, сообщающих ряд совершенно новых материалов, или таких, которые до сих пор были рассеяны в отдельных малодоступных изданиях и оставались неизвестными широким кругам читателей. Из этих статей наиболее важными являются три: 1) М. П. Шебалин — «Петербургская народовольческая организация 1882—1886 гг.»; 2) И. И. Попов — «Революционные организации в Петербурге в 1882—1880 гг.»; 3) А. Н. Шехтер-Минор — «Южно-русская народовольческая организация».

Статья И. И. Попова сообщает много интересных материалов относительно малоисследованного эпизода с нарождением фракции «Молодой Народной воли», которую автор называет даже партией, ее разногласий со старыми деятелями народовольчества, ее попыток изменить партийную программу путем включения в нее аграрного и фабричного террора, а также ее требований ослабить партийную централизацию и придать организации более демократический характер. Кое-что по этому поводу сообщается и в отрывке из неизданной автобиографии М. Р. Гоца, который, впрочем, стоял тогда на периферии и передает лишь слышанное из вторых рук. Отрывочные сведения о «Молодой Народной воле», связанной с именами Н. Флерова и поэта П. Ф. Якубовича, сообщаются и в других очерках рассматриваемой книги.

Еще больший интерес (в смысле новизны материала) представляла бы статья А. Шехтер-Минор, посвященная рассказу о попытках Б. Оржиха воссоздать организацию «Народной воли» в 1884—1885 годах и о созванном для этой цели в Екатеринославе съезде, если бы эта статья была несколько обширнее и полнее. Вообще кружку народовольцев следовало бы обратить внимание на опубликование материалов, относящихся к этому периоду. Насколько мы знаем, ни процесс Таган-

рогской типографии, ни процесс Оржиха до сих пор опубликованы не были. В свое время существовали размноженные на мимеографе краткие отчеты о деле Таганрогской типографии, но о процессе Оржиха не существует, кажется, ничего, Теперь, когда архивы стали доступны, можно было бы эти материалы собрать и напечатать. Кое-какие сведения о провале Оржиха дает в своей заметке М. М. Поляков (уже и раньше писавший об этом в «Голосе минувшего»).

Значительный интерес представляет напечатанная в приложении программа воспоминаний члена Исполнительного комитета «Народной воли» В. С. Лебедева. Самих воспоминаний Лебедев, ставший членом Исполнительного комитета после 1 марта 1881 года, не успел написать, но и в своем нынешнем виде набросанная им программа воспоминаний о московском периоде деятельности Исполнительного комитета с апреля 1881 г. по апрель 1882 г. представляет значительный интерес. Любопытен, в частности, список членов Исполнительного комитета второго состава, приводимый Лебедевым. Здесь, кроме старых членов Исполнительного комитета и нескольких новых, уже называвшихся в литературе, как С. В. Мартынов, В. С. Лебедев, Г. Г. Романенко (впоследствии сподвижник антисемита Крушевана), названы еще В. А. Жебунев, В. Г. Малеванный и А. А. Жебунева.

Можно не согласиться с авторами некоторых заметок, вошедших в рассматриваемую книгу, насчет того, что в период 1881—1884 гг. «Народная воля» была сильнее, чем до первого марта. На самом деле это, конечно, не так. Но чрезвычайно интересно, что уцелевшие народовольцы обратили особое внимание на пропаганду среди рабочих. В этом отношении они за рассматриваемый период сделали действительно немало, особенно по тогдашнему времени. Но ирония истории заключалась в том, что, отдавая значительную, если не главную, часть своих сил пропаганде среди рабочих, эти народники фактически становились на марксистскую почву, говоря и продолжая говорить старой лавровско-бакунинской прозой. На этой почве они иногда соприкасались и даже довольно дружно работали с первыми русскими социал-демократами («благоевцами»). И эта сторона их работы не прошла бесследно, ибо, как известно из воспоминаний социал-демократов, действовавших с конца восьмидесятых годов, в первых марксистских рабочих кружках нередко встречались рабочие, прошедшие народовольческую выучку.

Книга далеко не полностью удовлетворяет естественный интерес к истории партии «Народной воли» после 1881 года. Ее можно рассматривать лишь как начало дальнейших работ, долженствующих заполнить существующий в литературе пробел. Но как первый шаг ее следует безусловно приветствовать, и пожелать кружку народовольцев продолжать начатую им работу по ознакомлению читающей публики с историей второго периода деятельности славной партии.

Ю. С.

Джемс Фрэзер. З о л о т а я в е т в ь. Выпуск I. М а г и я и р е л и г и я. Изд. «Атеист». Москва 1928. Стр. 194. Ц. 2 руб.

Наконец-то появляется на нашем книжном рынке книга, выхода которой на русском языке все давно с нетерпением дожидались. Перед нами лежит первый выпуск «Золотой ветви», за которым, как обещает издательство, не замедлят последовать остальные три выпуска сокращенного издания основной работы британского академика.

Кто не слыхал у нас об этой книге, и как мало было счастливцев, которые имели возможность видать ее! За последнее время у нас появилось множество книг по истории религий, и почти каждый из их авторов более или менее щедрой рукой черпал из той сокровищницы знаний, какою представляется работа Фрэзера. Да и среди европейских писателей на темы о религии и первобытной культуре почти все использовали богатый кладезь сведений, примеров и цитат, нагроможденных в «Золотой ветви». И только теперь наша публика получает возможность ознакомиться с этой знаменитой работой в оригинале.

Уже около полувека Фрэзер работает над заинтересовавшей его темой. В «Золо-

той ветви» он сконцентрировал результаты своих многолетних изысканий по истории религий. Исходным пунктом для его исследования послужил один странный обычай древне-италийского культа Дианы. Вблизи святилища этой богини у озера Неми стоял священный дуб, охраняемый жрецом, носившим царский титул. Но первый встречный имел право вступать с этим жрецом в бой, предварительно отломивши «золотую ветвь» с дуба, и в случае победы убить его и самому занять его место верховного жреца. Разработка этого вопроса выдвинула перед Фрэзером целый ряд проблем из области первобытных верований и в конце концов вылилась в огромную научную работу. В первом издании 1900 года «Золотая ветвь» состояла из трех томов, а в окончательном издании 1911—1915 гг.— уже из 12 томов. Ввиду недоступности этого издания для широкой публики автор в 1922 г. выпустил сокращенное издание своей работы, которое в 1924 г. вышло и во французском переводе. С последнего издания, проверенного самим Фрэзером, и сделан русский перевод, который выйдет в четырех томах: второй под заглавием «Табу — запреты», третий — «Умирающие боги растительности» и четвертый — «Богоедство и жертвоприношения». В отличие от иностранных изданий русский перевод снабжен рисунками.

Фрэзер сам — не атеист, не материалист и вообще человек умеренных взглядов, как и подобает уважающему себя английскому академику. Но он добросовестный ученый, не замалчивающий фактов, — и этого довольно. Ибо никаких других выводов кроме атеистических и материалистических, из книги Фрэзера сделать нельзя. Его работа наносит смертельный удар всем религиям и в частности христианской, которую он выводит из первобытных дикарских культов с свойственным им богопоеданием. Все работы Фрэзера, и в особенности его «Золотая ветвь», доставляют обширнейший материал для иллюстрации и подтверждения того положения марксизма, которое выводит религию наряду с другими формами идеологии из экономики, из отношений людей в процессе производства и обмена. Основное положение Фрэзера о том, что магия предшествовала религии (несмотря на то, что самое противоположение их возбуждает весьма большие сомнения), вряд ли может быть опровергнуто и вполне соответствует духу исторического материализма. Сила фактов, в подавляющем количестве собранных и систематизированных Фрэзером, так велика, что собственные его частичные ошибки, в которые он неизбежно впадает благодаря своему историческому идеализму, не в состоянии ослабить выводов, вытекающих из них.

«Золотая ветвь», как правильно указывает в предисловии редакция «Атеиста», вскрывает самые истоки основных религиозных представлений и дает их эмбриологию. В частности, здесь вскрывается происхождение христианства с его культом спасителя, троичностью божества, причастием, поклонением иконам и статуям: генезис и развитие его тесно связаны в этой книге с хозяйством первобытного рыболова, охотника и земледельца, его практикой и потребностями. Собранная здесь масса фактов из религиозного обихода народов, стоящих на самых различных ступенях развития, от австралийских дикарей и до «цивилизованных» европейцев, не освободившихся от дикарской идеологии и практики, дают непрерывную цепь от духа хлеба в образе свиньи или быка к христианскому сыну божию, от чучела козла к «чудотворным» иконам христианских идолопоклонников, от первобытного колдуна к православному попу, католическому патеру и лютеранскому пастору, от старинных весенних праздников дикарей к христианской пасхе.

Наши агитаторы и борцы на антирелигиозном фронте в лице книги Фрэзера получат новое могучее оружие из первоисточника. Но, конечно, значение этой работы гораздо шире. Она необходима всякому историку, всякому социологу, всякому просто образованному человеку, в особенности всякому, кто интересуется историей культуры и религий. Можно поэтому быть уверенным, что она получит у нас самое широкое распространение и добьется успеха, какого вполне заслуживает. Надо полагать, что выпущенных десяти тысяч экземпляров не хватит, что книга будет иметь повторные издания. А в таком случае было бы желательно, чтобы русские издатели восстановили примеча-

ния (ссылки), опущенные самим Фрэзером в сокращенном издании. Европейский читатель для нужных справок может обратиться к полному 12-томному оригиналу, нашему же придется довольствоваться русским переводом, сделанным с четырехтомного издания, которое без ссылок теряет значительную часть своей огромной ценности.

Ю. С.

М. Горев. Против антисемитов. Очерки и зарисовки. Гиз. Москва 1928. Стр. 183. Ц. 1 р. 50 к. Тираж 4 000.

Ввиду попыток контрреволюции возродить антисемитские настроения и ввиду некоторых тревожных симптомов, показывающих, что таковые подчас проникают и в среду рабочих, появление настоящей книги представляется вполне своевременным, чтобы не сказать необходимым. И можно пожалеть только о том, что Госиздат выпустил ее по такой дорогой цене. Если бы он напечатал ее в гораздо большем количестве экземпляров (в самом деле, что такое 4 тысячи для такой нуждающейся в массовом распространении книги?), то он мог бы назначить для нее не столь высокую цену, в сущности делающую ее для широкой массы почти недоступной.

Набросав несколькими беглыми штрихами картину проникновения антисемитских настроений в рабочую среду, комсомол и партию (увы, мы дожили и до такого позора!), автор переходит к выяснению экономических корней антисемитизма и усматривает их в конкуренции христианской церкви и купеческих гильдий с ростовщиками и торговцами из евреев. К сожалению, автор очень мало распространяется об антисемитизме в Западной Европе, где доктрина его возникла и получила законченное выражение (если можно говорить об антисемитской «доктрине», полной нелепостей и вопиющих противоречий), касаясь преимущественно средних веков, антисемитизм которых носил существенно иной характер, сильно отличающий его от современного. Поэтому он совершенно не затрагивает вопроса о новейшем европейском антисемитизме, порожденном как политическими факторами (борьбою земельной аристократии против либерализма и радикализма), так и факторами экономическими (засилье крупного капитала в промышленности и торговле, возникновение банковского капитала, разорение мелких самостоятельных ремесленников и торговцев и пр.). Равным образом он обходит вопрос о диверсионном значении антисемитской агитации на Западе, а за последнее время — ее связь с фашистскими течениями. Это неизбежно вытекает из поставленной им себе ограниченной задачи иллюстрировать свои положения, главным образом, примерами из русской жизни. Прием, который можно было бы только одобрить, если бы от применения его не страдала, как в данном случае, полнота картины и точность определения разрабатываемой темы.

В значительной мере автор наверстывает этот недостаток подробным освещением истории российского антисемитизма. Здесь выясняется значение антисемитизма, как фактора политической борьбы реакции с революцией. Две главы, четвертая и пятая, посвящены специально политическому антисемитизму, как выражается автор, причем первая трактует об эпохе последних Романовых, а вторая — о периоде белогвардейской борьбы после Октябрьской революции. Здесь автор убедительно показывает, что антисемитизм есть орудие контрреволюции, направленное против завоеваний рабочего класса. А фактами из истории погромов он доказывает, что антисемитизм, на словах направленный якобы против еврейства вообще или даже специально против еврейской буржуазии, на деле обращается всем своим острием против еврейской бедноты, стоящей на грани нищеты, а то и голодной смерти.

Правильно указывая, что в советской обстановке антисемитизм есть не что иное, как последняя ставка контрреволюции, попытка ее внести раскол в стан трудящихся и таким путем привести к восстановлению старого порядка, автор безжалостно бичует тех господ, которые, являясь злостными антисемитами, смеют зачислять себя в ряды революционного народа. Таковым сознательным носителям реакции, и при том реакции в худшей ее форме, не должно быть места в честной

семье трудящихся, отвергающих вражду на национальной почве и признающих солидарность всех угнетенных. Главные источники антисемитизма — монархия и церковь, и всякий антисемит, как бы субъективно он ни считал себя «прогрессивным» или даже «революционным» (хотя это понятия абсолютно непримиримые), на деле служит орудием и слугою монархической и клерикальной реакции.

В заключение автор намечает программу борьбы с антисемитскими настроениями в рабочей и крестьянской массе, в партии и комсомоле. Отсталых, темных просвещать, сознательных агентов реакции безжалостно удалять из советской среды — такова в общих чертах рекомендуемая им программа.

В приложении к книге даны сведения о национальном составе ВКП, о национальном составе партийных и советских органов и о числе евреев в производстве. Эти сведения решительно опровергают распространяемые антисемитами легенды о мнимом «засилье» евреев в советской республике.

Испытываешь, впрочем, невольный стыд при мысли о том, что в наше время приходится еще спорить против антисемитских глупостей и низостей, и о том, что антисемитская бацилла сумела проложить себе дорогу в среду комсомола и даже нашей партии (хотя здесь, разумеется, антисемиты в ничтожном меньшинстве, или вернее, на положении редкого исключения). Значит, здорово еще сидит в нас наследие старого мира, и много еще дренажа требуют наши отечественные черноземы! Как одно из орудий борьбы с этим позорным наследием проклятого прошлого, книгу т. Горева следует приветствовать и пожелать ей широкого распространения. Для партийных агитаторов она может оказаться полезной.

Ю. С.

Н. Ильюхов и М. Титов. Партизанское движение в Приморьи 1918—1920 гг. Изд. «Прибой». Л. 1928. Стр. 234. Ц. 2 р. 50 к.

Своеобразие приморской обстановки, обусловленное тем, что на территории Приморья войска интервентов, главным образом Японии, находились втечение $4^1/_2$ лет (с лета 1918 г. по октябрь 1922 г.), привело к тому, что в Приморье и партизанское движение растянулось на три года, дольше чем в других местах. Здесь оно распадалось на два периода: первый, с 1918 по 1920 г., охватывает борьбу с колчаковщиной; второй, после годовой передышки, начинается с мая 1921 г. и охватывает борьбу с капелевщиной (по 1922 г.). Рассматриваемая книга, составленная участниками движения, трактует только о первом периоде, хотя авторы ее не отказываются от надежды, что им впоследствии удастся описать и второй период борьбы, не менее интересный и во многом отличающийся оригинальными особенностями.

Партизанское движение на Дальнем Востоке, и в частности в Приморье, явилось несколько запоздавшим отголоском событий, развернувшихся летом и в начале осени 1918 года (высадка иностранных десантов, выступление чехо-словаков, победа контрреволюции). Реакция населения на эти события показала, что защитником революции оказался в первую голову пролетариат, точнее — его наиболее сознательная и решительная часть, и что крестьянство, вначале отнесшееся к событиям безучастно, лишь постепенно раскачалось и сумело проявить свою боевую энергию только под политическим и организационным руководством рабочих, сыгравших и здесь, как и в других местах, роль гегемона революции. Рабочие, и преимущественно сучанские шахтеры, образовали то спаянное пролетарское ядро, которое помогло преодолеть разброд в партизанских отрядах и доставило им командиров.

История партизанства на Дальнем Востоке (как, впрочем, и во всей Сибири) показала, что крестьянство может оказаться довольно прочной опорой революции, когда задеты его классовые интересы и в особенности, когда оно организуется и руководится привыкшим к солидарным действиям пролетариатом. В частности, события в Приморье свидетельствует о том, что особенную силу приобретает это крестьянское движение тогда, когда классовый момент сливается в нем с национальным, как это и имело место на Дальнем Востоке, где борьба шла и против внут-

ренней контрреволюции, и против внешних интервентов, главным образом японцев, несомненно стремившихся к территориальным захватам, но не успевших в этом благодаря сопротивлению широких масс местного населения.

Шла ли здесь борьба за лозунги чисто-демократические, как думают Яковенко и Щетинкин, или социалистические, как утверждают авторы настоящей книги? И то, и другое. Диалектика истории захотела, чтобы крестьянство, составлявшее естественно большинство отрядов и ставившее себе по существу демократические задачи, очутилось в таком положении, когда действительность не давала ему другого выхода, кроме выбора между буржуазной демократией, несшей ему кабалу внутреннюю и внешнюю, и советской властью, означавшей сначала политическую, а затем экономическую экспроприацию буржуазии, т. е. начало социалистического строя. Поскольку создавшееся на местах положение выдвигало лозунг борьбы за советы, крестьянские партизаны, хотели ли они этого сознательно или нет, работали в пользу социалистического переворота и шли под знаменем пролетариата, который под советами понимал установление пролетарской диктатуры и рабочего государства. Поэтому, каково бы ни было субъективное сознание отдельных участников движения, объективная логика их борьбы на данном уровне развития и в данной исторической обстановке вела их к провозглашению и осуществлению антибуржуазных, т. е. по существу социалистических, задач, сначала, правда, только в политической области. Так, впрочем, дело обстояло и во всей стране. Более того, благодаря участию в борьбе интервентов со стороны буржуазии и корейских, а отчасти китайских рабочих и крестьян, со стороны красных, борьба выходила за национальные рамки и приобретала даже характер международный, столь типичный для Октябрьской революции вообще.

Естественно, что для пролетарской части партизанских отрядов вынужденный реальным соотношением сил временный компромисс между ее субъективными стремлениями и прозаической действительностью японских штыков, выразившихся в создании по директивам Москвы Дальне-восточной республики, формально не носившей советского характера, явился сильным ударом и не сразу был ею осмыслен и принят. Но дальнейший ход событий показал мудрость партийного решения и в конечном счете привел к установлению и на Дальнем Востоке советской власти, ради которой сражались и умирали славные приморские партизаны. Описание сверхчеловеческих подвигов этих безвестных борцов, заброшенных на далекую окраину, проявивших необыкновенную стойкость и веру в свои силы, смело бросивших вызов гораздо более могучему противнику и в конце концов одержавших над ним победу энергией и беззаветной преданностью своему делу, придает книге тт. Ильюхова и Титова характер героической эпопеи и делает ее, как и другие работы о партизанском движении, произведением захватывающего интереса. Она наглядно показывает нам, как велик и неистощим запас творческой энергии пролетариата и руководимого им крестьянства, и вселяет в нас уверенность, что они с таким же успехом выйдут из всех экономических затруднений, с каким преодолели затруднения политические.

Книга заслуживает самого широкого распространения. И можно только пожелать, чтобы авторы ее поскорее подарили нам вторую часть своей работы.

Ю. С.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ.

В четвертой, апрельской, книжке «Красной нови» напечатана рецензия Н. О. Лернера на «Мурановский сборник». В этой рецензии Н. О. Лернер укоряет одного из комментаторов тютчевского текста за то, что он отмечает только один перевод Тютчева из Ламартина, тогда как, по мнению рецензента, их два. Вторым он считает стихотворение Тютчева «Байрон», мною опубликованное в 1924 году в «Русском современнике». Смею уверить Н. О. Лернера, что это стихотворение отнюдь не «в значительной степени перевод из Ламартина» или, точнее, никак и ни в какой степени не перевод из этого французского романтика. «Чулков предположил здесь, — пишет уважаемый рецензент, — какой-то иностранный образец, но знаменитого размышления Ламартина не узнал». Повидимому, Н. О. Лернер не потрудился сравнить стихотворение Ламартина и Тютчева. Если бы он перечитал «L'Homme» Ламартина, он убедился бы, что кроме посвящения этой оды Байрону и тех строк, где поэт сравнивается с орлом, в этом большом стихотворении нет ничего общего со стихами Тютчева — ни в замысле, ни в поэтических приемах, ни в развитии сюжета, ни в строении строфы. Может быть, Н. О. Лернеру попалась на глаза статья Н. Суриной в третьем выпуске «Поэтики», где автор в поисках поэтических аналогий цитирует отмеченные мною строки? Но этих сопоставлений недостаточно для утверждения, которое делает Н. О. Лернер. Впрочем, высказанное мною мнение, что для стихотворения Тютчева был некий иностранный образец, оказалось справедливым. Один из моих корреспондентов, М. М. Козмичов, любезно поделился со мною своими наблюдениями относительно сходства одной из строф Тютчева со строфою стихотворения Цедлица, процитированного в старом курса всеобщей литературы Шерра. К сожалению, ни в одном книгохранилище Москвы не оказалось полного собрания сочинений этого второстепенного австрийско-немецкого романтика, известного русским читателям по переводам Жуковского («Ночной смотр») и Лермонтова («Воздушный корабль»). Только недавно мне удалось выписать из Ленинграда немецкий текст нужного стихотворения. Стихотворение Тютчева «Байрон» является в самом деле «в значительной степени переводом» из Иосифа Христиана Цедлица (1790—1860). Это — отрывок из его канцон «Todtenkränze». А Ламартин тут не при чем. Чтобы не быть голословным, приведу буквальный подстрочный перевод той строфы Цедлица, где говорится об орле: «Не многопевучим лебедем, который парит над лугами и зелеными смеющимися нивами, видим мы тебя в ясном воздухе; тебя можно видеть подобного одинокому орлу в голом ужасе пустыни, который взлетает от скалы, на коей он гнездится, и высоко и все выше поднимается до тех пор, пока широко распростертые крылья не уносят его туда, куда взор, за ним следящий, не проникает. Но он стремится достигнуть не солнца, — он высматривает острым взором трупы».

А вот текст Тютчева:

Не лебедем ты создан был судьбою,
Купающим в волнах румяной крыла,
Когда закат пылает над потоком
И он плывет, любуясь сам собою,

Между двойной зарею —
Ты был орел — и со скалы родимой,
Где свил гнездо — и в нем, как в колыбели,
Тебя качали бури и мятели,
Во глубь небес нырял, неутомимый,
Над морем и землей парил высоко,
Но трупов лишь твое искало око...

Вопрос о том, действительно ли Тютчев имел своим образцом Цедлица, — теперь решен бесповоротно в утвердительном смысле: своеобразная по типу канцоны построенная тринадцатистрочная пятистопная ямбическая строфа Тютчева (с усеченною трехстопною седьмою строкою) совершенно тождественна со строфою Цедлица. Такое совпадение не может быть случайным.

Подробное сличение текста Цедлица с текстом Тютчева будет опубликовано правнуком нашего поэта, К. В. Пигаревым.

Георгий Чулков.

Редакционная коллегия: Вл. Васильевский. Вс. Иванов. Ф. Раскольников. В. Фриче.
Издатель: Государственное издательство.

Адрес редакции: Москва, Ильинка, Старопанский пер., 4; тел. 5-63-12.

СОДЕРЖАНИЕ

За рубежом

Литературные края

Критика и библиография

Письмо в редакцию